

# КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNET CONTINENT KONTINENT 71  
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

1 • 92



Без конца и без края  
родная земля,  
Но куда ни  
посмотришь, —  
везде лагеря.  
Не бывало,  
наверно, эпохи  
лютей,  
Где бы столько  
сгубили  
безвинных  
людей.  
Я бы мог вам  
сказать, что я тут  
ни при чем,

Но Россия стоит у меня за плечом.  
Что отвечу я ей, как в глаза ей взгляну?  
Я пред ней без вины ощущаю вину.

*Юрий Разумовский*

Я пришел к нему со  
соединить написанное в  
жизнь, в чем находить  
был терпелив, и он умел

После его строгого  
вилось радостно. Между  
связь, которая длилась

„Блажен, кто верует,  
этих словах заключена  
времена, приходи к вере,  
ли в противоречие с об-  
установленным в 17-м  
какого-либо компромис-  
вызывать чрезвычай-

Сегодня, когда ви-  
в нашей несчастной  
своих пастырей, порой начинаешь думать, что мы в безвыходном положении и что надеяться не на кого, — но на это мы не имеем права... Нашу страну, я думаю, может спасти только вера. Мы ее потеряли, ее необходимо вернуть и утвердить. Для возрождения народа нет иного пути.

*Николай Каретников*



Я люблю  
эти ночи и страх  
раствориться,  
растаять,  
разбиться,  
Я люблю  
этой ночи  
размах  
от безумья  
до ангела-птицы.  
Этот легкий  
в груди  
холодок,  
эту тень ускользнувшего зверя.  
Навсегда разделлет Восток  
время века и время потери.



*Светлана Клинушкина*

смятением: как жить, как  
Евангелии с реальной  
опору? Отец Александр  
прощать.

внушения всегда стано-  
нами возникла духовная  
четверть века.

тепло ему на свете! — в  
лишь часть истины. В те  
вы обязательно вступа-  
щественным строем,  
году. Сама возможность  
са с властью начинала  
ную брезгливость...

дишь то, что происходит  
стране, которая убивает  
страну, которая убивает  
страну, которая убивает

Ⓚ

**Главный редактор:** Владимир Максимов  
**Зам главного редактора:** Наталья Горбаневская  
**Ответственный секретарь:** Виолетта Иверни  
**Заведующий редакцией:** Александр Ниссен

*Редакционная коллегия:*

Василий Аксенов ° Виктор Астафьев ° Ценко Барев °  
Николас Бетелл ° Александр Блок ° Иосиф Бродский °  
Владимир Буковский ° Армандо Вальядарес °  
Игорь Виноградов ° Галина Вишневская °  
Георгий Владимов ° Ежи Гедройц ° Густав Герлинг-  
Грудзинский ° Пауль Гома ° Милован Джилас °  
Пьер Дэкс ° Эжен Ионеско ° Фазиль Искандер °  
Оливье Клеман ° Роберт Конквест ° Наум Коржавин °  
Эдуард Кузнецов ° Николаус Любковиц ° Эдуард  
Лозанский ° Эрнст Неизвестный ° Амос Oz °  
Булат Окуджава ° Ярослав Пеленский ° Норман  
Подгорец ° Андрей Седых ° Виктор Спарре °  
Витторио Страда ° Юзеф Чапский °  
Карл-Густав Штрём ° Юлиу Эдлис

*Корреспонденты "Континента"*

**Италия**

Сергей Рапетти  
Sergio Rapetti  
via C.Hajech 10  
20129 Milano, Italia

**США**

Эдуард Лозанский  
Edward D.Losansky  
3001 Veazey Terrace, N.W.  
Washington, D.C. 20008 USA

**Япония**

Госукэ Угимура  
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7  
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала "Континент" © В.Е.Максимова

# КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический  
и религиозный журнал*

---



1•92

---

**71**



## СОДЕРЖАНИЕ



*Готовность к бытию*

9

Николай Каретников

*Белая ночь. Стихи.*

67

Борис Влакхо

*Два стихотворения*

70

Александр Рапопорт

*Форс мажор. Рассказ*

75

Александр Поляков

*Детальное. Стихи*

83

Ольга Иванова

*Князь. Рассказ.*

89

Ольга Русецкая

*Соло для суеты. Стихи*

101

Николай Румянцев

*Тео. Повесть*  
103  
Сергей Таск

*Пастораль. Стихи.*  
154  
Дмитрий Бураго

*Ночью в карауле. Рассказ.*  
156  
Константин Прохоров

*Утренние сны. Стихи*  
164  
Наталья Кудрякова

*Дичь. Рассказ*  
167  
Борис Никитин

---

**КАРТА РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ**

177  
Юрий Разумовский  
Виктор Кирюшин  
Светлана Клинушкина  
Сергей Камеристый

---

**РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ**

*О праве русских на выживание*  
191  
Валерий Лебедев

---

---

**ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ**

*И в СССР наступил посткоммунизм*

211

Вацлав Белоградский

---

**ЗАПАД – ВОСТОК**

*Тень КГБ в ореоле Горбачева*

215

Томаш Мянвич

---

**ИСКУССТВО**

*"Единство сердца и строки, поступка, жеста..."*

221

Татьяна Янковская

---

**ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ**

*Борис Слуцкий, каким его помню*

237

Виктор Малкин

---

**РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ**

*Работа адова делается уже*

253

Протоиерей Владислав Свешников

---

**КОЛОНКА РЕДАКТОРА**

275

---

**НАША ПОЧТА**

278

---



---

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

*Не помнящая зла: новая женская проза*

290

М. А. Бельская

*История за обеденным столом*

292

Елена Гессен

---

КОРОТКО О КНИГАХ

298

---

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

300

---

НАША АНКЕТА

*"Поэт есть перегной"*

301

Беседу с поэтом

Львом Лосевым

ведет журналист

Виталий Амурский

---

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

*Право быть услышанным*

309

Александр Воронель

*Из чрева китова*

315

Сергей Хмельницкий

---

## ГОТОВНОСТЬ К БЫТИЮ

*От автора*

Когда я закончил свою первую книгу "Темы с вариациями", мне показалось, что более ничего кроме музыки писать не буду.

И действительно — память молчала.

В конце апреля девяносто первого я рассказал близкому мне человеку о том, как в семилетнем возрасте был подвергнут операции удаления гланд.

— Но ведь это готовая новелла! — услышал я, когда окончил рассказ.

Активно включилась память, и за полтора месяца я записал новеллы, предлагаемые во второй книге.

Мне кажется, новая книга получилась во многом иной, нежели первая, — там я пытался избавиться от кучи камней, которую мне напихали за пазуху.

В "Готовности к бытию" пробую начать "собирать камни".

### *Готовность к бытию*

Мороженое нельзя! Холодную воду нельзя! Незапакованным на улицу нельзя! Вспотеть нельзя! И простуды, простуды, простуды!

"Вырезать гланды! Категорически!"

В 37-м эту операцию делали без наркоза.

Папа пообещал, что боль будет не сильнее, чем "когда комарик укусит", и я легко поверил ему.

Пока мы ждали своей очереди, сидя в коридоре, из операционной раздавались жуткие детские вопли, и меня посетили сомнения в миниатюрности обещанного "комарика". Однако, когда пошел в операционную, доброе лицо старенькой нянечки сразу успокоило. Она усадила меня к себе на колени, обняла и крепко прижала мои руки к телу так, что было совершенно невозможно пошевелиться.

---

Эта книга Н.Каретникова будет выпущена в 1992 г. вместе с его первой книгой "Темы с вариациями" в издательстве "Культура".

Тут я увидел профессора: вместо правого глаза у него был большой ярко-серебристый круг с дыркой посередине. Он приказал мне открыть рот. Я открыл. Он посветил в открытый рот серебристым кругом, а затем запустил в него инструмент, похожий на ключ для настройки роялей, но только с большим блестящим кольцом на конце и... дернул. В мое горло вгрызся тигр! Профессор вновь без предупреждения быстро запустил настроечный ключ в мою глотку и тигр цапнул меня еще раз. Боль была ужасной. Большая слеза выкатилась из моего левого глаза и тяжело разбилась о нянечкину руку.

Профессор, привыкший к определенному поведению оперируемых, внимательно смотрел на меня.

— Ты почему не плачешь, мальчик? — удивленно спросил он.

Пригорюнившись, я ответил:

— А что плакать? Жить-то надо...

### *Халва*

Однажды в 43-м году, когда мне было тринадцать лет, родители получили по карточкам вместо месячной нормы сахара кирпич халвы весом в два килограмма.

Утром они ушли на работу, а я сел к фортепиано.

Некоторое время позанимался разучиванием фуги Баха и почувствовал беспокойство. Я подкрался к буфету и отщипнул от халвового кирпича небольшой кусочек. Через некоторое время повторил дегустацию. На халве появилась мышьяная выщерблина. Я решил, что она слишком заметна и срезал ножом изрядную часть, чтобы восстановить форму. Восстанавливал ее неоднократно.

Потом, не очень долго, занимался сочинительством.

Отсутствие во рту сладких слюней вновь подвигнуло меня на экономическое преступление. Кирпич заметно уменьшился.

После того как отыграл Шопена, халвы осталось меньше половины и мне стало ясно, что кары все равно не избежать.

Тогда, испытывая муки совести, я потихоньку доел кирпич.

Блюдо сверкало чистотой.

Вечером мама открыла дверцу буфета и застыла, пораженная:

— А где же халва?

— Прости, мамочка, я ее съел.

Мамины глаза наполнились невыразимым ужасом:

— Как? Всю?!

Я кивнул головой.

— Боже мой! Он же сейчас умрет!! Немедленно к врачу!!!

### *Медитатор*

Я обожал его всей своей шестнадцатилетней душой. Он был сыном знаменитого поэта, умел медленно и умно произносить слова, хорошо читал стихи при завораживающем лунном свете на берегу моря. Казалось, что нашим отношениям не будет конца. Он уехал из Крыма на месяц раньше меня, и я воспринял его отъезд как трагедию.

Когда вернулся в Москву, тут же позвонил ему и сказал, что приду на следующее утро, благо жили мы в соседних домах.

Часов в одиннадцать я звонил в его дверь — звонок прозвучал довольно резко. Дверь не открыли, и за нею была тишина. Подождал и позвонил еще раз — никто не появился. Тихонько толкнул дверь — она открылась — и вошел в темный коридор. По полоске света догадался, где следующая — она тоже оказалась не запертой, — и так прошел еще через пару дверей. Делал все это довольно шумно. Наконец, со скрипом открылась последняя и я оказался в большой квадратной комнате. На ее середине стояла широкая тахта с еще не убранной постелью. На краю тахты, в позе Мефистофеля Антокольского, сидел мой друг в длинной ночной рубашке, которую он натянул через согнутые колени до пят. Перед тахтой в тазу с водой лежал большой букет прекрасных калл. Он созерцал их. Он, однако, не мог не слышать шума, который произвело мое появление.

Я огляделся, осторожно присел на стул, стоявший возле двери, и начал ждать конца медитации... Прошло пять, десять, двадцать минут. Он не шелохнулся: он созерцал каллы, я созерцал его.

Наконец, я встал и тихо ушел.

Наша следующая встреча случилась через сорок два года.

## *Jedem das seine*

В 44-м, осенью, на московские экраны вышел фильм, снятый союзниками о высадке их войск в Нормандии, и я немедленно побежал его смотреть.

Зрелище было грандиозное: тысячи кораблей, небо, закрытое самолетами, огромные десантные баржи, врезающиеся в берег, и тысячи солдат, пушек и танков, появлявшихся из открытых трюмов — все производило потрясающее впечатление. Но одним из самых действенных элементов фильма была музыка — я впервые услышал "Прелюды" Листа, они звучали через весь фильм и воодушевляли невероятно.

Из-за Листа я посмотрел фильм четыре раза.

В 61-м, вместе с мосфильмовской группой, отправился в Белые столбы — в главную фильмотеку Советского Союза, чтобы посмотреть немецкую хронику конца 44-го — начала 45-го годов (об этом периоде снимался фильм).

Из этих лент не следовало, что Германия терпит поражение. Показывалась и высадка союзников в Нормандии: "Джентльменская война", немецкие солдаты мужественно отбивают атаки американцев, угощают улыбающихся американских пленных сигаретами и совершенно не собираются отступить.

Но когда начался показ этой хроники, я вскрикнул от неожиданности — изображение сопровождалось "Прелюдами" Листа!..

## *Всего лишь пена...*

В шестнадцать лет по вечерам, при зажженных свечах, на меня налетал "потный вал вдохновения". Возбужденная полумраком фантазия подбрасывала все новые и новые эмоции, и мои импровизации казались мне самому гениальными. Пальцы сами передавали сиюминутное вдохновение, и было жаль останавливаться, чтобы все это записать.

Однако на следующее утро, проигрывая вчерашнее "вдохновенное творение", я обнаруживал, что оно не стоит ни гроша.

Это повторялось вновь и вновь. Чтобы продлить вечернее состояние, я стал днем занавешивать окна тяжелыми бабкиными портьерами и зажигать свечи. Результат повто-

рялся. Я не понимал, почему то, что вчера казалось гениальным, при дневном свете оказывалось всего лишь пеной.

Когда из курса истории музыки узнал и оценил тот факт, что Бетховен, постоянно выступавший в концертах как импровизатор (что было в его время обязательным для виртуоза), с определенного момента категорически отказался импровизировать при публике, все стало ясно.

У каждого опытного пианиста в пальцах застревает громадное количество различных музыкальных приемов, формул и даже целых фрагментов музыки. Они могут возникать в момент импровизации в различных сочетаниях независимо от его воли, пальцы сами их набирают.

Тогда пианисту может показаться, что он композитор.

### *О пользе подобия*

В восьмом классе, явившись на урок к В.Я.Шабалину, я поставил перед ним ноты очередного своего сочинения.

Когда взглянул на них, вдруг с ужасом увидел, что музыка, которую сочинил, похожа на прелюдию из 2-го тома "Хорошо темперированного клавира" Баха.

— Ой, Виссарион Яковлевич! Я только что разглядел, что эта музыка похожа на ми-минорную прелюдию из 2-го тома. Простите ради бога!

— Вот и хорошо, что она похожа на что-то хорошее. Хуже, когда она ни на что не похожа...

### *Патриотический романс*

Я поступил в консерваторию сразу после постановления 1948 года и угодил в класс велеречивого дилетанта Ю.Шапорина.

По плану обучения первого курса должно было сочинить "романс", желательно патриотический.

Я тянул с выбором текста.

В один прекрасный день Шапорин брякнул на стол передо мною "Правду", ударил по ней кулаком и пригрозил:

— Не напишешь романс на этот текст, выгоню!

В газете было напечатано стихотворение Ст.Щипачева "Я славлю!"

Он славил все!

Я вполне разделял его государственные восторги, но меня крайне смутило одно четверостишие — оно было полно совершенно бесстыдной лести в адрес И.В.Сталина. При всей тогдашней моей любви к последнему подобная лесть казалась все же чрезмерной.

Тогда я решил сыграть в буриме и написал в столбик:

”Семя  
Темя  
Племя  
Вымя  
Пламя  
Знамя”

Отобрал ”племя-семя, пламя-знамя” и нацедил четверостишие, коим заменил щипачевское о Сталине.

Затем отправился к своему наставнику К.Исаеву и на нем проверил все творение с заменой строк. Чуткий к слову Исаев подмены не заметил.

Ее тем более не заметил Шапорин, но, на беду, он счел, что романс настолько удался, что его следует немедленно опубликовать.

Мне думалось, что печатать стихи с подменой строк без ведома автора незтично. Я позвонил Щипачеву и попросил аудиенцию.

Щипачев не пустил меня дальше узкой темной передней, где пришлось сидеть на старом сундуке. Я объяснил суть проблемы.

Он, с отвращением глядя на меня, несколько помедлил и по-горьковски сильно окая, заявил:

— Не-е-ет! Меня дописывать нельзя!..

Романс тогда же опубликовали с моим четверостишием.

### *Всякая музыка нужна*

Мне представлялось странным, что некоторым серьезным музыкантам старшего поколения А.Глазунов казался великим композитором. Более всего это относилось к танеевско-мясковской композиторской ветви. Они ликовали по поводу пяти тем, которые одновременно звучат в конце его 5-й симфонии. Эти темы я видел глазами в нотах, но на слух различал только одну — ту, что плавала сверху. Его музыка напоминала мне мастерски раскрашенную куклу.

В семнадцать лет я решил поговорить о Глазунове с В.Я.Шебалиным.

— Виссарион Яковлевич, я думаю, что Глазунов был очень странным человеком. Он пережил три войны, три революции, террор, но в его музыке я ничего этого не слышу. Я представляю себе весьма благополучного господина, сидящего в глубоком кресле перед горящим камином, с ногами, закутанными пледом; в руке у него бокал с бургундским (о бургундском я и до сих пор знаю понаслышке), у ног лежит большая собака, и не слышать даже завывания ветра в трубе! — заявил я с неисповедимым юношеским максимализмом.

Шебалин медленно развернулся ко мне. Его брови сдвинулись, лицо слегка побледнело, и он страшно закричал:

— Глазунов — великий полифонист! А ты еще щенок! Я ушел посрамленный, но не переубежденный.

Спустя шесть лет, студентом 5-го курса, когда наши с Виссарионом Яковлевичем отношения сделались иными, я решил снова повторить свои бывшие ранее и некоторые новые претензии к Глазунову. Я как будто заслужил право иметь собственное мнение, и Виссарион Яковлевич уже на меня не кричал.

Он грустно произнес:

— Но ведь всякая музыка нужна...

Я запомнил, что он учился у Мясковского.

### *Морской бой*

Только что познакомился с А.Г.Габрическим. Вдвоем мы отправились бродить по Коктебелю. Говорили о музыке. Он много и глубоко рассуждал о Вагнере, рассказывал о вагнеровских постановках, которые видел в Байрете, о том, насколько Вагнер на самом деле сценичен.

Затем последовали рассуждения об уровне отечественной музыкальной критики. Мы быстро сошлись на том, что ее, как таковой, у нас не существует.

Разговор был для меня удивительным.

Гуляя, подошли к берегу моря. День был жаркий, и я сказал, что хотел бы искупаться.

— Нет, я, пожалуй, посижу на берегу, — ответил Александр Георгиевич.



Он сел на сухие камушки у кромки воды и оперся подбородком на закругление палки, с которой он иногда гулял.

Я вошел в воду и, когда она достигла моих плеч, повернулся лицом к берегу и сообщил А.Г. из воды:

— Подумать только, ведь еще совсем недавно мне казалось, что Рахманинов главный композитор на земле!

Реакция была совершенно неожиданной: единственный глаз А.Г. (второй повредили в тюрьме) грозно засверкал. Он, сидя, даже как будто подскочил и закричал в мою сторону голосом морского царя:

— Молодой человек! Где вы воспитывались?!

От испуга я нырнул с головой, а когда вынырнул, то тошниво запричитал:

— Это было, это раньше было! Сейчас я уже так не думаю.

— Ну, если это было по молодости лет, тебя можно извинить...

### *Симфония с ломбардом*

С Д.Д.Шостаковичем я знаком не был. Потому легко себе представить, что я почувствовал, когда осенью 57-го поднял трубку телефона и услышал:

— Можно попросить Николая Николаевича?

— Да, я вас слушаю.

— Простите ради бога, что я звоню, Николай Николаевич; мы с вами, к сожалению, не знакомы. Это говорит Шостакович. Я вот тут вчера слышал, так сказать, слышал по радио вашу Вторую симфонию. Она произвела на меня сильное, так сказать, сильное впечатление. Я тут, видите ли, должен ехать в Ленинград, и я увижу там Евгения Александровича Мравинского. Если вы позволите, я рекомендую ему ваше, так сказать, сочинение на предмет исполнения.

— Спасибо, Дмитрий Дмитриевич! Я буду счастлив такой возможности!

— Как только вернусь, я позвоню вам, так сказать, позвоню. До свидания.

Он позвонил через неделю.

— Николай Николаевич, немедленно звоните Евгению Александровичу! Он ждет, так сказать, ждет вашего звонка. Его телефон... Желаю, желаю вам удачи!

Мравинский назначил день и час визита.

Он был величав. С его лица не сходило выражение благожелательного участия.

Запись симфонии звучала пятьдесят пять минут. Прслушав ее, он сказал:

— Да, это серьезно... Я благодарен Дмитрию Дмитриевичу за рекомендацию... — сделал паузу, затем продолжал. — Но посмотрите на вашу партитуру, какая она большая и трагическая... Я уже старый больной человек. Чтобы исполнить это сочинение, я должен всего себя выложить и замучить оркестр, а это мне уже трудно... Знаете что?.. Напишите для меня не слишком сложное сочинение не более чем на полчаса звучания, с небольшим составом оркестра. Когда закончите, звоните мне в любое время дня и ночи!

Через полтора года я закончил для Мравинского Третью симфонию и написал ее так, как он о том просил. Однако начал пробовать серийные приемы.

Мравинский слушал фортепианную запись Третьей и иногда удивленно поднимал брови.

После прослушивания он внимательно изучал партитуру, несколько раз указывал мне на какой-либо прием и спрашивал:

— Вы это сами придумали?.. И это вы сами придумали?..

Затем наступило длительное молчание. Е.А. о чем-то напряженно размышлял... Наконец произнес:

— Нет. Это музыка не моего романа...

— Очень жаль! У меня нет надежды ее услышать!

— А вот Шуберт, умер так и не услышав ни одной своей симфонии!..

Когда возвращался в Москву, думал: чтобы два раза поехать в Ленинград, пришлось дважды закладывать в ломбард тещины серьги.

### *Посвящение*

Генерал от дирижирования открыл на середине партитуру моего "Концерта для духовых" и начал весьма заинтересованно ее изучать. Затем, иногда задавая вопросы, даже начал объяснять мне, что и как в этой музыке должно исполнить самым выразительным образом. Его предложения мне нравились, и никакие сомнения относительно будущего исполнения не возникали. Вопрос был решен.

Он закрыл партитуру и вновь открыл ее на первой странице.

На ней красовалось: "Посвящается Игорю Блажкову"\*.  
— Ну вот, пусть Блажков и играет!

*На то они и молодые...*

В 86-м оперная коллегия Большого театра единогласно, с самой высокой оценкой приняла к постановке моего "Тили Уленшпигеля".

А.Лазарев, который привел меня на эту коллегия и очень хотел сам осуществить постановку оперы (он тогда еще не был главным дирижером Большого), взял слово последним:

— Господа! Нам сделано предложение перейти в двадцатый век, но я решительно не представляю себе, с кем мы в него перейдем. Для семи главных в этой опере сольных партий мы найдем в нашем театре в лучшем случае троих исполнителей, а необходимо иметь хотя бы полтора состава.

Я подал голос:

— Но ведь в вашей группе много молодых солистов!

— Так на то они и молодые!

*Мне привиделось, что...*

Его Императорское Величество Государь Император Священной Римской Империи Франц I всемилостивейше повелеть соизволил престарелому Гайдну, еще здравствующему Моцарту, юноше Бетховену и младенцу Шуберту образовать "Союз Венских Композиторов". Волею Государя председателем Союза назначен Сальери, но не тот, что был в реальности, а тот, которого придумали Пушкин и И.Белза. Этот Сальери залезал в партитуры членов Союза и объяснял, как и какую музыку следует писать. Он же определял, кому и какие гонорары следует платить или не платить; себе самому назначал самые высокие. Просидев в председательском кресле 40 лет, запретил исполнять музыку молодого Вагнера.

---

\* Игорь Блажков — киевский дирижер.

### *Не восполнить!*

С 41-го по 45-й годы любимого "третьим рейхом" Вагнера у нас не играли.

В 46-м в Большом зале консерватории состоялся сборный концерт, в который были впервые после войны включены фрагменты вагнеровских опер. Нам, ученикам ЦМШ, дали бесплатные места в маленькой ложе, расположенной над ложей дирекции.

Дошла очередь до Вагнера, исполнялось вступление к третьему акту "Лоэнгрин".

Я был совершенно не подготовлен к тому, что предстояло услышать: к небу взвился мощный, ликующий, раскалывающий сознание унисон тромбонов и валторн — невозможно было представить, что подобный звук в мире существует.

От неожиданности я закричал, Большой зал поплыл перед глазами, а руки начали колотить по барьеру ложи. Халида Ахтямова, сидевшая рядом со мной, быстро нашлась и закрыла мой рот ладонью. Когда я перестал кричать, она схватила меня в охапку и умудрилась каким-то образом выволочь в фойе. Там я сел на пол и долго не мог опомниться — вагнеровский звук совершенно лишил меня сил.

Я пережил самое сильное в моей жизни потрясение музыкой.

Итак, мне довелось услышать Вагнера только в 16 лет... А должен был услышать, наверное, в одиннадцать или двенадцать.

Запрещенного у нас в послевоенные годы Малера следовало бы слышать в пятнадцать, а не в двадцать три года, а "Новую Венскую школу" хотя бы в восемнадцать, а не в двадцать семь.

У моего поколения украли 6-7 лет жизни, важнейших в развитии человека, и эти потери никому и никогда не возместить.

### *Пять рублей золотом*

Однажды зимой сорок девятого в квартиру родителей позвонили. Я открыл дверь. На пороге, держа в руках шляпу, стоял небольшого роста старик с совершенно седой головой. Он спросил моего отца.

Некоторое время они молча смотрели друг на друга.  
— Ваня!.. Ваня Кортон! — воскликнул отец и они бросились обнимать друг друга, держась за руки, вошли в комнату и сели рядышком.

Отец объяснил мне потом, что Иван Кортон был любимым учеником бабки и незадолго до ее смерти, в тридцать втором, его отправили на три года учиться в Италию.

— Рассказывай, где ты был все это время? — спросил отец.

— Десять лет сидел в лагере, потом два года на поселении, а последний год живу с женой в Кишиневе.

— О, Господи! За что же тебя посадили?

Он начал с Италии.

Получал стипендию — пять рублей золотом в месяц. Этого хватало на наем комнаты и еду. За занятия вокалом платили отдельно. Снимал в Милане комнатенку под крышей. Никогда никуда не ходил — только в оперу и к своему педагогу. Днями и ночами учил по разноязычным клавирам (учил, читая ноты, т.к. инструмента у него не было) главные партии тенорового репертуара. За три года выучил все, что наметил.

Когда окончил стажировку, ему дали возможность спеть на сцене "Ля Скала" партию Канио в "Паяцах".

На следующее утро после представления предложили на выбор ангажементы в Нью-Йорке, в "Ля Скала", в Лондоне и Мадриде. Кортон сразу влетел в мировую теноровую пятерку, но он отказался ото всех предложений, так как считал долгом вернуться.

Вернулся.

В Москве его через два месяца арестовали... За что арестовали?.. Да за антисоветскую агитацию и пропаганду: в дружеской компании рассказал о том, как жил в Италии на пять золотых рублей. Этого оказалось достаточно.

Быстро попал в лагерь и остался живым только благодаря тому, что пел оперы в Магаданском театре... А что удивляться?.. Там была первоклассная опера с таким оркестром, с таким хором, с такими солистами, дирижерами и режиссерами, каких и в Москве в одном театре не соберешь! Все они были заключенными.

Приходили двое конвойных с примкнутыми штыками и вели его в театр. Пока гримировался или пел на сцене, они

из помещения гримерной никогда не уходили.

Перед началом представления являлся начальник лагеря и приказывал: "Сегодня будешь петь Хозе (в "Кармен") по-французски." В другие дни он приказывал петь по-русски или по-итальянски.

Оперный репертуар у них был немалый.

Начальник очень его ценил — хвастался Кортовым перед начальниками соседних лагерей, так что на лесоповал или на что другое тяжелое его не ставили и даже заботились о его здоровье.

После спектакля те же конвойные отводили его в барак.

В этой опере он познакомился со своей будущей женой — у нее очень хорошее сопрано. Теперь их обоих после двух лет жизни на поселении отпустили на волю и они оба преподают пение в Кишиневской консерватории.

В Москву Кортов приехал для того, чтобы попробовать отыскать кое-какие документы... Вот, добрался до нас...

— А ты петь-то еще можешь, Ваня? — спросил отец.

— Если хочешь, спою. Пусть твой сын мне аккомпанирует.

Мне на рояль поставили ноты арии Канио, и он запел.

Пел он так же изумительно, как пели на пластинках того времени Джильи, Карузо или Гобби. Пел мощно и яростно. Закрыв глаза, можно было вообразить, что поет молодой человек лет двадцати-двадцати двух, а не седой старик.

Через полгода он появился еще раз, потом вновь исчез — навсегда.

Возможно, его повторно арестовали...

*Не произнесенная речь А.Б.Гольденвейзера на открытом заседании кафедры теоретико-композиторского факультета Московской консерватории*

Александр Борисович сидит сбоку стола, положив ногу на ногу. Он прикрывает глаза ладонью правой руки, левая лежит поперек живота, ее ладонь на правом бедре. Говорит очень размеренно, тонким старушечьим голосом, модулируя вверх и вниз в широком диапазоне.

— Я не хотел говорить, но многочисленные требования присутствующих и самого директора Московской ордена Ленина государственной консерватории имени Петра Ильича

Чайковского — Александра Васильевича Свешникова — нуждаются меня выступить.

Я хочу использовать эту возможность для того, что еще и еще раз напомнить нашей композиторской молодежи о недопустимости выдавливания прыщей на собственных физиономиях.

Начну с упоминания одной из самых трагических страниц в истории мировой музыкальной культуры. У великого русского композитора Александра Николаевича Скрябина выскочил прыщ. Александр Николаевич не утерпел и выдавил этот прыщ, от чего и умер.

Другой великий русский композитор, Сергей Иванович Танеев, который жил вот здесь неподалеку, в Сивцевом Вражке (в то время извозчик стоял от Страстной до Сивцева Вражка пятиалтынный), пошел хоронить Александра Николаевича, простудился на похоронах и тоже умер. Таким образом, от одного прыща погибли два великих русских композитора.

Задолго до этих трагических событий мы с Лев Николаевичем Толстым (у него я часто жила в Ясной Поляне) имели продолжительные беседы, во время которых многократно обсуждали острую необходимость запретить композиторам выдавливать свои прыщи. Мы неоднократно обращались к правительству Его Императорского Величества с предложением издать специальный монарший указ по вышеизложенному поводу. Как раз в этот период Лев Николаевич создал свою замечательную теорию "Непротравления прыщу насилем". Но реакционное царское правительство ответило отказом, а сам Лев Николаевич был предан за нее анафеме. Русские композиторы продолжали беспрепятственно выдавливать свои прыщи. Последствия известны.

После бесед с Лев Николаевичем, во время которых я под столом записывал его мысли, я часто игрывал ему "Лунную сонату" Бетховена (opus 27, № 2). Мое исполнение очень нравилось Лев Николаевичу, да и меня он очень любил, чего нельзя сказать о Софье Андреевне.

Однажды она сделала в дневнике такую запись: "Опять приехал этот противный Гольденвейзер, а у Левушки и без того плохо работает желудок"... Думаю, что эта неприязнь возникла в тот момент, когда Софья Андреевна заметила, что я подглядывал из-за куста, как она досаждала Сергею

Ивановичу Танееву своими домогательствами. Лев Николаевич очень ревновал.

После смерти Лев Николаевича я один продолжил проповедь теории "Непротивления прыщу".

В недалеком прошлом молодой талантливый композитор М.М., невзирая на мою пропаганду, выдал свой прыщ и надолго слег в больницу. Можете представить весь мой ужас, когда я позже увидел огромный фиолетовый прыщ на подбородке Р.Щ. Из этого я заключил, что композиторы (неожиданно резко визжит) не понимают! Не понимают всего ужаса подобных деяний!!

(Вновь спокойно.) Великий Мстислав Ростропович, игравший виолончельное соло величиной в девятнадцать тактов из моей замечательной оперы "Пир во время чумы", говорил потом, что никогда с такой ясностью не представлял себе всего ужаса выдавливания прыщей.

Некоторые говорят, что старик-де выжил из ума, а мои завистники утверждают, что Сталинскую премию я получил именно за "Непротивление". Но это все происки моих врагов во главе с этим ужасным Генрихом Нойхаузом, которого почему-то считают блестящим пьянистом и педагогом, это глубочайшее заблуждение, не говорю уже о том, что все его лауреаты во главе со Святославом Рихтером не стоят одной моей Татьяны Николаевой. К тому же я подозреваю, что он тайно выдавливает свои прыщи!

Но... прыщ прыщу рознь... Бывают прыщи и прыщи!

Все вы помните, какой ужасный нарыв являл собой формализм на теле советской музыки. Головкой этого нарыва в нашей консерватории был Виссарион Шебалин! (Неожиданный взрыв. Перестав прикрывать глаза, визгливо вопит, наотмашь ударяя себя освободившейся рукой по колену. Пронзительные глазки яростно сверкают, все тело дергается.) И я приложил все, все силы, чтобы выдавить! выдавить этот злокачественный прыщ!! (Стихает.) Что мне и удалось... (Приняв прежнюю позу, совершенно спокойно продолжает.) Верю, что только в наше время, с обретением стиля социалистического реализма, появилась, наконец, возможность бороться с ужасающим пороком — "Соппротивлением прыщу насиллием".

Я кончил...

Я произнес эту речь на студенческой вечеринке в 1949 г.



### *Как играет кларнет...*

Михаил Леонидович Старокадомский, тот самый, что сочинил всем известную детскую песенку "Мы едем, едем, едем в далекие края", был изумительно добрым и невероятно скромным человеком — всегда, на всех многочисленных "обязательных" заседаниях и собраниях он сидел в самом последнем ряду зала и не произносил на этих посиделках ни единого слова.

Разговаривал он очень тихо, и лицо его часто освещала очаровательная улыбка.

В консерватории он преподавал инструментовку, и я два года являлся к нему на индивидуальные уроки.

Однажды, уже не помню по какому поводу, мной было произнесено имя Овидия.

Михаил Леонидович мгновенно оживился и тут же спросил с интонацией надежды в голосе:

— А вы читали Овидия?.. А что именно?.. "Искусство любви"... И вам понравилось?.. А вы знаете, как он звучит на латыни?.. Хотите, я вам прочитаю?..

Михаил Леонидович преобразился — он расправил сутуловатые плечи, его глаза засияли и неожиданно громким, звенящим голосом он начал наизусть читать мне на латыни "Ars amatoria".

Я замер, ибо впервые в жизни слышал дивный язык сочинения, известного мне лишь в переводе.

Занятие продлилось значительно дольше положенного академического времени.

Следующий урок был у него дома. Я поставил на нотный пюпитр пару листов партитуры отвратительно инструментированного мною ноктюрна Шопена.

Михаил Леонидович некоторое время разглядывал рукопись, и в его взоре явственно обозначилась тоска. Он повернулся ко мне:

— Думаю, Коля, что если вы захотите узнать, как в действительности играет кларнет, то вы это и без меня узнаете. Давайте мы с вами сегодня кое-что посмотрим.

Он отвел меня от рояля к большому письменному столу, вытащил откуда-то из нижнего ящика огромную папку с факсимильными репродукциями рисунков Леонардо, рас-

крыл ее, и мы часа полтора внимательно, не торопясь, их разглядывали. Он показывал мне некоторые детали, на которые следовало обратить внимание, иногда спрашивал, что я думаю о том или ином фрагменте. Я ушел от него наполненным.

На следующем уроке в консерватории он совсем недолго разглядывал мою писанину, повторил фразу насчет кларнета, о котором "узнаю, если захочу узнать", и, чуть смущаясь, предложил мне послушать, как звучит Гомер. Было заметно, что он очень хочет этого. Предварительно напомнив мне, о каких эпизодах Троянской войны идет речь, он прочитал наизусть на древнегреческом две песни из "Илиады". Я знал три известных ее перевода на русский и потому хорошо представлял себе, о чем эти песни рассказывали. Гомер звучал упоительно.

В иных случаях я слушал Горация, потом были Катулл, Гесиод, фрагменты из Софокла, вновь Овидий и Гомер. Когда занятия случались у него дома, мы смотрели альбомы репродукций. Он избирательно обращал мое внимание на зарисовки рук, особенно у Дюрера и Леонардо — и так до конца года.

Выяснить, как играет кларнет, мне и в самом деле пришлось позже, самостоятельно, но Гомера на древнегреческом мне никто и никогда более не читал.

*Муму*  
*(подражание Тургеневу)*

В 54-м, предварительно обрезав махры на брюках, я впервые в жизни вошел в музыкальный отдел Министерства культуры СССР. Войдя, остановился среди чиновничьих столов, прикрывая драный пиджак партитурой весьма патриотической оратории. Ко мне обратились недовольные сонные лица: "Та-а-ак!.. Еще один пожаловал!"

Однако сочинение было принято довольно милостиво и лишь в конце обсуждения присутствующие потребовали значительных изменений в вокальных партиях — слишком, мол, высоко и сложно они написаны. Требование было категорическим.

Дома я понял, что, выполнив их, совершенно испоганю ораторию. Поэтому сначала обвел карандашом существую-

щие ноты, затем потер их жирным грязным ластиком, и потом еще раз обвел ноты чернилами. Следы работы были налицо.

Когда вновь принес партитуру в министерство, чиновник, который особенно настоятельно требовал поправок, открыл рукопись, посмотрел на мазню и удовлетворенно заявил:

— Ну вот! Теперь совершенно другое дело!

### *Сколько стоили Рафаэли*

Из всей довольно обширной бабкиной библиотеки мне в наследство достался один только трехтомник "Истории искусств" Гнедича.

С трех лет я ежедневно разглядывал в этом трехтомнике красивые картинки. К тому времени, как научился читать, то есть к восьми годам, уже выучил этот трехтомник наизусть и довольно прилично знал, где и какое полотно или скульптура находится.

Особенно хотелось попасть в ленинградский Эрмитаж, где я рассчитывал увидеть многие полотна, благодаря которым Эрмитаж являлся одним из главных музеев мира.

В Ленинград попал только в 57-м — двадцати семи лет.

В Эрмитаже немедленно понесся в залы Итальянского Возрождения, быстро пробежал их, чтобы сначала получить представление обо всей коллекции, но с изумлением из самых знаменитых работ обнаружил лишь две Мадонны Леонардо и два небольших полотна Рафаэля. Отправился к испанцам и не нашел "Венеру" Веласкеса — единственную написанную им "ню". В залах Рембрандта не было двух гигантских распятый. Озадаченный, я вернулся к итальянцам и вновь, уже медленно, прошел по залам — полотна, которые я мечтал увидеть, отсутствовали.

Посетителей было мало. В зале, где висели Рафаэли, увидел смотрительницу — интеллигентного вида женщину, в очень скромной, но опрятной одежде. Я подошел к ней:

— Скажите, пожалуйста, почему не выставлены рафаэлевские "Святое семейство", "Мадонна с молодым Иоанном Крестителем", "Мадонна со щегленком", большой "Св. Георгий, поражающий змея"? Где обе "Данаи" Тициана и его же "Венера перед зеркалом"? Где "Венера" Веласкеса? Где

два больших распятия Рембрандта?

Перечислил еще несколько главных эрмитажных полотен.

Она строго смотрела на меня и не отвечала.

Я продолжил:

— Понимаете ли, я с детства знаю эти работы по книгам, знаю, что они находятся в Эрмитаже, и много лет мечтал их увидеть. Наконец приехал в Ленинград и вот теперь не нахожу их!

Очень тихо и медленно она произнесла:

— Вы что, прикидываетесь?

— Да нет, что вы! Я совершенно искренен! Я ждал встречи с этими полотнами долгие годы!

— Вы с ума сошли! — процедила она сквозь зубы.

Я произнес довольно длинную тираду о своем желании увидеть исчезнувшие полотна и, загибая пальцы, вновь перечислил интересовавшие меня работы. В конце тирады я предположил, что живописная коллекция Эрмитажа, лишившись этих полотен, теряет главенствующее положение среди мировых живописных коллекций.

Она наконец поверила в мою искренность.

— Так, значит, вы не знаете!! Вы не знаете, что тридцать живописных работ, которые составляли главную славу Эрмитажа, были в 29-м году обменены на партию американских тракторов. Через два года все эти трактора сгнили в колхозном поле!

*Одесса, 1959*

*Он ждал меня много лет*

На пыльной безлюдной улочке, выходящей к морю, рядом с морским портом натыкаюсь на небольшой грязный плакатик, расположенный на высоте двадцати сантиметров над землей:

**”НАПИШЕМ МЕЛОДИИ, ПОНЯТНЫЕ НАРОДУ”**

*Экскурс в историю*

Моя демократка-жена спрашивает старушку-украинку о том, как жили в Одессе при немцах.

— А шо, хорошо жылы. Нимцы булы тилько остатни две недили, а до того стояли румыны — хорошо жылы!

— Но ведь были зверства! Известно, что одних только евреев погибло 60 тысяч!

— Шо?! Шосдесят тысяч?!.. Та ни-и-и!.. Та, висило шо то на Привози, но шоб шосдесят тысяч — ни-и-и!..

*А пора бы вернуть...*

Он поставил передо мной на стол небольшой прямоугольной формы кожаный футляр старинной работы и спросил:

— Как ты думаешь, что это такое?

— Судя по латинскому N, оттиснутому золотом на боку, этот предмет имеет отношение к Наполеону.

Он вынул из футляра высокий, с расширяющейся верхней частью граненый стакан удивительного вкуса и показал, что в его стенке, как водяной знак, так же проступает латинское N.

— Ты угадал. Это "походный" бокал Наполеона.

— А как он к тебе попал?

— Я взял его в Шенбрунне.

— Каким образом? Зачем?

— В войну я был батальонным политруком. Когда мы вошли в Австрию, наши солдаты с яростной ненавистью относились ко всему немецкому, что было естественно. Они не знали разницы между Австрией и Германией, так как и там и там говорили на немецком. В Шенбрунне они громили витрины, прикладами били посуду и расстреливали картины и скульптуры. Сдержать их было невозможно. Я решил спасти хоть что-то и сунул этот футляр в вещмешок.

Потихоньку поворачивая бокал в руке, я любовался скромным совершенством его формы и чистотой огранки.

— Этот бокал Наполеон потерял под Веной во время бегства из России... Я никогда не собирался расставаться с ним, но все же думал, что в трудную минуту он меня выручит — и ошибся...

В хрустале матово просвечивал водяной знак.

— В сорок девятом меня объявили "космополитом". Заработки прекратились. В продажу пошли вещи и книги, но их хватило ненадолго. Наконец остался только этот бокал и я решил, что его пора продавать. Мне раздобыли адрес какого-то частного антиквара, и, предварительно созвонив-

шись, я отправился к нему домой в один из арбатских переулков. Старичок встретил меня крайне любезно — чувствовалась "старая школа". Я поставил футляр на стол и откинул крышку. Антиквар заглянул в него и сразу сказал:

— Вы взяли это в Шенбрунне?

— Ну да! А откуда вы это знаете?

— Молодой человек, мы, в силу профессии, обязаны знать, где и какая из подобных вещей находится.

— А как вы думаете, сколько она может стоить?

— Я не советовал бы вам продавать ее.

— Но все же?!

— Думаю, что по сегодняшнему курсу она должна стоить не менее четырехсот тысяч рублей, но вам их никогда не получить, особенно в госантиквариате.

— Так что же мне делать?!

— Я вновь советую вам не продавать эту уникальную вещь.

— Но мне позарез нужны деньги!

— Потерпите... потерпите... Я покажу вам этот бокал в старом каталоге и вы поймете, что столько он и стоит. Допустим, я сделал бы вам одолжение и купил бы у вас эту вещь для себя, так как не имею права ее перепродавать — она каталогизированная историческая ценность. Я заплатил бы вам тысяч сорок, но для вас это не имеет смысла. Быть может, вы свяжетесь с западными посольствами — там вам заплатят полностью и настоящими деньгами?..

— Спасибо за совет! Но у меня нет ни малейшего желания ехать на восток!

— Понимаю... Тогда, увы, ничем не могу вам помочь...

Я ушел от него расстроенный и решил все же проверить, правду ли он сказал. Мне дали адрес другого арбатского старичка-антиквара. Когда я поставил перед ним футляр и откинул крышку, он, заглянув в него, спросил:

— Вы взяли это в Шенбрунне?

### *Он тоже был жертвой*

В 61-м Николай Погодин написал пьесу об Эйнштейне и американских атомных физиках. Ее большой фрагмент был напечатан в "Правде". Через некоторое время наши атомные физики подняли скандал: Погодин, мол, ничего не понимает

в предмете и тем более ничего не знает об американской научной жизни.

В начале лета советское правительство отправило его в Штаты "изучать натуру".

Наша компания отбыла в Коктебель.

За пару недель до конца пребывания в Крыму сын Погодина Олег получил телеграмму из Москвы: "Папа умирает, срочно выезжай". Он немедленно вылетел в Москву.

Вернувшись из Крыма, я тут же поехал к Олегу.

— Почему умер папа? Что случилось?

— Ты ведь помнишь, что он много лет тяжело пил. В прошлом году врачи предупредили: если не бросит пить, то проживет недолго. Он бросил. Когда вернулся из Америки, пару недель протянул спокойно, потом устроил чудовищный запой. Началось кишечное кровотечение, и его уложили в больницу: в этот момент меня и вызвали. Когда я пришел к нему, он еще был в полном сознании. "Почему ты это сделал, отец?" — спросил я. Он ответил: "Сынок, я больше не могу и не хочу жить. Их техника: самолеты, автомобили, холодильники — все это Марс. Но, знаешь, при наших деньгах мы и здесь могли бы ее иметь. Дело в другом... В силу обстоятельств я попал в самый верхний интеллектуальный этаж Америки. Это замкнутая каста, в нее даже своих не пускают. Общаясь с ними, я понял, что ничего не знаю и не понимаю, я не способен отрываться от земли. Я раб. Я больше не хочу жить!"

### *Попытка Теодицеи*

Два Андрея резко пересекли границу между светом и темнотой и вышли к горящему костру.

Один тянул за руку девицу и после того, как все перездоровались, быстро утащил ее в траву. Дальнейшее сопровождалось игривым хихиканьем, которое оттуда доносилось.

Мы с Колей Шабалиным, задолго до их прихода, начали разговор о Господе. И мы его продолжили.

Другой Андрей встал перед костром, по-наполеоновски скрестил руки на груди и, молча глядя в огонь, с напряженным вниманием слушал наши христололюбивые соображения.

Неожиданно он сказал:

— А по-моему, он был бандит с большой дороги, — и ни-

чего более к сказанному не прибавил.

Это случилось в 62-м.

Потом, многие годы видя его работы, я не удивлялся тому, что лучше всего у него получались эпизоды, где действовало или побеждало зло. Мне казалось, что в эпизодах, где должно было утвердить добро, случались лишь декларации.

Так продолжалось до тех пор, пока к нему реально не приблизилась смерть. Последняя работа свидетельствует, что смерть заставила его сделать единственный возможный выбор — вверх. Он пришел к необходимости искупления.

Господь настиг его.

### *Счастье было возможно*

Британский культурный советник устроил у себя дома официальный прием по случаю приезда в Москву знаменитого английского дирижера Малькольма Сарджента. Вместе с Сарджентом из аэропорта прибыла почтенная Ксения Эрдели — наша знаменитая арфистка, она его торжественно приветствовала прямо на летном поле.

За столом ее посадили между послем сэром Гербертом Тревельяном и сэром Малькольмом Сарджентом.

При свете свечей сверкал сервированный серебром и хрусталем стол красного дерева, не покрытый скатертью. Вышколенная прислуга обносила присутствующих все новыми и новыми роскошными блюдами. Оба сэра наперегонки оказывали Эрдели галантное внимание.

После того, как были отпробованы крабы в кокилях (до сих пор не могу простить себе, что гордо отказался съесть еще порцию), почтенная дама обратилась к хозяйке дома:

— Это кто же у вас так вкусно готовит?

— Прислуга, — ответила советница.

— Английская прислуга?

— Нет, русская. Мы их обучили.

— По-о-думать только! — удивилась Эрдели и продолжила трапезу.

Неожиданно она довольно громко спросила у моей жены:

— Ниночка, а нас не посадят?

Жена заверила ее, что не посадят.



Почтенная дама вдруг вспомнила:

— А ведь я обедала с тремя царями!

К ней обратился советник:

— Мадам Эрдели, а не были ли вы знакомы с Лениным?

— А как же! Я всех русских царей знала: и Александра Александровича, и Николая Александровича, и Александра Федоровича Керенского, и Ленина, и Сталина!

Она вновь повернулась к моей жене и повторила вопрос:

— Ниночка, а нас не посадят?

— А были ли вы когда-нибудь в Англии? — не унимался советник.

— К сожалению, не была. Во Франции бывала довольно часто. В ту пору достаточно было дать дворнику три рубля и он приносил тебе визу. Во Франции друзья говорили: "Поезжай, поезжай в Англию". Я такая дура была, все откладывала и откладывала. Думала, что еще успею!.. Ан, не успела...

В конце трапезы, выкушав кофий, она заявила:

— Какой вкусный у вас кофе! У нас такого нет... А что у нас, вообще-то, есть?!

По позднему времени почтенная дама собралась уходить первой.

Она остановилась в дверях, оглядела апартаменты советника тоскливым взором и, тяжело вздохнув, произнесла:

— По-о-думать только!.. Ведь и я могла бы так жить!

### *Дай Бог, последнее свидание*

Месяца через полтора после визита Н.С.Хрущева в Манеж мне позвонил сотрудник КГБ, который за год до того пробовал сделать из меня осведомителя — Комитет интересовала моя дружба с британским культурным советником. В обмен на информацию мне сулили издание и исполнение всех сочинений, поездки за границу и деньги на представительство. Вербовка продолжалась дня два и я, как мог, "валял Швейка", ссылаясь на то, что кончал консерваторию, а не шпионскую школу. Отбил.

На сей раз он попросил о свидании на Трубном бульваре. Когда мы сели на скамейку, он начал:

— Николай Николаевич, вы, вероятно, знаете о том, что Никита Сергеевич, члены ЦК партии и правительства посетили выставку в Манеже и что там произошло?

— Да, я многое слышал об этом.

— Мы хотели бы знать, как московская интеллигенция отнеслась к событию. Не могли бы вы рассказать об этом?

— Не знаю, как отнеслась к событию московская интеллигенция, но могу точно определить, как сам я к нему отношусь.

— Пожалуйста, я вас слушаю.

— То, что я сейчас скажу, прошу довести до сведения соответствующего начальства и пусть оно, по возможности, сделает выводы из моего сообщения.

Он пообещал.

— Думаю, что мы опять покрыли себя великим позором (я напомнил ему несколько отвратительных эпизодов, происшедших во время достославного визита). Понимаю, — продолжил я, — Никита Сергеевич руководит огромной сложной страной, известно, что он спит пять часов в сутки и ему некогда заниматься искусствами и литературой. Поэтому и он, и иные, нами управляющие, пользуются той информацией, что приходит от "своих" — тех, кто руководит искусством: секретарей Союзов, чиновников министерства культуры и тому подобных — им доверяют. Но эти люди всегда выдают "наверх" информацию в собственных интересах. Они рассуждают в своей пошлой логике: если так называемые авангардисты делают настоящее искусство, то искусство, которым занимаются они сами, не стоит ломаного гроша, и наоборот. В этом они усматривают угрозу своему социальному статусу, то есть своей власти, привилегиям, высоким заработкам и тому подобному. Повторяю: они подают "наверх" информацию только в своих интересах. Чтобы вам было понятно, насколько это серьезно, расскажу еще один эпизод, происшедший в Манеже.

Один молодой художник поместил на выставке несколько "сезанноватый" портрет ударника. Портрет был написан крупными мазками, чувствовалась энергичная лепка, и он подпустил в цветовое решение сиреневые и буро-красные тона — вполне обычная и, я бы сказал, не "вызывающая" работа.

После того как Никита Сергеевич с толпой сопровождающих приблизились к полотну и некоторое время изучали его, именно про эту работу Хрущев произнес известную фразу: "Это все падарасы!" — и шлепнул на портрет. Затем

толпа, с генсеком во главе, проследовала далее.

Художник, с полотном которого обошлись столь диким образом, остался стоять перед своей работой в одиночестве, и легко себе представить, какие чувства он испытывал. Неожиданно к нему подкатил старичок из Академии художеств и как-то вполне по-человечески спросил:

— Ну что, милый, ты кручинишься?

Потрясенный художник, откликаясь на сочувствующий тон, ответил:

— Вот ведь беда какая! Глава государства на работу плюнул!.. Что ж теперь делать? Как работать? Как жить?

— Да ты не тушуйся! Все пройдет!

— Но я не понимаю, чего порочного я сотворил! Вполне традиционная работа!.. А еще твердят про какие-то идеи! Какие идеи?! Портрет как портрет!

— Эх, милый! Какие идеи, спрашиваешь? Да никаких идей нет. Просто мы вам копейки не дадим заработать! А хуй мы вам дадим заработать! — старичок похлопал себя ладошкой по соответствующему месту и пошелся во след хрущевской свите. (Портрет этот, застекленный вместе с плевром Хрущева, до сих пор висит в мастерской художника.)

Я прошу вас довести до сведения начальства и этот эпизод, так как он достаточно красноречив.

Хочу высказать вам еще одно соображение: с людьми, которые пришли к выводу о том, что они должны работать по-своему, ничего нельзя сделать. Вы можете тесать на моей голове кол, но я буду писать музыку так, как считаю нужным.

— Спасибо, Николай Николаевич, я все доложу, как вы сказали...

И мы расстались навсегда.

### *Самообслуживание*

Был жаркий июль.

К "Волге" приварили новые крылья. Теперь их надо было прокрасить изнутри антикоррозийной пастой.

Побродив по станции обслуживания, я добыл ведро этого вещества и начал искать кого-нибудь, кто бы согласился проделать сию работу. Ни один из работников станции ни за какие посулы не соглашался этим заняться.

Тогда я разделся по пояс, натянул старые ремонтные брюки, подхватил ведро с кистью и, перекрестившись, нырнул в яму под машиной.

Я провел под ней около двух часов и к концу работы стал похож на твеновского "королевского тигроида" — капли черной пасты падали и растекались у меня по лицу и телу.

Когда, окончив дело, я вынырнул из-под машины, то обнаружил, что перед ней стоит небольшого роста человек с вполне интеллигентным лицом. Мой вид его явно поразил и после некоторого изучения зрелища он спросил:

— Это ваша машина?

— Да, моя.

— И вы сами проделали всю эту грязную работу?

— Ну, конечно! А что было делать, если никто за нее не брался?!

Разговорились, главным образом о нашей автомобильной неустроенности. Познакомились. Он оказался директором большого электронного института. В свою очередь, он спросил о моей профессии.

— Композитор.

— А ваша фамилия?

Я назвал.

— Вы Каретников?! — удивленно воскликнул он (два моих балета еще недавно шли в Большом театре.)

Его лицо вытянулось, он сделал два шага назад, несколько раз оглядел меня в моем "тигроидном" обличи сверху донизу, потом взялся руками за голову и с отчаянием возгласил:

— Боже мой! Что за страна!!

И так, держась за голову, он и упел от меня.

### *Явление власти в 1962-м*

В довольно многолюдное, но вполне спокойное застолье как бомба ворвался временщик. Он сел на свободный стул рядом с известной, очень красивой киноактрисой. За ним почти незаметно, как будто даже не поздоровавшись, в комнату вошел и занял место напротив него человек с какой-то птичьей фамилией. Позже мне объяснили — его "серый кардинал". Временщик обзрел стол, богато уставленный снедью, и многозначительно заявил государственным голо-

сом: "Да... К сожалению, приходится идти на неприятные, резкие меры"... — он имел в виду должествующее наступить с завтрашнего дня повышение цен на мясо.

Воцарилось всеобщее молчание. Он взглядом обвел застолье, и его круглые глаза, казалось, не мигали. С этого момента и до его ухода часа через три никто уже самостоятельно реплик не подавал. Иногда отвечали на его вопросы.

Он продолжил, нагло спросив у кинозвезды, как она посмела сняться в очень плохом фильме Пырьева? Бедная актриса не могла ему объяснить, что в Советском Союзе кинозвезды вполне бесправны и часто снимаются в случайных лентах. Она смутилась и что-то жалко пролепетала. Впрочем, ответ его и не интересовал. Он уже обращался к кому-то еще — громко, самоуверенно и часто задевал самолюбие тех, к кому обращался.

Затем ему пришло в голову новое развлечение: он стал спрашивать у хозяина дома фамилии и профессии тех, кто сидел за столом по движению часовой стрелки. Услышав ответ, наливал себе рюмку или бокал, вставал и экспромтом произносил тост-четверостишие в честь поименованного. Надо отдать ему должное, делал это с блеском и талантом. Дошла очередь и до меня. Четверостишие было вполне "по делу", и он умудрился вставить в него фамилию Шостаковича.

У меня исчез аппетит. Впервые в жизни я видел близко представителя высшей власти и испытывал чувство ужаса. Все время, не отрываясь, я разглядывал его.

В какой-то момент, в естественно образовавшейся паузе, он развернулся ко мне всем корпусом и негромко, но резко спросил:

— Вы что на меня так смотрите?

— А разве нельзя смотреть?

Диалог не продолжился.

Он очень медленно отвернулся от меня. Стало заметно, что он много выпил и отяжелел. Однако через пару минут вновь держал застолье.

Наконец он встал и, попрощавшись только с хозяином дома, направился к дверям. За ним бесшумно выскользнул человек с птичьей фамилией.

Дама, которая привела меня в это общество, сказала мне потом, что временщик "вел себя очень прилично; обычно он еще и ругается матом".

## *Мы — заложники*

Итак, внутри Союза на мою музыку в 62-м году вышел негласный запрет, продолжавшийся более двадцати лет. Начиная с 65-го, по рекомендации ныне покойного Луиджи Ноно, ко мне начали приходить письма из всяких европейских стран с просьбами о присылке рукописей моих сочинений. Случилось так, что в концертный сезон 68/69 г. в нескольких городах Европы должны были состояться шесть или семь моих премьер, считая постановку балета "Крошка Цахес" на пражском телевидении. Я со спокойной уверенностью ждал, что все они состоятся.

Через две недели после вторжения наших войск в Прагу ко мне, без единого сопровождающего слова, начали возвращаться мои партитуры. Их как будто бросали мне в лицо — мне давали понять, что на Западе чувствуют себя ответственными за действия своих правительств, так как они их выбрали — в отличие от нас.

И все же в 70-м в Ганновере был поставлен "Крошка Цахес" и в Стокгольме исполнена IV симфония. Те, кто осуществил это, были со мною знакомы лично и понимали, что не я ввел танки в Прагу.

## *Он всегда боялся*

На пустой сцене при дежурном свете М.И.Царев произносил монолог Лира во время бури.

Он говорил негромко, речь его была безупречна, а красота голоса общеизвестна.

На этот раз монолог произносил великий актер.

В почти пустом зале — сидели только несколько сотрудников театра — вершилась главная театральная магия: зрители понимали, что актер понимает, что они его понимают.

Я никогда не видел Царева в таком изумительном качестве. Стало ясно, за что его высоко ценил Вс.Мейерхольд.

Когда в репетиции наступил перерыв, я, предупредив режиссера-постановщика, пошел к М.И. в гримерную.

— Михаил Иванович! Сегодня была удивительная репетиция! Каждое слово в монологе было действенным. Вы говорили очень тихо, но я уверен, что на другой стороне Театральной площади все можно было бы услышать и понять.

Эмоциональное наполнение было абсолютным, и поэтому я очень прошу вас зафиксировать результат сегодняшней репетиции. Ничего не подчеркивайте, не прибавляйте голоса, не плюсуйте, доверьтесь себе!

Михаил Иванович по-детски обрадовался этой речи и поспешил заверить меня, что результат постарается сохранить.

После перерыва было повторение сцены бури.

На беду в зрительный зал, где горел дежурный свет, вошли и сели трое новых людей, и Михаил Иванович успел их заметить.

Все было кончено. Он прокричал свой монолог.

Он, по-видимому, давно перестал доверять себе и, быть может, боялся зрительного зала.

В конце репетиции я спросил у режиссера-постановщика:

— Что происходит с Царевым?

Тот ответил:

— После того, как из его жизни ушел Мейерхольд, он уже сорок лет лишен режиссерского глаза.

### *Медицина для композиторов*

Отравление было тяжелым. Организм катастрофически обезвоживался, и "скорая" быстро доставила меня из Дома звукозаписи в первую попавшуюся больницу. Меня внесли в приемный покой и уложили на клеенчатую скамью. Было одиннадцать утра.

Подошел дежурный врач:

— Отравление? — спросил он.

Я подтвердил кивком головы.

— Вы кто по специальности?

— Композитор, — еле слышно ответил я.

— Кто-кто? — переспросил он, и я повторил сказанное насколько мог громче.

— Понятно... понятно, — произнес врач и, обернувшись к медсестре, сказал:

— Ну что ж, начнем прием, там люди ждут.

И, усевшись за свой рабочий стол, начал прием.

Один за другим входили пациенты. Все они шли на своих ногах. Это был самый обыкновенный амбулаторный прием: кому-то бинтовали руку, кто-то демонстрировал боль-

ную ногу, кому-то меняли повязку или щупали живот. Никто из этих людей не находился в критическом состоянии.

Я видел происходящее как бы через мутное стекло и периодически впадал в забытие. Когда возвращался в реальность, наблюдал уже нового пациента.

Это продолжалось до двух. Наконец прием закончился.

— Ну что ж, займемся композитором, — сообщил врач, и меня, уже полумертвого, поволокли на промывание.

Влили несколько кувшинов воды, и когда я от нее освободился — вернулось сознание. Я совершенно обессилел.

— Теперь ему нужно поставить капельницу с физраствором.

Меня вновь подняли, отволокли в одиночную палату, раздели, уложили на койку и ушли.

Я начал ждать капельницу.

Проходили все новые и новые минуты, но никто не появлялся. Прошло полчаса, затем еще час. Я испытывал отчаяние — про меня забыли.

Постепенно возвращались силы. Я дотянулся до лежавшей на стуле одежды и очень медленно оделся. Кое-как привел себя в вертикальное положение, добрал до двери и выглянул в коридор — никого. Выбрался из палаты и, держась за стенку, потихоньку потащился к выходу.

Надо было пройти мимо застекленной стены приемного покоя.

Многочисленный медицинский персонал был занят разговорами, некоторые даже меня видели, но никак не прореагировали.

Я медленно прополз мимо них и наконец очутился на улице.

У входа, слава Богу, стояло такси, и я сразу уехал.

Вылечили.

### *Еще один уверовал*

После двадцатилетнего перерыва (года, наверное, с 1960) беседую по телефону с композитором Р.Б. Он, оказывается, тяжело болел, и неожиданно для меня разговор принимает доверительный характер. Выясняется, что мы одной веры и оба люди "соборные". Однако я помнил, что он член партии.



Как всегда, выяснив единоверца, испытываю радость. Неожиданно с его стороны следует вопрос:

— Скажи, у тебя все та же жена, которую я некогда знал?

— Другая. С той мы давно разошлись.

— А что, теперешняя твоя жена тоже еврейка?

— Нет, русская.

— Вот хорошо! Вот замечательно! Наконец-то ты от них избавился! Это большая, большая радость!

— Ты рехнулся, что ли?

— Почему это?

— Ведь Господь пришел к евреям и среди них вочеловечился!!

— Ну, это еще надо доказать, к ним ли он пришел!

Что вочеловечился — не отрицает!

— Да как у тебя язык поворачивается выговорить такое?

— А потому, что они всюду лезут, и в нашу веру тоже. Мало того, что они нам подсунули в 17-м году, теперь они нам все православие испоганят!!

### *"Об искусстве кинорежиссуры"*

Маэстро, развалясь в кресле, поучал:

— Кинорежиссером может быть кто угодно. И ВГИК кончать не надо! Только работать следует с "верняком".

Возьмешь сценарий крепкого модного сценариста, разрежешь этот сценарий ножницами и расклеишь в "режиссерский"; техническую часть бери "с потолка", лишь бы смету накачать. Оператор за тебя все придумает и снимет. Актеры: Евстигнеев, Леонов, Неелова или Догилева — эти все умеют, с ними и репетировать не надо. Теперь композитор. Возьмешь Шнитке или Артемьева — музыку тебе запишут в наилучшем виде, можешь даже на запись не приходиться! Хороший монтажер все сам подберет, подрежет и смонтирует. Ты только старайся всем платить по максимуму.

Что на съемке?.. Придешь... Актеры в гриме, свет поставлен. Спросишь: "Ну что, ребята, текстик прочитали?.. Прекрасно... А репетичка вам не нужна?.. Хорошо, пройдем разок..." Спросишь у оператора: "Гоша! У тебя там, в дырке, все в порядке?.. Ладно... Приготовились!.. Внимание, мотор!.. Начали!.."

Очень важно закончить фильм дня за три до планового срока — съемочной группе премии, студии "Переходящее Красное Знамя" и тебя первым запустят со следующей лентой...

.....

Стыдно... Четыре раза в жизни я из-за денег писал музыку к фильмам, снятым подобными постановщиками по вышеизложенной методе. Эта дрянь давала большой заработок, чем хорошие ленты серьезных режиссеров.

### *Серийная додекафония\**

Памяти Даниила Хармса

Известно, что "Сталин — это Ленин сегодня", а значит — Хрущев завтра, Брежнев послезавтра и Черненко после-послезавтра.

Следовательно: Хрущев — это Сталин сегодня. Ленин позавчера, Брежнев завтра и Черненко послезавтра.

Брежнев же — это Хрущев сегодня, Сталин — вчера, Ленин позавчера и Черненко завтра.

Получается: что Черненко — это Брежнев сегодня, Хрущев вчера, Сталин позавчера и Ленин поза-позавчера.

Таким образом, Ленин — это Сталин вчера, Хрущев завтра, Брежнев послезавтра и Черненко — после-послезавтра.  
Et cetera...

### *Замоскворецкий обиход*

Ди а л о г:

— Ясно!

— Ясно, как шоколад!

П о у ч е н и е:

— Сам, сам! У нас мальчиков нет!

---

\* Серийная додекафония — техника музыкальной композиции, выведенная А.Шенбергом из опыта И.С.Баха, Л.ван Бетховена и Р.Вагнера в начале XX века. Подразумевает тотальную организацию музыкального сочинения на одной теме методом сочетания и перестановки. Эта техника позволяет достигнуть полного единства композиции.

**Диалог:**

— Нет!

— Ни гиед, а карий!

**Поучение:**

— Поищи, как хлеб ищут!

**Диалог:**

— Ну?

— Баранки гну!

**Поучение:**

— Дворником будешь!

**Диалог:**

— Ах, как сладки гусиные лапки!

— А ты их едал?

— Я не едал, да видал, как мой дядя едал!

**Поучение:**

— Отдам в ремесленное!

**Варианты ответа:**

— Купи игрушечную железную дорогу!

1 — Сейчас, только калошки надену!

2 — А рожна на лопате не хочешь?

**Поучение:**

— Пойдешь собак гонять!

**Диалог:**

— Видал?!

— Видал-миндал!

**Диалог:**

— Папа, я заболел!

— Носик холодный — песик здоров!

**Поучение:**

— Я из тебя мартышку сделаю и скажу, что так было!

**Приглашение:**

— Пожалуйста бриться!

**Назидание:**

Зазнавшийся сноб!

## Народная мудрость

— Вот ты два месяца прожил в глухой тверской деревне. Скажи, ты видел там настоящих мудрых стариков? — очень заинтересованно спросила моя супруга у Олега Погодина, который только что вернулся из глубинки.

— А как же, видел, — мрачно ответил Олег.

— Ну, и какие, какие они были?

— Был один, сморчок с клюкой.

— И что он делал, что говорил?

— Он сидит на бревнышке, греется. Мимо девка идет, ведра несет. "Ой, девонька, подь сюда!" — та подходит. "Здравствуй, батюшка!" — говорит. "Ты что, воду несешь?" — "Воду несу, батюшка". — "Ну, неси!" — Потом баба идет, корову ведет. Он ее подзывает: "Корову ведешь, молодка?" "Корову веду, батюшка". — "Ну веди, веди!.."

— Нет! Нет!.. Он что-нибудь другое, мудрое говорил?

— А как же, говорил.

— Что, что он говорил?

— Мы выйдем ранним утром на огороды по нужде и он тоже. Кругом птички поют, солнышко пригревает — благодать! Он ладошкой-домиком глаза от солнца прикроет, оглядит всю эту лепоту и говорит...

— Ну что, что он говорит?

— Он говорит: "Еб твою мать!"

### *Истинного знатока не обманешь*

В гости должны были явиться супруги, весьма склонные к употреблению алкоголя, — он композитор, она поэтесса. Я припас на вечер бутылку коньяка и бутылку водки.

Они явились уже вполне "на взводе" и приволокли с собой еще две бутылки.

К концу визита все выставленное на стол было выпито (надо заметить, что мы с женой почти не пили), но гости явственно дали нам понять, что было бы неплохо еще что-нибудь выпить.

Я вспомнил, что у меня где-то оставались полбутылки коньяка и четверть бутылки "Старки". Пошел на кухню и, немного поразмышляв, соединил коньяк и "Старку" в одном сосуде — коньячном.

Смесь тоже была выпита.

В конце визита, уже стоя в дверях, поэтесса обернулась ко мне и, шаловливо пригрозив пальчиком, произнесла:  
— А в коньячке-то "Старочка" была!

### *Забота о детях*

Мастер починил дверь. Я дал ему десятку. Он передал ее подмастерью и сказал:

— Вася, давай в магазин... И закусить!

Подмастерье принес. Они выпили-закусили, и мастер начал подгонять оконную раму. Подогнал. Получил десятку:

— Вася, давай в магазин! — про "закусить" Вася и сам знал.

Теперь надо было сделать перила на лестнице. Мастер сделал. Получил пятнадцать, Вася принес две бутылки.

— Послушай, — обратился я к мастеру, — у тебя дети есть?

— Есть, двое...

— Как же так? Ты заработал за сегодняшний день 35 рублей, и вы их до копейки пропили. Ты детям-то ничего не хочешь принести?

— А зачем?.. У меня жена работает!

— Сколько же она получает?

— 120 с вычетами.

— Как же дети на такие деньги вырастут?

— Да я ить вырос?!

### *Апелляция*

Оранжевый абажур мягко освещает стол на середине комнаты. Сидя в углу, дожидаясь хозяина дома.

Его старенькая мать медленно, мелкими шажками ходит вокруг стола. Совершив несколько кругов, она останавливается с противоположной от меня стороны и после очень глубокого и тяжкого вздоха, на выдохе, произносит:

— О-о-й!..

Несколько мгновений она медлит, затем возобновляет хождение и, завершив круг, вновь произносит:

— О-о-й!..

Это повторяется еще и еще раз.

Наконец она, вновь остановившись, поднимает голову и, не отрывая взгляда от потолка, с упреком говорит:

— Такая хорошая!.. И такая больная!..

*Они уже в царствии небесном*

Являются строители.

— Слышь, хозяин! Мы тебе люк для выгреба привезли!

— Спасибо! Сколько я за него должен?

— Рублей пятнадцать аккуратно будет.

— А где вы его взяли?

— Понимаешь, мы едем, а он лежит...

— Где лежит?

— На дороге лежит. Ну, мы и...

— Так вы его украли, что ли?

— Обижаетесь! Зачем украли? Мы его взяли.

— Но ведь просто так он лежать не мог! Там, рядом, ямы-то были выкопаны?

— А как же! Он на краю ямы и лежал.

— Значит, его установить хотели.

— Может, хотели... а может, и нет...

— Значит, он все же кому-то принадлежал!

— Может, принадлежал...

— Получается, что вы его украли.

— Да что ты, хозяин! Зачем украли! Мы его взяли! Мы, понимаешь, едем, а он лежит!..

*Талисман*

Настало тревожное время.

Мы жили на первом этаже, и, когда Саша Галич приезжал к нам, одновременно с его появлением к оконному стеклу, не скрываясь, прижималось волосатое ухо. Оно исчезало, когда Саша уходил.

Раз в неделю к нему домой являлся милиционер и задавал один и тот же вопрос: "На какие средства вы живете, гражданин Галич?" Однажды я столкнулся с этим милиционером — он был почему-то в плащ-палатке.

После того, как страшно избивали нескольких диссидентов, я начал на своей машине возить Сашу по различным московским домам, где он давал свои концерты. Казалось,

что если я буду рядом, мое присутствие как-то оградит его от возможных несчастий.

Чувство опасности было постоянным.

Только тогда, когда в доме Галича появлялся Андрей Дмитриевич Сахаров, всегда неизменно спокойный, собранный, внимательный к каждому человеку, вступавшему с ним в общение, с идеальной русской речью — такую речь можно было услышать в очень немногих интеллигентских семьях, с удивительными огромными голубыми глазами, которые можно было сравнить с глазами одного-единственного человека — Бориса Леонидовича Пастернака, — только тогда приходило спокойствие: пока этот человек здесь, среди нас, ни с кем ничего дурного случиться не может.

### *Здесь надо родиться*

Году в 67-м к моему другу А.Штротмасу явилась с визитом американская супружеская пара — оба слависты, заканчивавшие аспирантуру Московского университета. Они жили здесь уже два года, говорили по-русски с едва заметным акцентом и все понимали про наши обстоятельства.

Зашел разговор о Галиче. Они одобрительно о нем отзывались, сообщив при этом, что его песни "очень милы".

— Милы?! — вскричали мы со Штротмасом и тут же предложили им послушать "Прибавочную стоимость".

Они с тихими улыбками слушали запись песни, иногда со значением переглядывались, а потом заявили, что не понимают нашей бурной реакции на свой первоначальный отзыв о Галиче.

Тогда мы поставили пленку еще раз. Мы останавливали запись после каждой фразы и подробно объясняли им смысл каждого слова. На это ушло два часа.

— А-а-а!.. Ну, вот теперь мы наконец все поняли!

### *Где он брал материал*

— Сашенька, я ведь хорошо знаю почти всех, с кем ты годами общаешься. Это определенный круг московской интеллигенции. Что они говорят, что делают, хорошо известно, и никаких неожиданностей быть не может. Я много лет стараюсь понять, где ты набираешь материал для песен про "на-

родную жизнь”, да еще такой колючий? — спросил я.

— Колька, ты же знаешь, что я часто валяюсь по больницам, — ответил Галич, — так вот, когда ложусь туда, всегда прошу, чтобы меня поместили в общую палату, где народу побольше. А уж там, после месяца лежания, я набираю материалу на два года работы!

### *Бремя имиджа*

Саша Галич давал в доме наших общих друзей очередной “прощальный” концерт. Народу было много. В углу, с мрачным выражением лица, сидел хорошо мне известный человек, недавно перешедший из режиссуры в богословие.

Сашины “шутейные” песни, как всегда, сопровождались взрывами смеха, но богослов ни разу не улыбнулся и иногда, в паузе, повторял: “В книгах, которые я сейчас читаю, об этом ничего не сказано”.

После того, как Галич спел известный цикл песен и интермедий “Про Клима Петровича”, богослов незаметно исчез. Концерт продолжался.

Мне понадобились спички. Чтобы попасть на кухню, следовало пересечь коридор, в конце которого была дверь в еще одну комнату. Пересекая этот коридор, я повернул голову — дверь в комнату была открыта — и увидел: по широкой софе, держась руками за живот и корчась от смеха, катался богослов. Он выхохатывал все, что успел накопить, пока Саша пел.

Он спасал свой имидж, но имидж его не спасал.

### *Александр Галич*

Последние три года жизни Галича в Москве я был в такой ослепительной близости к нему, что мне очень трудно отделить главное от второстепенного. Так же трудно, как если бы мне пришлось рассказывать о своих родных — о моей матери или сыновьях. В эти годы наше общение было почти каждодневным.

Мы с Сашей познакомились в 1947 году в доме Константина Исаева, с которым Галич иногда соавторствовал. Тогда Саша не произвел на меня ни малейшего впечатления, показался обычным московским интеллигентом ”о т д р а м а



т у р г и и". Трудно было вообразить, каким красивым человеком он станет через 20 лет.

Потрясающее впечатление произвела на меня Ньюша, то бишь Ангелина Николаевна, его жена. Увидев ее в первый раз, я просто сел в угол и смотрел, не отрываясь, часа три. До сих пор уверен, что она была самой красивой женщиной, которую я видел в жизни, на сцене или на экране. Она была не только красива. В 1961 году один испуганный слушатель первых песен Галича (Саша исполнял "Облака" и "Л.Потопову") спросил Сашу: "Зачем ты это делаешь? Ты же знаешь, чем это для тебя может кончиться!" Ответила Ньюша: "Мы решили ничего больше не бояться". Несколькими годами позже написана песня "Как мне странно, что ты жена!" — это ведь о ней.

По-настоящему мы с Сашей встретились в 65-м, когда возрастная разница (в одиннадцать лет) уже не играла роли. До этого мы существовали в почти не сообщающихся мирах: он в драматургии, я в музыке. Дикое наслаждение, которое я получал от его песен, определяло мое к нему отношение. На первом этапе это определило и его отношение ко мне — он совершенно по-детски любил, когда его хвалили. Позже вступили в дело уже иные факторы.

Любопытно, что он никогда не просил меня показать ему мою музыку, а я этого и не предлагал. Он, наверное, боялся разочарования.

Когда мы встретились в 65-м, он уже "получшел". Он был почти таким же, каким шел к самолету, чтобы улететь навсегда. По летному полю шагал — я это отчетливо вижу — человек необычайной красоты. Шел Актер и Шут. Шут, говоривший правду королям! Он был возбужден и прекрасен — самый красивый Галич!

Все уже рвалось. Было понятно, что он оставляет у себя за спиной и какую цену придется заплатить за изгнание и за отъезд — заплатить потерей самой необходимой аудитории!

Я никогда не поддерживал разговоры об отъезде. Я считал, что каждый сам должен сделать выбор. Слишком страшна была в то время ситуация... Но почему помянутый в одном из его стихотворений милиционер являлся в плащ-палатке, я до сих пор не понимаю. И Саша этого не понимал. А торчали, следили за ним совсем другие люди, с лицами, которые невозможно было запомнить. Средства у них были со-

вершенно кустарные и, главное, они вовсе не прятались.

Я ездил с Сашей по многим домам, где он выступал. Иногда дома были нам абсолютно неизвестны, часто случайны, иногда где-то на окраинах города, в новых районах. Мы каждый раз не знали, какие там будут люди, но он мгновенно оценивал присутствующих, мгновенно адаптировался. Всегда — он ни разу не ошибся — очень точно чувствовал аудиторию и в соответствии с этим чувством выбирал песни для исполнения. Обычно он просил меня настроить гитару (я делал естественную темперацию, и ему было удобнее петь. Сам он так настраивать не умел). Не помню случая, чтобы хоть один из слушателей остался бы равнодушным.

Как и отец Александр, Галич был одним из немногих, кто напоминал мне удивительных русских интеллигентов, которые генерировали в начале столетия и относились к так называемому "русскому серебряному веку". Для них вопрос собственной эрудиции не играл той роли, какую этот вопрос во многих случаях играет сегодня. Их огромная эрудиция была так же естественна, как у хорошего пианиста быстрая и точная игра гамм. Например, многоязыкость: В.Я.Шебалин — мой учитель — знал четыре языка, А.Г.Габричевский знал семь, дирижер Н.Аносов не то 15, не то 17, Галич знал три. Как будто бы маловато, но, если учитывать условия, в которых он ими овладел, это очень много. На немецком говорили родители, французский и английский выучил самостоятельно, валяясь по больничным койкам. (Сам я, не зная ни одного, кажусь себе каким-то обрубком.)

Видимо, знание многих языков очень меняет свойства интеллекта и особенно влияет на синкретические возможности человека. Саша обладал ими в полной мере: легко умел по малой части реконструировать целое, умел соединять понятия, которые в голове, этими способностями не обладающей, не соединяются. Думаю, это все-таки вопрос наследования. Какое ни будь образование, истинный интеллигент появляется в результате чередования нескольких поколений, когда каждый следующий человек рождается во все более высоком уровне духовной культуры (что не отменяет, конечно, исключений). Я знал его мать и могу совершенно убежденно сказать, что многое определилось тем, какими были родители. Начало было, видимо, очень хорошим, и дальнейшее самосовершенствование потребовало от него

меньших усилий.

Еще одно его замечательное свойство — литературный универсализм. Он ведь очень многое мог и как прозаик, и как сценарист, не говоря уже о том, каким он был поэтом.

По складу ума Галич был чистый гуманитарий. Сам как-то говорил мне, что так и не может понять, почему, когда поворачивает выключатель, зажигается или гаснет лампочка. Ему это было недоступно. Какие-то элементарные бытовые акции он если и совершал, то совершал с осторожностью и изумлением. И, быть может, в этом была заложена его смерть — он погиб от обыкновенного телевизора.

И еще — совершенно замечательный характер. Он был человек легкий, веселый, безобразник и, вместе с тем, в нем была настоящая застенчивость: он был совершенно не способен участвовать в каком-либо, даже самом пустяковом скандале, кроме того, причиной которого было хамство, — тут он был неумолим и презрителен.

Почти все известные мне представители великой русской интеллигенции, о которых я уже упоминал, были очень живыми людьми, любителями женского пола и возлияний, любили похулиганить и погусарствовать. Помню, каким был Нейгауз, помню, каким был всего этого не чуждавшийся Шабалин, каким был великий музыкант И.Способин. И одновременно они существовали на огромных духовных и интеллектуальных высотах — одно другого совершенно не исключало. Никто из них не напоминал известное создание, выведенное доктором Вагнером в колбе. Живые, прежде всего живые люди. И Саша был фантастически живым человеком, быть может, как никто... И, пожалуй, в нем видел я настоящее российское гусарство.

Он сам меня осторожно спросил однажды о том, как я отношусь к музыке его песен? И был очень рад моему ответу. Я ответил: "Ну, Саш, у тебя ведь все очень непритязательно. Ты же не претендуешь на то, чтобы писать нечто оригинальное. Ты вообще пишешь не музыку. То, что ты пишешь, это музыкальная лупа. Ты с удивительной интуицией находишь возможность усилить воздействие своих стихов: во-первых, благодаря тому, что они медленнее произносятся — а значит, все можно хорошо прочувствовать, во-вторых, ты точно подчеркиваешь их ритмическую основу, что особенно важно на первом этапе восприятия. Так что можно

сказать, что музыка у тебя — как бы некая пропагандистская лупа. Однако думаю, что наступит время, когда твои стихи будут читать, а не петь...”

Универсально одаренный человек, он был действительно предельно музыкален, и к тому же у него был очень хороший вкус. Он постоянно слушал записи классики, небольшая коллекция которой у него была. Все, что он делал в музыке своих песен, было пластично и свидетельствовало о высокой культуре слуха. И, хотя я терпеть не могу массовую культуру (а в основе его песен лежит городской романс), у меня никогда не возникало по отношению к его музыке ощущение шокинга: она никогда не была пошлой! У него, безусловно, был мелодический дар, и иногда случались довольно сложные хитрости в форме песни или ее гармоническом построении. Возникало что-то свое на очень, казалось бы, простом материале.

Иногда приходится слышать, что Галич прожил как бы две жизни. Одну, как ”советский” драматург, другую, как русский поэт и беспощадный судья режима.

Двадцать лет он был ”советским” драматургом, много зарабатывал и мог бы до конца дней в таком благополучии пребывать. Я видел его пьесы и фильмы, снятые в то время по его сценариям, — они были крепко скроены, однако производили на меня такое же впечатление, как и все искусство, доступное в то время. Никто не предполагал того, что он начнет творить в своей ”новой” жизни.

Песни стали занимать в его душе все более определяющее место и к тому же они сразу вызывали бурный восторг у слушателей, хотя поначалу лишь немногие очень умные и дальновидные люди поняли смысл и значение его поэзии. Я понял только в середине шестидесятых.

Какое-то время сохранялось равновесие: Галич продолжал существовать и как ”советский драматург” и как ”антисоветский поэт”. Такое парадоксальное существование не внове на Руси. Оно не могло продолжаться долго, и жизнь сама сделала выбор — театрам и киностудиям запретили с ним сотрудничать. Власть вполне оценила опасность его поэзии.

Я хорошо знаю, что ему было страшно, но он перебарывал страх. Он оказался в положении пророка Ионы, который вопиял к небесам: ”Я не хочу, Господи, но ты толкаешь меня в спину!”

Сашу толкали в спину его песни. Ведь он мог бы, как некоторые иные, написать в "Литературку" несколько покаянных слов — ему бы зачлось и было бы как-то милостиво прощено. Но он категорически не хотел этого, ибо понимал, что этим предаст и зачеркнет свои песни и их смысл. А песни его были для НИХ хуже, чем "Комитет прав человека"! Он ничего ИМ не пропускал и мгновенно бил наотмашь! ("Он спит, а его полпреды варганят "Войну и Мир!" — ведь не только о "начальстве", но и о тех, кто "варганит" так называемое искусство).

Хорошо помню, почему он крестился. Крестил его отец Александр Мень, я был крестным. К этому времени (к 72-му году) он очень укрепился в вере в Господа. В крещении была еще и возможность как можно крепче привязать себя к этой стране и ее народу. Когда принимаешь главное страны — ее Веру, ты, столь страдающий за судьбу народа, свою судьбу соединяешь с народной. К тому же, я уверен, что человек принадлежит к той нации, на языке которой он думает. А ведь мало кто в наше время больше и глубже Галича думал о России.

А как хорош он был в церкви! Он уходил куда-то вверх, это было видно.

Дней десять, предшествующих отъезду, был необычайно возбужден и деятелен. Спал, наверное, 3-4 часа в сутки. Продолжались "прощальные" концерты, собирались и упаковывались одни вещи, раздавались другие. Он успевал еще и помотаться несколько раз на таможню, чтобы что-то у таможенников отспорить и совершенно не был похож на человека, перенесшего несколько инфарктов.

Хорошо помню, что Ньюша, единственная из всех отъезжающих, ходила как потерянная и все повторяла: "Ребята! Ну, мы уезжаем, у нас все будет хорошо! Но вы-то, как вы-то остаетесь?! Что с вами будет?!".

Наверное, даже если я увижу когда-нибудь его могилу, она ни в чем меня не убедит: так и не могу до конца поверить, что он умер...

### *По пути к Тинторетто*

Про "Синкстинскую мадонну" Рафаэля я знал предостаточно: восхищенная статья Гаршина, рассказ о том, что

Достоевский с лупой влезал на стремянку, чтобы разглядеть ее глаза и понять их тайну, потрясения тех, кто видел ее "живьем", многочисленные репродукции. Восторгаться ею было бы даже как-то вульгарно.

Посему я шел на выставленную в Пушкинском музее коллекцию Дрезденской галереи, чтобы увидеть большое собрание полотен Тинторетто, которого очень ценил и мечтал увидеть.

Попасть к Тинторетто было возможно, проскочив через небольшой внутренний зал с несколькими колоннами, что находится на втором этаже, в тылу главной музейной лестницы.

Пробегая через этот зал, повернул голову и увидел ЕЕ.

С повернутой вбок головой я как будто всем телом налетел на стеклянную стену. Ощупывая руками воздух позади себя, начал пятиться и пятился до тех пор, пока не уперся спиной в колонну, прислонился к ней и заплакал. Я не мог оторвать взгляд от ЕЕ лица: не видел ни папу Синкста, ни Христа, ни даже того, что ОНА несет своего сына в мир на заклатие, — только глаза, — я был не в состоянии постичь их тайну и долго не мог остановить слезы. Так прошло минут двадцать.

Огромным усилием заставил себя успокоиться и отойти от НЕЕ.

Наконец я перешел в зал Тинторетто. Его полотна были прекрасны, удивительны, но теперь это была всего лишь великая живопись.

### *Memento mori*

В девять утра мы вышли на берег бухты. Предстояло пройти километров двенадцать. Берег был совершенно пуст, недвижно лежало море, а небо было выкрашено в цвет линялой бирюзы.

Каждый брел сам по себе, и в какой-то момент я остался один.

Начиналась полуденная жара. Сначала я снял майку, потом трусы, обувь и спрятал их под камень — руки стали свободны от ноши.

Я шел по узкой полоске мокрого песка между водой и песчаным пляжем. Иногда по плечи заходил в воду, чтобы

охладиться, потом возвращался на свою мокрую полосу и легкий ветер быстро высушивал капли воды на теле.

Время тянулось бесконечно, блаженно, несказанно. Так, наверное, в раю чувствовал себя Адам до того, как Господь сотворил ему Еву.

На середине бухты набрел на небольшую площадку с несколькими кустиками зелени.

Я почувствовал, что немного притомился, лег на спину под кустик и задремал.

Когда очнулся — перекатился на живот, глянул в сторону моря и замер: на фоне густой морской синьки и небесной бирюзы, на плоском камне вертикально стоял кем-то поставленный на зубы лошадиный череп; песок и солнце ослепительно выбелили его, через пустые глазницы просвечивало небо. Он вовсе не был страшен — наоборот, невероятно красив.

Рука человека поставила его в картину Господнего мира как последний завершающий штрих.

### *Ранняя весна 1970-го*

Воскресный Эчмиадзин сиял.

Вокруг храма степенно гуляла толпа богато разодетых граждан. Говорили о зигзагах истории, геноциде, репатриантах и Бог знает еще о чем.

Я зашел в сумрачный храм.

Шла служба. Несколько крестьянок в черной одежде молились у простого алтаря, да в боковом пределе крестили двух младенцев.

Литургия была строгой — суровый дух первохристианства пребывал в ней. Меня глубоко взволновала молитва "Сурб, сурб" (свят, свят Господь). Она исполнялась в первоизданном виде, было слышно, что к ней не прикасались руки "новых" авторов.

Я вышел из храма, унося в сердце чувство Господа, и толпа за его стенами поразила меня каким-то непереносимым контрастом: она была из другой жизни.

Послышались восклицания: "Католикос! Католикос идет!"

В толпе очень быстро образовался проход от резиденции католикоса к храму. Католикос шел по нему, приветствуя

людей легкими наклонами головы. Когда он оказался в нескольких шагах от места, где я стоял, один из впереди стоящих, русский, вышел на середину прохода и сложил руки, прося благословения.

Я увидел на лице католикоса искреннее удивление. Благословив, он двинулся далее и вошел в храм. Гуляние возобновилось.

Мягко пригревало весеннее солнце. Все выглядели счастливыми и благополучными.

*Господь велел прощать!*

Отец Всеволод Дмитриевич Шпиллер отлучил меня от своего прихода за развод.

Лет через десять регентша его церковного хора захотела исполнить во время литургии мои духовные песнопения.

Я приехал в Вишняковскую церковь в воскресенье к концу службы. Когда отдавал ей ноты, она сказала:

— Вообще-то, Николай Николаевич, репертуар нашего хора утверждает настоятель храма. Как к вам относится отец Всеволод?

— А это вы сейчас увидите.

Я встал в очередь к кресту, а регентша забежала за спину отца Всеволода, чтобы наблюдать.

Последним, приложившись к распятию, я смиренно попросил:

— Благословите, отче!

Ни одна жилка не дрогнула на лице отца Всеволода. Он как будто меня не узнал. Однако ответил:

— Бог благословит!

Регентша выскочила из-за его спины с расширенными от удивления глазами:

— Вот это да-а-а!.. Такого я еще не видела!

Не благословил!!

*Это было счастье...*

В 70-м году отец Александр Мень, в ответ на мою просьбу подсказать тему для сочинения о ранних христианах, предложил мне взять сюжет о пребывании апостола Павла в Риме. Он дал список литературы, которую следовало изу-



чить, и, когда Семен Лунгин начал, по мере написания, выдавать мне готовые сцены из будущей "Мистерии апостола Павла", я немедленно отправлялся в Новую Деревню. После конца службы мы с отцом Александром уединялись и начинали работу с текстом. Это была обычная спокойная работа с духовным руководителем и одновременно редактором: я осмысливал его замечания, старался на месте разрешить возникающие сложности и весь уходил в эту работу — гримыхал Перонов триумф, Павел проповедовал любовь, горел Рим, в дыму и пламени звали друг друга гибнущие люди, жгли христиан, судили и казнили апостола Павла, а потом свергали Нерона.

Что работа эта была обычной, мне только казалось...

В непредсказуемый момент глаза отца Александра загорались великим весельем и он жарко восклицал: "А теперь, Николай Николаевич, помолимся за успех дела!"

Начиналась молитва, к ней отец Александр был готов ежесекундно. Он ни на мгновение не терял связи с Господом. Я бросался догонять его как отставшая лошадь бросается догонять уходящий кавалерийский полк. Потом наши голоса сливались... И это было счастье.

### *Ответ*

Когда Семен Лунгин закончил либретто "Мистерии апостола Павла", отец Александр принял текст и благословил меня на труды. Пора было начинать писать музыку, но я неожиданно столкнулся с проблемой, о которой ранее не мог предположить: надо было решить, на что в этой работе я имею право. Чтобы задача мне самому была понятна, я расшифровал ее примерно так: перед распятиями Грюневальда, который изображал страшное, разлагающееся на кресте тело, или перед "Христом во гробе" Гольбейна невозможно молиться — труп изображен слишком реально. Перед распятиями, изображенными на русских, особенно новгородских иконах, молитва начинается как бы сама собой. Икона лишь знак распятия, она не показывает всей жестокости реальности. Для написания музыки надо было сделать выбор между двумя этими крайностями.

Вопрос несколько раз обсуждался с отцом Александром, но и он не смог помочь мне сделать выбор. Я более ни

о чем не мог думать и из-за нерешенности проблемы все откладывал и откладывал начало работы.

Положение казалось безвыходным.

Однажды утром я проснулся в начале девятого — жена уходила на работу. Я лежал на высоко подоткнутых подушках в состоянии так называемой "полуфазы", еще не очень понимая, на каком свете нахожусь, и спокойно смотрел в сторону окна. Видел люстру, рояль, оконные занавески.

Перед моими глазами, на расстоянии чуть более двух метров, начала постепенно образовываться прозрачная диафрагма из округлых облаков, а в ее середине появился человек лет сорока — сорока двух. Он был виден в облачной диафрагме только до пояса, руки были видны только до локтей и были заметны веревки, которыми его предплечья оказались привязанными к толстому брусу, находившемуся за спиной. На голове был терновый венец, на лбу крупные капли пота и крови. На лице были заметны морщины. Он смотрел мне прямо в глаза. При этом я почувствовал, что стою, а не лежу, и тот, кого я вижу, тоже стоит на земле.

Это не сочеталось со всеми известными мне изображениями распятия. Еще было непонятно, зачем предплечья привязаны к кресту веревками.

Я даже разглядел цвет кожи и капель крови, но все это было прозрачным — сквозь появившееся я видел и окно, и рояль, и люстру.

Тихим глубоким голосом ОН сказал:

— Все было не так, как ты думаешь. Было очень страшно и очень больно...

После этих слов увиденное начало размываться и постепенно исчезло.

Поначалу я не понял, что только что произошло. Мною овладели тревога и страх — а вдруг это пришло ко мне "снизу"? Вдруг это искушение? Наконец, почему мне? Чем я мог заслужить подобное?

И помчался в Новую Деревню — слава Богу, была среда и отец Александр наверняка в этот день служил. Путаюсь от волнения, рассказал ему о происшедшем.

К моему удивлению, он очень повеселел.

— Вы были в полуфазе? Известно, что в этом состоянии человек наиболее доступен для общения с иным миром. Не вы первый, не вы последний!.. Откуда веревки? Да если бы

распинали на одних гвоздях, гвозди прорывали бы мясо и человек падал бы с креста... Почему крест такой низкий? Вы ведь помните, что Господь сам нес свой крест. Коли этот крест был бы таким, каким его изображают в живописи и на иконах, Господь не смог бы его поднять, а не то что нести. Поэтому вам показалось, что он стоит на земле.

Отец Александр подошел к книжной полке, снял с нее большую книгу, раскрыл и протянул мне.

— Похож? — спросил он.

Впервые в жизни я увидел изображение Туринской плащаницы. ОН был узнаваем.

— Похож, только на этом изображении лицо немного более вытянутое.

Отец Александр продолжил:

— Почему вам?.. Неужели вы не понимаете, что получили наконец ответ на вопрос, на который мы с вами почти полгода не могли найти ответа! Вопрос о том, как решать "Мистерию"... Идите и работайте! И помогите вам Господь!

P.S. Я пробую записать это в июне 1991 г.

### *Черт на стреме*

Я вез Феликса Светова в Новую Деревню к отцу Александру. Мы ехали к исповеди.

Я был в каком-то ясном, ровном состоянии и казался себе безгрешным.

Я сказал Феликсу:

— Сегодня плохо представляю себе, в чем каяться. Не могу вспомнить, чем грешил последние две недели!

— Но ведь так не может быть! Что-нибудь обязательно наскребешь...

Ближе к концу пути он спросил меня: что я думаю об одном всемирно известном музыканте как человеке? Я знал эту знаменитость так, как, наверное, мало кто его знал, и не скрыл резко отрицательного к нему отношения, которое выразил даже несколько эмоционально.

— Ну вот! Теперь тебе есть, в чем каяться, — обрадовался Феликс. — Ты судил ближнего!

Исповедаясь, я рассказал отцу Александру, что ехал к нему в безгрешном состоянии и буквально на пороге храма тяжело погрешил словом, осудив музыкальную знаменитость.

Отец Александр тихонько засмеялся и сказал:

— Николай Николаевич! Ну что вам этот музыкант?.. Ну что вы этому музыканту?.. Да плюньте вы на него и не вспоминайте!

И он отпустил меня.

### *Крик о помощи*

Опять полуфаза. Я только-только задремал; задремал после мучений, так как болен и меня истязает кашель.

Почти сразу очень близко от меня возникло лицо покойной Ш. — поразительно прекрасное, теплое, с нежной персиковой кожей, в возрасте, в котором она была в 59-м году, когда я за ней ухаживал, только бесконечно благороднее, мягче, добрее, с огромными лучистыми глазами, и лишь волосы много темнее, чем в жизни. Смотрела характерным для нее взглядом — чуть наклонив голову вперед, чуть из-под бровей, слегка улыбаясь. Взгляд выражал удивительную доброжелательность.

Бесчисленные мгновения длилось молчание и я с наслаждением и жадностью ее рассматривал. Потом стал задавать вопросы, она отвечала. Ее голос звучал, как в жизни, — низко, глубоко, с характерным киевским выговором, но был лишен некоторой гортанности и был бархатистым и восхитительно приятным. После каждой фразы диалога возникала легкая пауза.

Я. Ты ведь оттуда?

ОНА (подчеркивая каждое слово наклоном головы). Да, оттуда...

Я. Как это было?..

ОНА. Ну, сначала существо, которое...

Я (быстро ее перебивая). Нет, нет, я не об этом! Ты видела ЕГО?.. Я спрашиваю не из сомнений, а потому, что очень хочу его видеть...

ОНА. Видела...

Я. Какой он?..

ОНА. Не тот, что все думают... Он есть, скорее, зло...

Ее лицо быстро приблизилось, и я первый ее целую. В считанные мгновения поцелуй становится страстным и затем так же быстро переходит в зверский (ощущение поцелуя было совершенно материальным). Ее лицо быстро теряет

определенность, становится чудовищно, непередаваемо страшным, и я в ужасе отталкиваю ее и все видение.

Очнулся в состоянии глубокого страха, так как не сразу сообразил, от кого она являлась. Было 11 мая 1982 года 0 ч. 30 мин.

После 59-го она ни минуты не занимала моего воображения. Вспоминал о ней только при упоминании в разговорах.

Я сделал эту запись через 2-3 минуты после того, как очнулся. К сожалению, в ней есть какие-то неточности, возникающие, как и при всякой записи по памяти, в момент записывания.

Впрочем было еще многое на "дословарном" уровне, что я просто не в состоянии передать.

После того, как закончил писать и погасил свет, вновь стало жутко — явственно ощущал присутствие кого-то чужого и недоброго.

Только трижды прочитав "Отче наш", смог спокойно заснуть.

Утром я был в Новой Деревне.

— Ей очень плохо, это крик о помощи — ее не принимают, — сказал отец Александр. — Ее отмаливать надо. Явление было вам, потому что вы, в отличие от ее близких, верующий. И вы и она должны как можно скорее заказать Поминания в церкви!

### *Отец Александр*

Впервые я увидел отца Александра Меня на экране. В 65-м режиссер Инна Туманян, с которой я тогда дружил, снимала для фильма М.Калика хроникальные эпизоды. Она сказала, что у нее есть замечательный материал, который я должен обязательно увидеть. Мне показали две заснятые ею проповеди совсем еще молодого отца Александра. Первую проповедь "О любви и браке" отец Александр произносил перед храмом в Тарасовке, а не в Новой Деревне, куда его перевели позже, вторую — "О добре и зле" — в храме. Проповеди потрясли меня, каждое слово было на вес золота, и я сразу попросил Инну меня к нему отвести. С первой встречи я отдал ему свое сердце, и наши отношения, отношения пастыря и пасомого продолжались до дня его трагической гибели. Для меня в знакомстве с отцом Александром был Бо-

жий промысел.

К Господу я пришел благодаря Баху. В 54-м году купил пластинки с записью "Страстей по Матфею" и для того, чтобы понять, как музыка Баха соотносится со словом, вновь открыл Евангелие. Впервые я читал Великую Книгу, когда мне было семнадцать лет. Тогда я отнесся к Новому Завету так, как рекомендует Анатолий Франс: "Корявая арамейская литература, полная противоречий". Так я его, по неразумению, и воспринял. В двадцать четыре года, когда вновь раскрыл Евангелие, чтобы слушать Баха, мне стало ясно, что его музыка соответствует не слову, а ДУХУ слова. Потом, после многих прослушиваний с Евангелием в руках, слово отделилось от музыки, и я начал воспринимать его так, будто оно специально для меня и написано. Моим первым пастырем был отец Николай Голубцов, который, как выяснилось много позже, был первым пастырем отца Александра. Отец Николай умер в конце 60-х, и я стал прихожанином отца Всеволода Шпиллера, но по некоторым личным причинам был вынужден с ним расстаться.

Отец Александр стал моим духовным руководителем в момент, когда я полностью осознал, что все пути для меня закрыты и мне не на что более рассчитывать... Правда, неприятности начались несколько ранее, в 62-м. Какое-то время я держался, надеялся, еще не оценивая серьезности ситуации, в которой оказался. Тратил нервы, пытался пробить стену всеобщего умолчания, образовавшуюся после постановки балета "Ванина Ванини".

К началу 65-го последние надежды рассеялись. Отчаяние стало полным.

И тут мы встретились. Эта встреча спасла меня от многих неприятностей и прежде всего от многих болезненных переживаний. Его духовное руководство, его одобрение очень поддержали и ободрили меня. Он просто поставил меня на ноги, укрепил в вере и настолько, насколько это было возможно, стал наставником в работе.

Он стал играть в моей жизни огромную роль: крестил мою жену, венчал нас, потом крестил наших детей, освятил дом.

Отец Александр был совершенно чарующим человеком, неопишимо обаятельным. Он весь искрился добротой и высоким умом. Бывал очень весел и общителен в застолье — в

его присутствии застолье становилось христианской трапезой. А какая изумительная речь! Ведь он потрясающе говорил по-русски! Быстро и необыкновенно четко формулировал мысли. Что же касается его руководства моей композиторской работой, то она началась с "Мистерии апостола Павла".

Однажды, осенью 69-го, я дождался, когда он освободится после службы, и попросил, чтобы он посоветовал мне взять какой-либо сюжет из раннехристианских времен. Я сказал, что, к сожалению, не могу обратиться к Евангелию, так как с Евангелием уже работал Бах, а там, где прошел Бах, простому смертному делать нечего.

— Николай Николаевич! — почти не задумываясь ответил отец Александр, — есть сюжет, замечательно подходящий для настоящего театра: Апостол Павел в Риме! Подумайте сами: Нерон и нравы императорского Рима, первые столкновения с христианами, большой римский пожар и многое-многое, что вам известно.

Он тут же продиктовал мне список литературы по этой теме.

Затем, когда появились готовые сцены либретто, отец Александр внимательно следил за тем, как продвигается дело, вносил поправки, делал интересные и точные предложения.

Параллельно с "Мистерией" я начал писать оперу "Тиль Уленшпигель". У нас были беседы о протестантах, гезах, о людях и нравах XVI века. И наконец в мой последний хоровой цикл "Восемь духовных песнопений памяти Б.Пастернака" я ввел, по совету отца Александра, два текста из Ветхого Завета, которые связали цикл с сегодняшним днем и определили его глубинный смысл.

Он был человеком моего поколения, однако его можно с уверенностью отнести к плеяде блистательных представителей великой российской интеллигенции, которые умели воспринимать бытие во всем его многообразии. У них у всех была общая черта: они любили жизнь и получали радость от всех ее сопряжений. Отец Александр один из очень немногих известных мне людей, кто был равен им и веселостью нрава, и гигантской эрудицией, и синкретическими возможностями. Вместе с тем он постоянно ощущал свою внутреннюю связь с Господом, и ему не нужно было делать усилие,

чтобы перейти из обычного бытового состояния в молитву.

У него была своя особая, уникальная миссия. Он служил Господу в одичавшей стране, которую даже и языческой не назовешь. Быть может, св.Владимиру, крестившему Русь, было легче — он имел дело с язычниками, которые хоть во что-то верили и имели свои представления о нравственности.

Отец Александр служил и проповедовал среди нашего общего озлобления и отчаяния не одно десятилетие. Он крестил, наверное, тысячи людей. В том была его апостольская миссия.

И он совершал свой пастырский подвиг в тяжких условиях — Иерархия была им недовольна. Его постоянно вызывали, дергали.

Он был упреком для тех, кто занимался обрядовирием.

Христианство по сути своей всегда должно быть активным, экстравертным. Христианина Господь всегда, как пророка Иону, толкает в спину. Так вот, их Господь в спину не толкал, поэтому отец Александр был им помехой, его деятельность раздражала.

Его при первой же возможности переводили с места на место, куда подальше, старались нейтрализовать. Его часто упрекали за экуменизм.

Подумать только! Во всех храмах всех христианских церквей мира ежедневно, в каждой литургии произносятся специальные молитвы "о воссоединении". Во всем мире проводятся экуменические собрания, съезды. Есть специальные летние лагеря, где живут и общаются люди различных христианских конфессий.

У нас нет ничего!

Отец Александр был единственным, кто последовательно и серьезно занимался проповедью воссоединения. Иерархия, в особенности ее правое крыло, никак не могла с этим примириться. "Крещенных Менем перекрещивать надо!" — кричал мне однажды один из таких священников (после гибели о. Александра я видел его выступление на телевидении — он славил убиенного на все лады). Его обвиняли в том, что он "продался католикам" или "жидовствующим". Как будто Христос у нас не один! Как будто основа веры у



всех христиан не одина!

Еще они, конечно, не могли ему простить того, что он был крещеным евреем.

Отец Александр рассказывал мне, что у него были объяснения с КГБ: эти боялись, как бы он не открыл потихоньку церковную школу, не начал обучать и духовно просвещать молодежь. Вот старушки, с ними и должно заниматься, а молодежь трогать нельзя! Это давление длилось долгие годы, но остановить отца было невозможно. А ведь он никогда не занимался политикой. Занимался только верой и приводил людей к Господу.

Отец Александр был необычайно добрым человеком, однако во время общей исповеди, перечисляя наши грехи, он становился грозным как библейский пророк.

Думаю, что он кому-то очень мешал еще и потому, что нес на себе судьбы сотен и, может быть, тысяч людей. Мне известны многие из тех, кого он вытащил из бездны отчаяния.

В его доме всегда бывали молодые прихожане, хотя и старушек хватало. К последним он относился с английским терпением. Есть люди, которые без совета священника куска хлеба преломить не могут. Со многими этими мелочами к нему шли сотни, и для всех он находил время и доброе слово. А ведь он еще успевал писать книги. Мне кажется, при его жизни было издано за границей книг восемь или девять, и осталось еще несколько книг в рукописях. Чтобы писать, он использовал каждую свободную секунду. Он писал в перерывах в службе, в электричке.

Я пришел к нему со смятением: как жить, как соединить написанное в Евангелии с реальной жизнью, в чем находить опору? Отец Александр был терпелив, и он умел прощать.

После его строгого внушения всегда становилось радостно. Между нами возникла духовная связь, которая длилась четверть века.

”Блажен, кто верует, тепло ему на свете!” — в этих словах заключена лишь часть истины. В те времена, придя к вере, вы обязательно вступали в противоречие с общественным строем, установленным в 17-м году. Сама возможность какого-либо компромисса с властью начинала вызывать чрезвычайную брезгливость. Это крайне затрудняло

пробывание в социуме. Чтобы выжить, надо было найти себе некую экологическую нишу. Я перестал бывать в Союзе композиторов и появился в нем только в 88-м году, после двадцатипятилетнего отсутствия. Меня, естественно, к этому времени совершенно забыли. Не было композитора Каретникова, был только кинокомпозитор. Однако некоторые сочинения мне удалось тайно записать на радио благодаря моему другу, который очень рисковал, делая эти записи.

К сожалению, я смог показать отцу Александру лишь немногие из своих сочинений. У него всегда было очень мало времени, и я не решался часто отрывать его от дел. Кроме того, в домике около церкви не было инструмента. Иногда я привозил кассетник, и он слушал музыку в записи. Он любил и прекрасно разбирался не только в духовной, но и в светской музыке. Он был одарен и музыкально, и артистически, поэтому служба у него была эмоциональной, особенно на Страстной неделе: его покаяние было трагично.

Отец Александр выслушал за свою жизнь много исповедей, случалось и так, что он сам немного открывался. Но, честно говоря, мы, его прихожане, относились к нему потребительски. Мы вели себя эгоистично. Но, вместе с тем... Теперь, когда иногда говорят, что отец Александр был одиноким человеком, я этому не верю: если ты живешь с Господом — ты не одинок.

Еще при жизни отца Александра стремительно поднялся интерес к вере. Ходить в храм стало модным. Я спросил его, что он думает по этому поводу. Он ответил, что относится к этому процессу спокойно и ничего дурного в нем не видит. Отец часто повторял: "Гони Бога в дверь, он в окно влетит". Конечно, спекуляции возможны повсюду, и на религии тоже.

Не важно, как человек приходит к Богу, главное — он начинает слышать голос. Как говорил отец Александр, далее произойдет естественный отбор: то, что не истинно, отпадет.

В стихотворении Галича "Когда я вернусь" есть такие строки:

Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом,  
Где с куполом синим не властно соперничать небо,  
И ладана запах, как запах приютского хлеба,  
Ударит в меня и заплещется в сердце моем...

Это о голубом своде церкви, где служил отец Александр.

Я много рассказывал Галичу об отце Александре, и когда Саша захотел креститься, предупредил отца, что мы приедем. Галич принял крещение в маленьком домике священника при церкви. Мы были втроем. Отец очень полюбил его и всегда смотрел на него с глубокой нежностью.

Возвратятся еще многие.

Гибель отца Александра была чудовищным ударом. Сознание того, что его больше нет, невыносимо. У нас дома несколько дней стоял плач. Потеря его так же тяжка для русской духовности, как для русской свободы тяжка потеря А.Д.Сахарова.

После гибели отца со мной и со многими его прихожанами начали происходить удивительные вещи: у многих как-то очень наладились дела. Хорошо сказала одна из его духовных дочерей: "Пока он был с нами на земле, ему некогда было заниматься делами каждого из нас. Слишком многие тянули. А сейчас, когда он ТАМ, он просит Господа о каждом".

Я чувствую его присутствие в моей жизни.

Страшно сказать, но смерть логически завершила его жизнь. Есть глубокая закономерность в том, что человек такой просветленности и веры, каким был отец Александр, окончил жизнь как мученик, как апостол.

Сегодня, когда видишь то, что происходит в нашей несчастной стране, которая убивает своих пастырей, порой начинаешь думать, что мы в безвыходном положении и что надеяться не на кого, — но на это мы не имеем права. Господь судил отчаяние и уныние как тяжкие грехи и завещал нам свет надежды.

Нашу страну, я думаю, может спасти только вера. Мы ее потеряли, ее необходимо вернуть и утвердить — отец Александр положил за это свою жизнь. Для возрождения народа нет иного пути. Мне, по крайней мере, другой путь неизвестен.

Верю, что истинные понятия еще вернут себе свой смысл — для этого Святой Равноапостольный Великомученик Александре сделал более, чем это доступно человеческим силам.

## БЕЛАЯ НОЧЬ

Когда Немой заговорил,  
Глухой не речь расслышал — шорох;  
а шорох, вспыхнув, будто порох,  
Слепому очи отворил.

Немой?! Ломая окоем  
сведенных губ, в надрыве, в муке  
рождались видимые звуки,  
от века запертые в Нем.

Глухой?! Неужто был Он глух?  
Еще не веря в данность слуха,  
к губам Немого оба уха —  
о, господи, как мало двух! —

попеременно подносил;  
а этот... этот — бледный! зрячий! —  
свет ослепительный, горячий  
у глаз ладонями гасил.

И Некто, проплывавший над,  
подумал: "Ну, теперь задышат —  
увидят все и все услышат...  
особенно — поговорят..."

## ВЗГЛЯД

Осень. Запах чистогана,  
ананасов и "Клима".  
Под рекламы и экраны  
навсегда укрылась тьма.

Лишь в одном окошке тусклый  
воспалительный процесс:  
может, там не спит искусство  
иль еще какой прогресс?

Нет, в окошке — папа с мамой  
пьют бургундское вино.

Мальчик в джинсовой пижаме  
смотрит весело в окно.

Мальчик смотрит за окошко  
на соседский небоскреб,  
что вместим не понарошку  
в мамин личный гардероб...

Так проходят дни и годы —  
мальчик смотрит за окно,  
где свободные народы  
не довольны все равно;

где за дождевою ряской,  
за огнями — в тыщи миль  
неминуемая сказка,  
именуемая — "быль" ...

...Чей-то взгляд на самолете  
перепрыгнет океан  
и окажется в оплоте  
самых справедливых стран.

Он тотчас упрется в злую  
осень. В ней растет зима.  
Завалясь на боковую,  
спят усталые дома.

Лишь в одном окошке тусклый  
воспалительный процесс —  
может, там не спит искусство  
иль еще какой прогресс?

Нет, в окошке — папа, мама,  
телевизор, домино;  
сын — член общества "Динамо" —  
чутко смотрит за окно.

Мальчик смотрит на дома, на  
перешетные кресты,  
и глаза, как два кармана, —  
и огромны, и пусты...

Так проходят дни и годы —  
мальчик смотрит за окно,  
где свободные народы  
спят и видят — заодно;

где за грязною замазкой —  
как ее ни три, ни муть! —  
именуемая "сказкой"  
неминуемая быль...

## МЕЖДУ

Слева — те, чье темно оконце.  
Справа — те, кто оплатит солнце.  
Слева — те, у кого труды.  
Справа — те, у кого пруды.  
Слева — сотня на миллиарды.  
Справа — те, чьи умы — ломбарды.  
Слева — те, кто в уздечках граф.  
Справа — те, кто правее прав.  
Справа — те, кто и в заточенье  
пьет вино и жует печенье.  
Слева — пушкинский друг калмык,  
доедающий свой язык.  
Справа — кто по словесным сходням  
из вчера переполз в сегодня.  
Слева — кто, хоть в глазу слеза,  
все равно голосует "за".  
Справа — тот, кто струится к власти,  
говоря, что не в этом счастье.  
Слева — в тертый одет деним  
тот, кто, в общем, согласен с ним.  
Справа — вор, созидатель краха.  
Слева — те, кто с тоски и страха  
болтовней набивает рот,  
кто глаза зашпавляет в лед.  
Справа — тот, кто хохочет "бросьте!",  
наступая на чьи-то кости.  
Слева — полная чаша боли.  
А меж них — Куликово поле...

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Актер, играющий вождя,  
не расплывя время праздну,  
с утра читал газету "Правда",  
по строчкам грифелем водил.

Его движения резки.  
Прищур точь-в-точь как был когда-то.  
Щуршат взволнованно листы,  
а в уголке — другая дата.

Апофеоз и торжество —  
вождь крепко спит об эту пору,  
ему не надо ничего,  
но нужно многое актеру.

И подчиняясь ремеслу,  
переполняясь новым знаньем,  
актер не верит ни числу,  
ни ордену перед названьем.

А карандашик на полях  
выводит быстро "Nota bene".  
Мелькнет усмешка на губах.  
Он не сыграет так на сцене.

Большое бледное чело  
и грифель острый, как заноза.  
Пойди узнай, против чего  
он молча ставит знак вопроса...

2

Еще горит юпитер,  
еще во мраке зал,

еще великий критик  
ни слова не сказал,

еще бледнеют лица,  
и холодна ладонь  
как рыба, что стремится  
на фосфорный огонь,

еще партер и рампу,  
румяна от белил,  
еще от жизни драму  
никто не отделил,

еще война и смута,  
и занавеса нет,  
еще одна минута  
и вспыхнет  
верхний свет.



река без берегов — море  
море без берегов — океан  
океан без берегов — космос  
космос без берегов — ребенок  
купающийся в реке



брошенный камень  
рикошетом к тебе же вернется  
стоит ли за ним  
нагибаться



синие сливы  
на белой столешнице  
красные листья  
на подоконнике



груда слив похожая издали  
на кисть  
                  темного  
                                  винограда  
а в глазах пчелы отражаются соты  
и сама пчела —  
капля меда  
застывшая на стекле.



Ложе любви выносят на улицу  
и прислоняют к стенке мебельного фургона.

Овальный обеденный стол,  
когда-то за ним  
(подумать только, в полном составе !)  
собиралась семья.  
— Раз-два, взяли, —  
заталкивают в машину.

Старое зеркало, как копилка,  
бережет твои отражения.  
Под его серебристой копиркой  
спрессованы детские снимки,  
любительские юношеские фото  
и строгие карточки без уголка.

Теперь оно отражает угол балкона,  
распахнутые двери подъезда,  
любопытство на лицах двух-трех прохожих:  
кто-то переезжает?

Розовый период окончен.  
Старый дом уже разрушен,  
а новый еще предстоит создать.  
Не забудь  
попрощаться.

●  
Позвонила. Спросила десятку.  
А на завтра, глядишь, умерла,  
ту десятку, как малую взятку,  
для кого-то с собой увела.

Вспоминали: бродила у дома,  
изучала, прищурясь, подробно,  
чтоб запомнить уже навсегда.

В райсобесе одежда белее  
недоступных альпийских вершин,  
как же мерить она их посмеет  
на привычный короткий аршин?

”Ах, оставьте земные повадки, —  
скажут ей в этой горней стране, —  
нам не надобно мятой десятки,  
здесь другая валюта в цене.

Впрочем, если душа не созрела,  
не готова прозреть и предстать,  
вот вам новое, юное тело,  
и ступайте, живите опять.”

.....

Из соседей никто не заметит  
сходства внешне несхожих натур,  
но в вечернем, но в утреннем свете —  
изучающий, цепкий прищур.

### ПОСЛЕДНИЙ ОЧЕВИДЕЦ

Фантомная боль приходит ночами.  
Старик садится в смятой постели.  
Фантомная боль стоит за плечами.  
Она проходит любые стены.

Под ней не гнутся пустые стебли,  
и пыль по следу ее не вьется,  
она проходит любые стены  
с холодным взором канатоходца.

”Здравствуй, последний мой очевидец,  
мой соучастник и сотоварищ,  
ты будешь нем и себя не выдашь,  
ты даже спяну не разболтаешь.

К тем, кто служил мне верой и правдой,  
кто был моею козырной картой,  
я возвращаюсь верной сиделкой  
с кружкой больничной, с постельной грелкой.

Так что, живи, старик, не тушуйся,  
знай поливай цветочные клумбы,  
твои мертвецы уже не укусят,  
они давно потеряли зубы”.

Боль раскрутится вхолостую  
и исчезнет с рассветным часом.  
Все отрезано подчистую,  
да вот не зарастает мясом.

**РАПОПОРТ Александр** – родился в 1960 году в Одессе. С 1987 года живет в Москве. По профессии инженер-строитель, занимается реставрацией зданий – памятников архитектуры. Печатался в Туле в местных газетах и издательстве.

## ФОРС МАЖОР

Как-то вдруг появились люди с речами бизнесменов и заговорили энергично: "ноу хау", "бартерная сделка", "ассоциация делового сотрудничества лучше, чем внешне-экономическая просто"... Допытываются: "А кто несет расходы за форсмажорные обстоятельства?"

Форс мажор — это когда молния врежет по вашему уже посланному партнеру грузу, смерч его вознесет, земля поглотит, непредсказуемое начальство руку наложит или еще другое что случится — по Божьей ли воле или еще по какой. Вы не виноваты, партнер тоже и даже "ноу хау" — ничуть. А убытки налицо. И бизнесмены поднимают глаза к небу, не зная, что просто земная ось повернулась на градус, и в Великом космическом году Платона закончился один день — 72 года.

Тревожно в природе, тревожно на душе. И нервно выпархивают министерские бумаги: вслед одной, призывающей открывать ассоциации, две других, тайных, ставящих на этом крест.

Форсмажорные обстоятельства.

Обстоятельства непреодолимой силы.

Что может слабый человек?

Но это так. Я о другом. Потому что в такое вот время мои родные — сестра Таисия с мужем Валентином задумали отремонтировать квартиру.

К этому шли долго — жизнь. Когда-то давно они были юны и нечего им было ремонтировать. Квартирка мамы в Тосно, куда они сбежали с простуженным годовалым сыном от пыльной комсомольско-молодежной неустроенности автограда на Волге, не в счет — тесна и не своя. Но зато с этой квартирки, вырванной перед пенсией за взятку больной мамой, началось их натужное движение к Москве, а после и в каменных недрах ее: за пятнадцать лет одиннадцать обменов и переездов. Некоторые коробки не распаковывали. Например, коробку со старинными изразцами — их

добыл Валентин из печи первой, еще ленинградской, коммуналки, и возил, не выбрасывал. Ведь обещал когда-то невесте: "В квартире у нас будет фонтан и камин".

Со временем, ослабев в затхлости общих коридоров, от фонтана отказались. Но камин будет, видел — уже растет, и изразцы, массивные, дореволюционные, тяжело нависают в стене, что кажется, вот-вот опрокинут зыбкую трехкомнатную секцию-квартиру, а за ней и весь чертановский панельный дом, и район, и другие наскоро сотворенные жилмассивы, а следом — все остальное, что в горячке починов напридумано-натворено за годы и годы на наших великих просторах.

А квартира в Чертанове — последняя. Хватит. Так решили Таисия и Валентин.

Обмен был тринадцатикратным. Когда сестре хочется повеселиться, она объясняет мне схему обмена:

— Это просто, Лешенька. Следи. Теща майора поехала в однокомнатную в Тушино, майор с семьей — в нашу коммуналку. Антонина из Люберец — на Речной вокзал, Клавдия Петровна из Мытищ — на Юго-Запад... Нам пришлось разделить. Мы с Валентином поехали...

Я начинал хватать воздух ртом и ломался на третьем звене. Сестра улыбалась:

— А когда мы все сошлись за ордерами — весь коридор заполнили... Человек двадцать. Тетки с Банного вцепились: кто вы такая? Как вам удалось? У нас такого не было...

Сестра закончила школу с медалью, была блестящим математиком, учителя говорили о ее хорошем будущем...

Она оправдала надежды: тринадцатикратный обмен. Изящный и точный, как формула. Правда, пришлось уволиться с работы и после полежать месяц в больнице — обострилась язва: старик, которого уломали переехать на Каланчевку, помер за день до получения ордеров — сляжешь тут. Найди-ка новое звено!

Нашла. Полежала.

Но к чему это все?

Чем не жизнь в Тосно?

Еще в начале карьеры Валентина поманили в столицу. Заметили в главке — умно поучаствовал в переговорах с инофирмой, по-английски понимает, а когда улыбается, на Джона Кеннеди похож. Но главное, что бартер и ноу хау мой

шурин понимал уже тогда. Способен был, стремился к делу.

Ему сказали: место будет, через год-другой ездить по свету начнешь — подучишься и посмотрят там, где не торопятся, — не затесался ли какой есаул-ротмистр в твою родословную. А с жильем без нас решай. Бумагу подпишем, но меняйся сам, царапайся, если хочешь.

На деньги, истраченные на обмены, на выезд из пригорода и коммуналок, полагаю, они могли бы давно дом построить. Но это где-то...

В бюро ремонта моих родичей поставили на очередь: ждите, вот освободится паркетчик. На стройке шурин нашел каменщика-штукатура, обласкал его привозными дарами (за границу ездил), обещающе постоял в прогибе, и великий мастер явился через неделю и начал ковыряться в стене.

Ремонту предшествовали две смерти. Зимой умерла мама, а летом — мать Валентина, 86-летняя Дора Степановна. При них и думать о ремонте нельзя было. Старые наши измученные матери, они все успевали в срок...

Теперь часть комнаты с комодами Доры Степановны можно было кладкой забрать под кабинет, а в маминной комнате сломать стену, где стояла ее последняя кровать, приладить тут дверь-гармошку спецконструкции: открыл — зал с двумя хрустальными люстрами, задвинул — обособленный холл с креслами у камина.

Пора бы и фотообои с березами, привезенные из Швейцарии десять лет назад, в дело пустить, и разные сантехнические мелочи. К тому же какие-то деньги завелись: зарплата та же, но зато временами удавалось Валентину, похрустев во Франкфурте-на-Майне сухарями, купить по дешевке двухкассетную радиоерунду громкой марки и продать ее мяснику, который из-за патриотизма никуда не ездил, но танцевать на даче с завсекцией салона для новобрачных под томную музыку любил...

Спустя полгода грянул телефонный звонок: идет паркетчик!

Переговоры с австрийцами отошли на зданий план. Едва успели условиться, кто платит за форсмажорные обстоятельства, как шурин, расталкивая элегантных партнеров, ринулся к выходу.

Дома пятилетний Степан, второй и поздний ребенок

(первый был в армии), с сухими глазами собирал привычный узелок.

— Тут лаком-бьяком запахнет. Я в санаторию...

Он так говорил: "в санаторию", и собирался туда в третий раз. Первый срок он отбыл, когда квартиру крушил разогревшийся каменщик-штукатур. Не управился мастер за двадцать четыре дня, и Степа, чихая в пыли, потоптался по руинам, и согласился уехать в Овражки снова.

Путевки давали. Сестра брала их со слезами. А Степан говорил:

— Вы уж тут грязнить скорей кончайте. И розетки со светлячками поставьте. Я тогда приеду...

Родителей к детям в санаторий не допускали. По субботам Тая и Валентин приезжали на электричке и подсматривали через штaketник, как гуляли дети. Сын вдруг поворачивал к ним строгое лицо, и они приседали за забором, всхлипывая почти по-стариковски. Потом, сжав в груди печаль, сгибая ишиатические спины, рвали заграничную одежду под вагонами мазутного товарняка и снова плакали: по субботам товарняк замирал тут всегда.

Словом, Таисия увезла сына, и еще через день появился паркетчик Юра. Ему было за тридцать. Под ухом — шрам, как росчерк кометы, беспористая кожа на руке сияла пугающим гляncем.

Юра походил по квартире, пропел сипловато:

В тумане звезд уходит самолет  
Обратно на приписную базу...

Спросил:

— Сколько нам выделяют из семейного бюджета?

— Мы заплатили. Квитанция...

— Молитесь-плодитесь, врачуйте-кочуйте, кормите-копите, но не кричите и жить не учите, — Юра улыбнулся без улыбки.

— Что вы, да разве я кричу? — испугался Валентин. — Двести рублей сверху.

— Триста! А нас сюда солдатский долг зовет, десант в Кунар заброшен по приказу...

— Кунар — это где? — поинтересовалась сестра.

— Афган. Торгуется. Заелись вы...

— Хорошо — триста. Сегодня бы и начать. А то мне в командировку скоро, — Валентин уветливо приобнял паркет-

чика, подталкивая его к штабелям нового паркета.

– Сегодня нет. День какой?

– Среда. Втор...

– Годовщина, как ограниченный контингент советских войск, верных интернациональному долгу, вошел в Афганистан. Я ребят жду. Посидеть надо... Это что за красивые бутылки у вас? Дали бы. Взаимы...

С двумя бутылками дорогого заграничного коньяка Юра ушел до завтра, но появился только на четвертый день.

– Ну, начали. Что, у меня рабочей гордости что ль нету?.. Десант в Кунар заброшен...

Юра ощупал и вьедчиво осмотрел новые паркетные дощечки. Одни ему нравились, другие не очень, – эти он брезгливо отбрасывал и вытирал ладонь жомканым платком.

– Ладно, берусь. Все ж буковый... В пятнадцатом доме отказался. Дрянь паркетишко... Полдевятого ждите завтра...

Он не опоздал, и работа пошла – несуетная, с грубоватококетливым шиком. Точно, почти без подрезки уложил оргалит, начал сбивать паркет, выстраивая в центре, как раз под люстрой, кривоватую звезду. Через день-другой включил циклевочную машину. Но лак московский забраковал – требовался ленинградский. И такой лак был доставлен из города на Неве: тамошние родственники Валентина, давно с опасливой гордостью наблюдавшие его кочковатый путь в столицу, разбились в лепешку и добыли пять банок; после чего питерский кузен, доктор технических наук, оформил срочную командировку в главк и привез груз, правда, сильно помяв банки о перрон Ленинградского вокзала: поезд заспешил в тупик, и кузен-профессор одышливо выбрасывал банки и прыгал на них как придется...

Сытные обеды для Юры – были за сестрой. Валентин уходил на работу, сестра становилась к плите, Юра мастерил в комнатах.

В четверг Тая не успела сварить первое, извинялась, но Юра простил и взял два вторых.

Обеды длились с ресторанной неторопливостью. Юра сидел на месте Валентина, охватив руками, куском хлеба с пробойной икрой, тарелкой, ложками-вилками, медленным своим говором, считай, весь стол. Он ронял слова тяжелыми ядрами в болото нашей застойной жизни. По-рабочему говорил, как, впрочем, никогда, ни при какой погоде прежде



рабочие не говорили, но учились и научились по книгам и киновершинам соцреализма — вот так надо: ”весомо, грубо, зримо” чтоб и чтобы обязательно мудро и глубинно: не зря же во всех газетах дают призывы соединиться. А соединяться следует передовым людям, чтобы сделать что-нибудь передовое...

— Баки нам забивают: ноу хау, бартерная сделка, — жевал Юра котлеты, приготовленные золотой медалисткой Таисией. — Колбасу нашу продают. Страну растаскиваю.

— Колбасу? — елеино торопилась удивляться сестра.

— Интеллигенция власть захватила, и — говорят, говорят... Тут бы по-рабочему, по-простому звездануть и — порядок навести!.. Я тоже валюту зарабатывать хочу. Вот буду брать с вас валютой...

Но напрасно кузен-профессор катал банки по перрону. Привезенный им лак не высыхал — ни через день, ни через три.

Юра приходил теперь только к обеду — ел, пробовал пол, жаловался: ”Повело меня, надышался у вас”, — и исчезал. Звонила его начальница прораб Тузова, и сестра складно врала ей, что Юра при деле и только-только выбежал за сигаретами.

— Развоз какой-то этот ваш Юрка! Может, другого прислать? — спрашивала Тузова, но сестра знала: это провокация, и Юра — один паркетчик на Москву и область. Она помнила: сын Степан живет без родителей третий срок в Овражках.

С тридцатью рублями, взятыми у Валентина на лак, Юра опять пропал. Откуда-то позвонил: ”Буду через час”, — и попросил отвезти передачу его дочери в больницу.

— Курагу бери с рынка. Кооповскую не кушает она...

Сестра поехала на Москворецкий рынок.

Появился Юра через три дня, с лаком.

— Ударил из ”зеленки” автомат, и кровь струей по синему берегу... — сказал он, и тут позвонила прораб Тузова. Юра слушал, слушал ее с тускнеющим лицом и — заплакал.

Валентин обнял его за плечи, сестра гладила по спине с надписью ”Минмонтажспецстрой”. Слезы растекались из Юриных глаз веером, и одна слезинка дрожала на шраме под ухом. Из опрокинутой банки подбирался к дорогому ковру лак, но это никого не интересовало. Юра отверг стакан с ва-

лерьянкой: "Водка есть? Сухое? Давай!" Выпил огромную чашку махом, в два булька влил остальное, глотнул и замер:

— Чего дала? Нет, чем поишь?! Попробуй, попробуй сама! На-на! — совал он под нос ошалелой сестре чашку. — Без пробки стояло? Да разве... Совести нет совсем!..

Валентин сказал в сторону недостроенного камина: "Обстоятельства непреодолимой силы", — и стал смывать растекающийся лак, а заплаканный Юра устроился на его кухонном стуле.

— У меня нервы ни к черту... Всего двое нас осталось из группы — я да Петька Чумахон... Не знаете, что это — забить караван... Они "Стингеры", "Блоупайпы" на "Самургах" везут — караван. Мы шесть караванов забили, а на седьмом... Лекарство анаприлин для тещи надо. Достаньте... Ладно, работаем.

Но работать он не стал. Не смог почему-то.

— Там жара, плюс сорок пять, воздух "вертушку" не держит — разрежение... А знаем, что караван будет, идет уже, идет!.. Еле поднялись...

Юра вскочил, пошел к закутку-кабинету.

— Нет, сколько лет дому? Хотел прямо сейчас паркет в кабинете класть, и — не могу!

— Почему? — враз спросили Таисия и Валентин.

— Оргалит не положишь — бетон сырой...

— Но такой же был в комнатах, — Валентин улетал в Америку, ждал с минуты на минуту машину и нервничал заметнее.

— Едешь и едь, — Юра упал на бетон и пополз в угол. — Вот, вот — сухой? — он искал коварную сырость ладонями, носом, ухом, щекой. — И ты ложись, проверь, да ложись же! — он потянул к себе сестру, и сестра рухнула и поползла на круглых немолодых коленках, морщась, по сухому колкому бетону и Юра успевал все — и влажность пола проверить, и округлость ее бедра.

И Валентин пополз — в наглаженных для Америки брюках, собирая пыль мягким вязаным галстуком, покрывавая:

— Отчего с тех самых пор нас терзает форс мажор? И кто подготовит отчет? И кто оплатит?..

— Жизнь дорожает, потому что не является предметом

первой необходимости, слышал? — Юра сел на корточках. — Опять меня повело... Говняного вашего профессорского лака надыхался...

Юра встал, его пошатывало:

— Бой идет только десять минут. Караванная охрана не должна и пальнуть успеть... Один раз успели, суки...

— Ничего, Юра, ничего...

— Я на заводе уже не смог работать. Воздуху мало. Только где ненормированный день могу... Клиент лучше, чем начальник... А я много знаю: осколки от эрэсов идут в ту же сторону, откуда снаряды прилетели, неизвестные барханы лучше прощупать очередями, один подполковник стоит пятьсот тысяч афганей, десяток автоматов — миллион...

— А я, лейтенант запаса, сколько? — уже в дверях спросил Валентин.

— Сто тысяч, немного... Я умею... А здесь — зачем? Я ведь возвращался туда, прапорщиком был. Еще бы поехал, да кончилось все...

Юра ушел. И снова надолго — переживал, наверное, мучился. Сестра Таисия боялась выйти за хлебом, а вдруг появится; даже в Овражки к Степану не поехала...

И все же сестра с мужем кое-что сделали и немного помогли Юре и его семье. Таисия составила цепочку обмена, и Юра съехался с тещей в огромную квартиру окнами в парк. Тая поднатаскала по математике дочь Юры, и девочка поступила в техникум. Валентин привез Юре аудиоплеер, а жене его — косметику. И по мелочи — лекарства, кроссовки, сувенир "хохочущий болван", бошевские автосвечи для свояка в Солигаличе, душистый чай с добавками, авторучки с плавающими внутри кораблями на фоне заграничных городов...

Если надо будет, еще помогут. Жаль Юру. И с желудком, кажется, у него что-то неладно или с легкими. Готовить нужно из свежих продуктов.

А ремонт продолжается.

Уже приехал из Овражков пятилетний Степан и снова говорит:

— В санаторию вернусь. Там хоть гуляешь по часам и уши выкручивают, но чисто, — и смотрит на взрослых сухими глазами.

## ДЕТАЛЬНОЕ

### ЛЕТАТЕЛЬНОЕ

Послушай, mon amour!  
Купи мне вертолет!  
Хотя отбреешься едва ль  
пропеллером над миром,  
где только и любви —  
что дождь за ворот льет,  
и крошится кирпич,  
и ходу не дает,  
и все это, похоже,  
пахнет скипидаром...

Где вот она и НОЧЬ.  
А УЛИЦА ФОНАРЬ  
под глаз определит —  
и вот она, АПТЕКА.  
И светишься, как сыч.  
И если не кирпич,  
то кто его писал  
или, по крайности, чей спич  
на севере строфы,  
в квадрате имярека...

И ждешь. И смотришь вверх.  
И темечко горит.  
Купи мне вертолет!  
А то я заболею!  
Ну а не можно это —  
так еще чего-нибудь.  
Оно, однако, mon amour,  
которое бодрит.  
Где дождь идет в четверг,  
там надо день убить,  
улечься на кровать  
и ворошить бывшее.  
И все это любить.

## ПРО СЫР

Вороне где-то Бог послал кусочек сыра.  
Та делает шары. Что именно. Что ей.  
Кладет его в карман. И выбирает ель.  
Но там уже сидят. И сплевывают сыто.

Вороне все равно. — Кто именно сидит.  
(У ней в кармане сыр!) — А хоть бы даже это —  
Он Самый, Мэтр, Иван Андреевич, сердит.  
С револьвером в руке. На рубеже сюжета.

Он в этом деле ас. А только и у нас —  
вороне где-то Бог... С которым Божьим даром  
она идет домой. И зажигает газ.  
Заваривает чай. И кашляет пунктиром.

Лисицы не видать. — Она съедает сыр.  
Он в горле не застрял. Она его протерла.  
Зашторила окно. Скосилась на часы.  
И — каркнула.  
Как след.  
Во все воронье горло.

## ОДА УЛИЦЕ

О Улица! ты моль.  
Ты крылья в порошок  
стираешь о шаги.  
О Улица! ты прачка.  
Ты в лужице весной  
разводишь порошок,  
единственный наряд  
об это же испачкав.

Он пенится шутя.  
Он розов и хорош.  
Однако на глазах  
сминаясь и чернея.  
Ты ж — малое дитя.  
Ты дурочку найдешь,  
ухватишь за подол  
и бегаешь за нею.

О Улица! тымышь.  
Ты за полночь хамишь.  
(С облаткою, с тоской...)  
Стремаешься? — какое!  
Ты даже не спешишь.  
Но ты не разрешишь  
поймать тебя строкой,  
тем более — рукою.

О Улица! ты плеть.  
Тебя не одолеть.  
Кто по тебе бежал —  
поймет, что это значит.  
А значит это то,  
что дурочке — болеть.  
А хахалю — слинять  
к помладше, не иначе.

А дурочке — лежать.  
И то на животе.  
Считая до пяти.  
Собьет ее со счета  
волнение. Она  
прикроется рукой  
и выглянет в окно.  
Вникая — это что там.  
А там — одна вода.  
И улица в воде.  
И улица течет  
и кажется рекой.

Она напишет так:  
ты, Улица, река.  
И, Улица, ты сеть.  
Ты можешь в ней висеть,  
в ее среде вполне  
навидимая рыбе,  
понятная вполне  
вокруг ее рывка,  
невзрачная, но не-  
минуемая гибель.

Ты, Улица, петля.  
И мне в тебе висеть.

### ЕЩЕ ПРО УЛИЦУ

Улица, улица! все-то ты тянешься!  
все-то ты стелешься, все-то ты кружишься!  
Только с тобою, видать, не подружишься:  
ты-то одна никогда не останешься.

Вон они, дети твои желторотые:  
где деловые, по моде одетые,  
где подшафе, где и покруче поддатые,  
и бородатые, и безбородые.

Улица, улица! все-то ты маешься!  
все-то ты ширишься, все-то ты строишься!  
гнешься под ношею, а не ломаешься!  
Не убежишь от тебя, не укроешься!

Да и полажать-то тебя не отважишься:  
словишь на слове — потом не отбрешься...  
И все-то ты колешься, все-то ты режешься!  
И все-то ты гредишься, все-то ты кажешься!

Выведи, улица! полноте пятиться!  
Дай повидаться, а то они встретятся!  
Рот у ней розовый... он на ней женится!  
Выведи, улица! — Улица ленится.

Может, и попусту. Правильно. Умница.  
Может, и зря это. Может, и к лучшему...  
Ну а разобраться — и сводится к случаю.  
Улица, улица! все-то ты улица!

### НАСЧЕТ МЕТРО

Очередная передряга.  
Метро. Подземная дорога.  
Гробница дня. Его недуга  
двойное дно. Его нутро.

То, где, чем обоюдней тяга  
в горизонталь его итога,  
тем нам трудней найти друг друга,  
такое месиво. Метро.

Увы и ах! — такое дело  
внутри него, такая сила,  
что можно даже в центре зала,  
нос к носу, с радостью сказать:  
мы там не встретимся, Отелло!  
мы там не встретимся премило!  
мы там не встретимся нимало! —  
и это все. И — завязать.

Я так и делаю в итоге.  
Я руки в брюки буги-вуги,  
а ноги — в руки, ибо ноги  
поди иначе у н е с и!  
И это все. (Читай — Montana).  
Народ и партия едины.  
И — никакого моветона.  
И даже более — мерсі.

Я выношу свои останки.  
И, вся в индустриальной дымке,  
на волоске, на валерьянке,  
и ни жива, и ни мертва,  
с невинным видом анонимки,  
и тут же рядом — интриганки  
смыкает мир в овале рамки  
вокруг меня

моя  
Москва.

И мне за творческие муки —  
весьма немного в этом звуке  
(переводя на гонорары).  
Зато какие милиционеры!..



## ВАРИАЦИЯ

Москва! Как много в этом звуке —  
от той рулады на болоте  
об эту пору проливную,  
когда куда-нибудь идешь!  
Ты ежели дядя — руки в брюки —  
и дуй в ближайшую пивную.  
Ну а ежели ты в натуре тетя —  
оно особенно балдеж.

У нас, как водится, укладка.  
А чуть пониже — акварелька.  
И на соплях одно название.  
И во-от такое декольте.  
Еще учитывая то, что  
сему имеется опорой  
одна-единственная шпилька.  
А больше, право, ничего.

Москва! Как много в этом звуке  
шершеляфам таким макарон,  
об эту пору проливную,  
под колпаком у ноября,  
где героические крали  
себе по талии сыграли..  
Скажи-ка, дядя, ведь недаром?..  
Скажи-ка, дядя, ведь не зря?..

ЯБЛОНСКАЯ Ольга Евгеньевна (лит. псевдоним — Ольга Иванова) — родилась в 1965 году в Москве, где и проживает. Студентка Литературного института им. Горького. Публикуется в периодической печати. Собственного сборника стихов не имеет.

## КНЯЗЬ

Он давно уже ничего не понимал. С тех самых пор, как стал самостоятельно мыслить. А самостоятельно мыслить он начал рано. Тогда ему, наверное, не было еще и пяти лет. Точно, точно, пяти тогда еще не исполнилось. Потому что, когда все это произошло, его сестренка лежала в коляске, а он ее старше был на три с половиной года.

Вот с тех пор и начал он постигать то, что открылось лишь сегодня, когда перевалило ему уже далеко за тридцать, когда сам он уже отец двоих детей. Правда, не самый лучший отец, не самый заботливый отец, не самый нежный отец. Но так получилось... И это его беда. Знает он точно только одно — он перед ними честен.

Так вот, с тех самых давних пор и началось это утомительное, изнурительно-мучительное, безумно-унизительное, и, наверное, в чем-то даже нелепое постижение правды жизни, ЕГО правды жизни. Вот тогда-то начались поиски истины. Конечно же, сначала они были бессознательными, интуитивными. Но постепенно приобретали сознательное выражение и наконец трансформировались в безумно-навязчивые идеи, которые время от времени меняли свои внешние очертания, но по сути своей оставались первопричинными.

Павел помнит, очень хорошо сейчас помнит холодные заунывно-длинные зимние вечера, которые коротал он с бабушкой у печки-буржуйки, закутавшись в старую материнскую лисью шубу. Сестренка спала. А он, успокаиваемый милой любящей бабушкой, обостренным слухом ловил каждый шорох в подъезде. На каждое хлопанье парадной дверью срывался с табурета, выныривал из тяжелой шубы и бежал в прихожую. Разочарованный, еще более подавленный и расстроенный возвращался к бабушке и вновь задавал ей свой извечный, мучивший его вопрос:

— Бабуля, а мама придет?

— Придет, внучек, придет, Павлуша. Ты же знаешь, мама сегодня уехала в министерство с отчетом. Предупредила же тебя, что будет поздно. Ну, что ты так волнуешься? Шел бы ты спать, мой милый.

Но о каком сне могла идти речь? Пойти спать, не дождавшись мамы, — этого он сделать не мог. И он продолжал мучительно прислушиваться к звукам в подъезде. А спустя некоторое время снова тревожно спрашивал:

— Бабушка, ну когда же придет мамочка?

Потом он начинал более нетерпеливо требовать ответа, нервно вышагивать по коридору туда и обратно. Бабушка, видя мучения внука, успокаивала его, сама нервничала, накалялась. И когда наконец-то раздавался такой долгожданный звонок в дверь и домой возвращалась мать, в доме возникала ссора, доводившая всех до слез. Постепенно все успокаивалось, а через какое-то время повторялось все сначала.

Да, несмотря на то, что прошло с тех пор много лет, Павел отчетливо помнит, как мучился он в ожидании любимой, единственной, такой непостижимо-родной и трепетно-нежной матери. Нет, это было не просто ожидание матери — это было тревожное ожидание той счастливой минуты, когда он увидит перед собой ее глаза, пристально посмотрит в них и поймет, что она верна ему, своему сыну, и так будет всегда. И в ту самую минуту муки адавы оставят его, и он вздохнет легко и свободно. И скинет с себя непомерно тяжелый груз ожидания. И не то, чтобы он не верил своей матери, нет! Он верил, когда смотрел в ее глаза. Но когда их не было перед ним, им овладевала тревога, испуг. Он опять оказывался во власти этой боязни. О, как боялся он потерять ее! Он боялся, что мать может попасть под поезд; он боялся, что на нее нападут хулиганы. Он боялся, что ее полюбит мужчина... Или, что еще ужаснее — она полюбит! О, ужас! Он даже мыслей об этом боялся. Постепенно эта боязнь превратилась в вечный патологический страх. Превращение это было постепенным. И вот это-то перерождение простой боязни в вечный мучительный страх и было началом — началом осознанного постижения истины. О, это чувство — чувство страха присутствовало в нем с тех пор всегда. Оно давило, принижало, унижало его здоровое полноценное даровитое начало. Оно, это чувство, разрасталось с невероятной, космической быстротой. И чувствовал это он, и боялся этой неотвратимости своим нутром. Она, эта неотвратимость, вызывала в нем панические настроения.

Да, он боялся потерять мать. Но когда же началась эта мука? Не родился же он с крестом этим божьим на свет?! Где было начало? А началось все это с той промозглой ноябрьской стужи, которая ворвалась к ним в дом неожиданно в тот момент, когда ушел отец. Павел просто физически помнил ту стужу. Она мгновенно обожгла холодом все его нутро. Острые иголки быстро-быстро пробежали по его телу. В глазах затуманилось и прояснилось только тогда, когда за отцом закрылась дверь. Как часто подкрадывалась к нему эта стужа потом! И всегда невзначай! И не только в холодные осенние вечера, но и в жаркие летние дни. Истерзанное тревогой сердце мгновенно сжималось, по телу опять пробегали иглы и взор туманился, туманился, туманился...

Тогда, когда произошло это, он еще ничего не понимал. Он лишь недоумевал. Горестно недоумевал. И ему так хотелось плакать! Громко, навзрыд, с всхлипыванием, надрывом, до судорожных содроганий во всем еще неокрепшем детском тельце. И все это он себе тогда ясно представлял — как заплачет сначала тихо, потом все сильнее и сильнее и побежит неведомо куда. Но он не мог себе этого позволить. Он был мужчина — так говорила мать. Он знал, что ей будет за него стыдно, если это произойдет. И он держался, изо всех сил своих детских держался. И... не плакал. О, как это было неверно! Боже, зачем ты дал ему силы не плакать? Зачем? Он душил в себе естественную человеческую потребность — выплакать горе свое, освободиться от терзаемых мук, душу свою облегчить горячими слезами. Зачем он не плакал?! Зачем? Какое просветление сошло бы на него, зарыдай он долгими горячими слезами! Какое бы успокоение ощутил он после этого! Но Павлушка молчал. Закусывал губенки в кровь и терпеливо, взращивая в себе страх, молчал. Он и сейчас вспоминает это очень отчетливо. Помнит все свои прежние состояния и переживания. Осознает нелепость своей вечной боязни за мать, успокаивается и тотчас же его пронзает чувство, пронзает все его существо, каждую его клеточку — чувство того, что нет прошлого! Нет?! Для кого-то, может быть, и есть, а для него нет! У него прошлое — всегда его настоящее! Его прошлое каким-то чудодейственным образом переплавилось в его настоящее. Не улетучилось оно, не кануло в минувшие лета, не растворилось в небытие, а осталось навеки с ним, напастью осталось в нем на

всю его оставшуюся жизнь. И опять, и опять его обуревают страстное желание понять, найти что-то очень важное, постичь еще непонятное, дойти до понимания главного, определить же, наконец, кто есть кто.

С годами болезненная любовь к матери отливала в различные формы выражения. Он не переносил, когда она говорила с мужчинами. Как по-звериному, дико ревновал он ее к ним! Нет, не понять человеку никогда того, чего сам не испытывал он никогда! Не понять! Да и не дай-то Бог испытать это кому! Боль, жгучая острая боль мучила и терзала его постоянно. Она забирала в плен все его существо, путала мысли, заставляла бежать вслед за матерью, умолять вернуться домой, вставать перед ней на колени и, осыпая ее душистые мягкие руки нежными поцелуями, вымаливать прощение за непослушание и обещание никогда его не бросать. "Мамочка, — шептал он, — дорогая, родная, любимая моя мамочка! Ведь нам не надо, нам никого больше не надо! Не выходи, пожалуйста, замуж никогда! Умоляю тебя! Я всегда буду любить и защищать тебя. Всегда! Ты слышишь? Всегда!" И были объятия, клятвы и обещания. И мать оставалась верна этим клятвам. Красивая, умная, нежная, — она оставалась верна своему сыну. И... наступало успокоение. И, казалось, теперь уж все ясно. Навсегда! Но потом опять повторялось то же! И не было исцеления! Уже не могло его быть! О, если бы он не удержался и заплакал тогда! Если бы только заплакал... Открыто, свободно, от души... Но он тогда так и не заплакал. И теперь не было выхода. Не было! Был только жгучий стыд — рядом, по тем же улицам ходил его отец. Его и не его. Впрочем, ходил он очень редко. У него была служебная, персональная машина. Директору завода полагается персональная машина. Так вот, он ездил на этой машине, вернее его возил личный шофер (личный шофер тоже полагается директору завода), по тем же самым улицам, по которым он ходил в школу. Вот в чем был весь ужас! Его и не его отец жил в том же городе. И Павлик никак не мог тогда понять своим детским сознанием, зачем, почему отец так мучает его. Он очень старался понять это, но ему понять тогда это было не дано. Павлик недоумевал: "У папы — машина. Почему он не уедет в другой город? Так было бы лучше". Он не мог объяснить почему, но чувствовал, что так было бы лучше. Павлик не знал тогда, что отец не прос-

то от них ушел, а нашел себе новую жену — дочь первого секретаря горкома партии. И смена места жительства не предусмотрена при этом его жизненными планами. Здесь, в этом маленьком провинциальном городишке, его ждет блестящее будущее.

А Павлик был мальчик хороший. Удивительно хороший был мальчик. Опрятный, воспитанный, умный, нежный. Учителя любили его, одноклассники уважали. Но беда в том была, что уж больно чутким он рос, чувствительным. Обижают кошку — он на помощь бросается, малыш споткнулся — и к нему бежит... Только вот себе помочь он не мог. Не умел. Не знал, как выручить себя из беды. И помочь никто не спешил. Идет по улице Павлушка, а за ним — взрослые. Идут, судачат о чем-то. А мальчику чудится, что о нем говорят, о его горе-беде беседуют, судьбу его обсуждают. Кажется, нет ли? Трудно сказать. Да, было, было, конечно же, было! Ведь все и все на виду в маленьком городишке, все все знают, и не важно это! Было ли, не было ли, судачили или нет! Важно то, что трепетало это бедное сердечко, выпрыгнуть пыталось из детской груди, разорваться хотело на кусочки. Уж больно не по силам ноша ему эта тяжелая досталась. И как ни хотел сбросить он с себя этот груз — ничего не получалось! Давил он на его слабые плечи, к земле пригибал, на печаль настраивал. И невдомек ему, мальчишке, было, что истина — штука коварная. Не понимал он тогда, что не они с матерью плохи, а что дедушка, отец матери, судьбу их, сам не ведая того, поломал. Не тем оказался, кем желательно было быть для успеха и продвижения отца. Раскулачили когда-то дедушку, бабушкиного мужа. Сослали. И след-то этот не только на всей бабушкиной жизни остался, но и по внучатам мазанул. Бабушка, та так и осталась до скончания века своего горемычного для злых языков "раскулаченной француженкой" — французский в гимназии до революции преподавала. А отцу Павлушкиному совсем-то не на руку было это. Нет, конечно же, открыто в этом он не признавался. Нет! Об этом мама с бабушкой только догадывались. А Павлушка-то об этом и вовсе тогда не знал — не рассказывала бабушка ему. А знать ему хотелось многое. И откуда бабушка родом и откуда отец... Не по годам интересы его были. Да еще недосказанность возбуждала...

Много старых альбомов перерыл он позже, много писем интересных после смерти бабушки перечитал. Бабушкину родословную изучил до третьего колена. Много ясным стало из ее жизни. А вот отец по-прежнему оставался загадкой. Кто, откуда, зачем??? Мать, конечно, рассказывала, когда Павел задавал ей эти вопросы. Сдержанно, скупо, но рассказывала: родился в Омской области в многодетной трудовой крестьянской семье. И о живописных предгорьях Алтайского края, где, будто бы, прошли детские и юношеские годы отца, тоже рассказывала. Конечно же, со слов отца. Сама там никогда не была и никого из его родственников не знала. Работал Шахов Антон Григорьевич, отец его, будто бы там на маслобойном заводе рабочим, потом мастером, а позже и его директором стал. Проработал там недолго. Решил поближе к столице перебраться. Как знающему опытному руководителю поручили возглавить самый отстающий в районе завод. Вывел в передовые. И тут уж совсем его зауважали. Писать в газетах стали о нем. В общем, прославился.

Да вот только как-то очень уж назойливо, навязчиво о своем рабоче-крестьянском происхождении в этих статьях поведывал. Да и странно получалось: многодетная семья — а ни братьев, ни сестер! И пальцы — такие тонкие, длинные и нежные...

Это было лишь началом — началом большого и трудного пути, ведущего к истине. Лишь началом...

Десять, бесконечно-мучительных десять лет прошло в постоянной, космически недостижимой тоске по свободе. Да-да, по свободе! Он мечтал вырваться из этого проклятого города, где все все знали, где его жалели. Где его замечали... Ему всегда хотелось скрыться, убежать из этого прекрасного города с прозрачно-зелено-голубым лесом за рекой... Он наивно полагал, что, оказавшись где-то, освободится из плена навязчивого страха и мучительных поисков истины. Ему казалось, что, покинув этот город, все забудется, уйдет в прошлое. Он перестанет испытывать позор и унижение, страдание и тоску. Он не будет больше ловить невзначай на себе злорадно-любопытствующие взгляды окружающих, ясно говорящие: "так и надо вам! уж больно чистенькие, интеллигентные!" Не все, конечно же, не все взгляды были такими! Но запоминались именно эти.

Он здорово повзрослел. Вытянулся. И ростом, и сознанием. И был уже не в начале того пути... Много, перемучившись, понял. Понял он уже и то, что сталинская мясорубка сработала базотказно — интеллигенции практически не осталось. Она растворилась, сгинула, ушла... Было у нее, оказывается, два пути, только два пути: один туда... Оказавшихся там называли изменниками, предателями, буржуями недорезанными... Другой — в лагеря. За то, что остались. За их глупость и за их... интеллигентность. Третьего не было дано. Так во всяком случае казалось Павлу в пятнадцать лет...

Ну, вот наконец долгие мучительные годы тревог и унижений, прожитые на одной улице с тем, кто был отцом, с тем, кто предал, остались в маленьком родном провинциальном городке. И казалось бы — вот оно, долгожданное освобождение! О, если бы... Если бы было все так просто и ясно! Если бы с их переездом в другой город наступило возрождение! Наивно! Конечно же, наивно было надеяться на это. Не могли пройти бесследно те годы. Да и прошли ли они? Для кого-то, возможно, — да, все осталось в прошлом. Для него — нет! Эти десять лет были уже прожиты, но прожиты — физически. Духовно же они тянулись для него и сейчас — тяжелой нескончаемой чередой дум и мыслей. И тут-то ему открылась страшная перспектива — всегда, везде он будет придавлен этим непомерно тяжелым грузом десяти страшных лет. Сознание этого томило и медленно уничтожало. Да-да, теперь уже тихо, незаметно, без внутренних рыданий и всхлипываний, уничтожало... Нет, не хотелось сейчас ни плакать, ни рыдать. Хотелось только одного — понять. Но желание это было страшным — оно преследовало, подавляя все другие желания, угнетая другие мысли и чувства. Это было желание болезненное. Да, хотелось понять. Что? Человеческую природу, причинно-следственный аппарат ее духовности.

Как-то раз мать перебирала старые вещи. Бабушкины платья, книги, альбомы... Все это лежало в старом, пропахшем нафталином кожаном чемодане. Достала со дна что-то большое и тяжелое. Это "что-то" было завернуто в мягкий пожелтевший от времени белый пуховый платок. Мать бережно положила сверток на стол и отогнула концы платка. Богоматерь полоснула Павла нежно-укоризненным взгля-



дом. Он долго смотрел на потускневшие краски святого лика, внимательно и изучающе. Он вспоминал...

Давным-давно, да, это было уже давным-давно — тогда, когда он еще не познал все краски света, — эта икона висела в углу их маленькой спальни. Перед ней светилась лампадка и пахло кадиловым маслом. Но потом иконка исчезла — отец запретил выставлять ее. Тогда он говорил, что в семье партийного руководителя не должно быть верующих. И еще очень-преочень странное слово говорил при этом. Наверное, это было слово "дискредитирует". Да, вот именно. Так он тогда и говорил!

Сейчас Павлу лик Богоматери казался очень знакомым и даже... родным. Он напоминал бабушку. И то, как она после запрета отца доставала эту икону только лишь по большим религиозным праздникам. Доставала украдкой, когда отца не было дома. Доставала из старомодного огромного серого сундука и поспешно прятала ее туда же, когда раздавался звонок в дверь. Павел вспомнил последнюю статью об отце. Там опять-таки выпячивалось то, что председатель городского Совета народных депутатов (а отец его уже третий год как был председателем) выходец из многодетной рабоче-крестьянской семьи. Рассказывалось о его больших трудовых заслугах, его заботах, о том, как много он делает для своего города — развернул грандиозное строительство: дороги, парки, промышленные предприятия... Себя он считает "слугой народа". В том видит весь смысл своей жизни. Построены роскошные коттеджи. Правда, насколько было известно Павлу, предназначались они вовсе не для народа, а для влиятельных особ района. А вот о том, что до сих пор умалчивается вопрос о строительстве очистительных сооружений на нефтеперерабатывающем заводе, в статье вовсе не говорилось. И о хроническом заболевании населения, вызываемом выбросами фенола, тоже не говорилось. Но главное, что сейчас вспомнил Павел, было то, что местный писатель — автор статьи рассказывал о восстановлении и реставрации одной из церквей разрушенного в годы террора и застоя Никоновского женского монастыря. Этот факт он провозглашал несомненной заслугой товарища Шахова, председателя горсовета, отвечающего не только помыслами, но и делами, — в статье подчеркивалось, — "реальными делами отвечающего духу времени, духу перестройки".

Вроде бы все ясно. А что еще нужно! Так ли уж это важно, кто они откуда? Ведь не раз уже рассказывала ему мать... И к чему этот пытливо-исследовательский настрой души, к чему смятение и мука? Все равно не докопаться до корней, не познать истины. Нет конца этому пути. Да и что такое истина? Не мираж ли, не призрак ли влечет нас к ней, к этой бездуховной нереальной конкретике?! Все вроде бы аргументировано, все здраво разложено по полочкам в этом вопросе — вопросе поиска истины. Есть желание — но нет смысла. Значит надо забыть и отказаться. Но... будто нечистая сила за руку ухватила и тащит, и тащит, и тащит... за собой.

Они по-прежнему были вместе — мать и сын. Сестра давно вышла замуж и уехала. Им было нелегко. Иногда — очень тяжело. Он давно стал взрослым мужчиной, во многом изменился. Но болезненная любовь к матери осталась. Правда, она уже была другой, нежели прежде, — более грубой и менее жалостливой.

В нем появились новые пугающие странности и изломы. Вспыхивал по пустякам и надолго замыкался в себе. Писал стихи, наивно полагая, что если бы были они достойны того, то давно бы были уже опубликованы, — не раз отсылал в толстые журналы. Хвалили все — но никто не печатал. Уверился в своей заурядности. Когда не мог не писать — писал и забрасывал по разным углам, забывая о них навсегда. Нигде не работал. Сначала мать заставляла, сердилась, потом смирилась. Подолгу лежал в больнице. Кололи — много, безжалостно. Становилось легче. Отпускали навязчивые идеи. А они были самые разные. Например, доказать матери и окружающим (сам уверен был в этом давно!) свою способность мысленно управлять сознанием и поступками людей. Такие мысли надолго забирали в плен. Наталкивали на нелепые встречи и поступки. И он опять попадал туда... Иногда забирали силой. Иногда шел сам, чувствуя, что теряет над собой контроль и лишается воли. Возвращался домой успокоенный и присмиривший. На год — на два затмение рассеивалось, наступало просветление. Стал рисовать. Сначала карандашом, потом пастелью. Получалось. И — неплохо. Особенно — портрет. Время от времени, когда уже нельзя было увильнуть в сторону, продолжал писать стихи. Много читал. Иногда до него доходили слухи об успехах отца. Мэр города

процветал. Теперь уже о нем писали не только местные газеты, но иногда и центральные. Он завел дружбу с писателями — благо в его районе был дачный писательский поселок. Его любили, его уважали, его ценили. И даже... преклонялись. Может быть, не всегда искренне. Скорее всего, не всегда искренне... Его единственную в городе служебную черную "Волгу" провожали восторженно — подобострастные взгляды горожан до тех пор, пока она не исчезала за очередным поворотом. Его дети — мальчик и девочка — учились в музыкальной школе, окружены были особым вниманием и лаской учителей.

Они были ЕГО детьми, детьми председателя городского совета товарища Шахова.

Все это знал Павел. Как-то незримо созерцал со стороны счастливую жизнь своего отца. Завидовал? Нет, не завидовал. Ни отцу, ни его маленьким детям. Злился на него? За то, что не учился в музыкальной школе, за то, что не его встречали заискивающие улыбки учителей? Нет, не злился. Просто хотел понять. Очень хотел понять ЕГО, своего отца. Кто же он есть? Не по своему социально-должностному положению в обществе! Нет, упаси Боже! С этим было все давно ясно.

Хотелось, ох, как жутко хотелось познать его природу, его духовное естество. Чем определялось оно и кем, все-таки кем же было заложено оно?

И вот как гром среди ясного дня, как щедрая награда за страдания души и тела — пожелтевшая от времени брошюрка в пятнадцать страниц, затерявшаяся в одном из томов первой советской энциклопедии, неизвестно когда и где приобретенной, — "Журнал повседневной всяким случаям и обстоятельствам".

"Георгию Шаховскому от князя Хвощинского".

Вот так случай, вот так обстоятельство! Будто нож в сердце вонзили! Ничего, ровным счетом ничего еще не было понятно! Но интуиция подсказывала, что в надписи этой кроется что-то очень значительное, что-то очень важное... Да нет, не просто важное... А тайна, открытие, вот что кроется в надписи этой. В этих пяти словах было что-то до жути знакомое, завораживающее. Ну, вот только что? И откуда этот княжеский душок? Откуда взяться-то ему в его рабоче-крестьянском происхождении? Откуда? И вообще, что все

это значит? Кому адресована эта тоненькая брошюрка с наивно-сентиментальными случаями из жизни русских князей? Как оказалась она среди старых потрепанных временем томов? И кому же, кому адресована?

Георгий! Отца зовут Антон Григорьевич! Странно, что эти имена так созвучны — Георгий и Григорий! Странно! А впрочем, опять на него нахлынуло это наваждение, эта обостренная интуитивная реакция на незначительные совпадения. Какая-то чепуха! И все-таки, и все-таки, и все-таки... Павел схватился за виски и зашагал по комнате. Шаховский! А они — Шаховы! Случайное совпадение? Опять его вечная подозрительность дает себя знать. Опять он изнуряет себя какими-то поисками, какими-то беспочвенными догадками. Боится что-то потерять или страшится что-то найти?... Мысли путались, и кружились, водили беспорядочные хороводы друг с другом... А что если... Ну, а вот это уже не укладывалось в условленно-допустимые границы разумного. За этим наступало безумие. И все-таки он желал, страстно желал закончить эту новую конкретно сформировавшуюся мысль до конца. За ней, — о, это было невероятно, но это было так очевидно теперь, — скрывалась истина. Вот она какая — истина, ЕГО истина. Единственно верная и безумно-неправдоподобная! Князь Хвоцинский! Теперь ему было ясно — это имя он уже слышал когда-то. Оно запечатлелось в его сознании давно, очень давно, может быть, тогда, когда и на свет он еще не родился! Нет-нет, оно ни о чем ему не говорило. Оно просто существовало в недрах его потаенного сознания. С ним было связано нечто... Но само по себе оно не представляло никакого интереса. Но чем же было это "нечто"?

Этого он понять сейчас еще не мог. Да и вряд ли ему удалось бы понять это когда-либо. Впрочем, это и не было главным. Главным было то, что в этих потертых временем пяти словах долгие годы таилась его родословная.

Ну, вот и все. Наконец-то, он переступил недозволенную грань.

Он сделал первый шаг к пропасти. И шаг этот оказался легким, радостным. Ведь он — этот шаг — был смыслом его жизни, его существования. Перед ним стояла трудная, неразрешимая задача. Только случай помог ему решить ее. И он — вознагражден! Вознагражден за муки и страдания, ко-

торые пришлось ему испытать. Он сделал открытие — открытие для него очень значимое. Теперь он понял, что помимо двух общеизвестных судеб русской интеллигенции была еще и третья судьба. Первая была страшна, вторая — чудовишна, ну а третья — непростительно бесчестна. Третья была судьбой его отца, Антона Георгиевича Шаховского! Но она была счастливой, победной! Счастливой?! Победной?! Нет, это была не победа! Это было полное и позорное поражение. Не его личное — Антона Шахова! Это было поражением Антона Шаховского! Это было поражением всего его рода-племени — Шаховских! На тех, кто избрал путь за границу, клеветали и злобствовали. Потом — простили. На тех, кто оказался в лагерях, клеветали и жалели. А тех, кто выбрал третий путь — путь его отца, забыли. Их не стало, они сгинули, перестали существовать. Да-да! Они перестали быть самими собой, переоблачились в чужие одежды и натянули удобные маски — кому какая больше подошла! Это были уже не они! Они учились мужицким повадкам, хлесткой площадной ругани и стали неузнаваемы. Ха-ха-ха! Глупые, подлые, мелкие душонки! Они уверовали в свою победу! Над кем? Над собой!

Павел громко, по-бесовски рассмеялся и страстно поцеловал истертые пылью и временем теперь едва различимые, до странности малознакомые буквенные обозначения. В этот миг он подумал о том, что лет через пять временная неотвратимость сделала бы свое дело и эти буквы вовсе нельзя было бы сложить в слова. Он снова приблизился губами к буквенным знакам и блаженно улыбнулся: "Вот она — моя истина! Вот она — моя правда! Я знал ее всегда! Я чувствовал! Теперь я нашел доказательство своей правде! Вот оно — в моих руках! С этой минуты нет Павла Шахова! Нет! Есть Павел Шаховской! И он не позволит, вы слышите, слуги двух господ! Он не позволит вам стереть с лица земли свою родословную. Не позволит этого сделать! Слышите, вы!.."

Павел выбежал полуодетым в морозные сумерки и пронзительно, захлебываясь радостью и обжигающим гортань студеным порывистым ветром, закричал:

— Я князь Шаховской! Вы слышите?! Я князь Шаховской!..

А наутро его обмороженного нашли в телефонной будке.

## СОЛО ДЛЯ СУЕТЫ

●  
Это всего лишь гравюра на черном камне,  
Где изувечены ретушью правила трещин —  
Вещи в себе разумеют штрихи,

и пока мне  
Кажется вечностью то, что намечено резце.

Дом не забыт, но, как совесть, заброшен и брошен  
На произвол матерей или женщин любимых...  
Капли дождя фонари долго надвое множат.  
Поезд привычки спешит и проносится мимо

Всех остановок — вокзалов и маленьких станций,  
Где бы сойти и остаться.

Но время торопит —  
Движешься дальше по рельсам, как в медленном танце.  
Полночь звучит и часы боем пасмурным топят,

Будто нездешним.

От выси, с висока-высока,  
Из непонятного, то, что ночами пугает.  
Вскинешься. Кликнешь... Кого там? Ни Черта ни Бога.  
...Только рассвет после каждой зари умирает.

●  
Я не умер, а просто вымер,  
Вымер, как вымирают окна.  
Даже имя мое — не имя.  
Страх из звуков, пустая догма.

Я не сеятель и не вечный,  
И не ведаю, чем гордиться...  
День пронесся, как поезд встречный,  
Ну а вечером — что случится?

Ничего... Только звезды будут.  
Будет горечь травы польни...  
— Где искать своего Иуду? —  
Мне земля на заре остынет...

●  
Это что-то от Бунина, что-то от темных аллей,  
За которыми ночь притаилась и ждет с топором,  
Как убийца — уже не могущий терять прохиндей,  
Осенивший себя бесполезным, ненужным крестом...

●  
Колесованный вечным транспортом,  
Четвертованный перекрестками,  
Город вновь воскресенье празднует —  
Город вновь одинок под звездами.  
В полночье просторном улицы  
Соберутся на старой площади,  
Не гадая, о том, что сбудется,  
Одинаково непохожие...

●  
Стынет чай на столе,  
свет погашен в квартире —  
облака над дорогой...

●  
Над городом дождь,  
в глазах тишина,  
в лице — отраженье улыбки.

●  
*... и отрешенно дунул...*

М.Беловская

Глубокий вздох непрочен и невечен,  
И Человечий сын расчеловечен...  
В глухой тоске, в распаде на три части  
Теряется великое причастье  
К земной судьбе, что в тишине творится,  
За перекрестком, где мелькают лица  
Ста тысяч вер, ста тысяч откровений,  
Но в суете не выявить мгновений  
Былых времен, в которых ложь и честность  
Перемешались, канув в неизвестность, —  
Мы из нее возрастем чертополохом  
На горьком поле, созданном из вдоха...

## Т Е О

Он вздрогнул и обернулся.

Никого.

*(Всем святым заклинаю, именем сына твоего, сделавшего здесь свой первый вздох, помоги...)*

...и его имя. Одно из многих. То, где слышится протяжный свист ветра, от которого вздрагивают земные ущелья.

Но это не был ветер с его фальшивым надрывом, голос был человеческий. Женский.

Женщина? Здесь?

Хотя...

Это случилось восемь лет назад. У них были куртки на меху и по три пары рукавиц, но это их не спасло. Особенно досталось той, в желтых ботинках. Она переминалась с ноги на ногу, и фотографировавший несколько раз недовольно выкрикнул ее имя: Юнко. Вот ведь застряло, а имя другой, что не так давно священнодействовала здесь же, зарывая в снег тряпичную куколку, это имя не удерживалось в памяти, как не сумела удержаться она сама во время спуска. Ее тело погребли на Южном седле: навалили кособокую пирамиду из камней — они торопились вниз; стоит ли их осуждать? — даже орел остерегается забираться так высоко.

*(...не то я не знаю, что с собой сделаю!)*

И тогда

(неплотно прикрытая дверь нитка света скрюченная фигура на земляном полу завернувшийся подол дмотканого платья нога с венозной жилкой слабый запах дрожжевого теста)

он увидел ту, которая звала его, звала, застыв в этой странной позе. Казалось, она ползла к дверям, когда последние силы оставили ее.

— Где ты? — вырвалось у Тео. Слова его насмешливо передразнило эхо.

Сердце сжалось. Последняя вылазка отняла у него столько сил, что от одной мысли о новых скитаниях стало не по себе. Из какой запредельной дали донеслась эта мольба? Тридцать дней изнурительного перехода? Год? Никогда нельзя было сказать наверняка. В прошлый раз он натер такие



мозоли, что хироподист в Салониках потребовал двойную плату. На обратном пути он приобрел у крестьянки тибетские катанки, да только надолго ли их хватит. А что если голос был из бездны времен? De profundis. Что если —  
*(Если ты есть, не оставь рабу твою!)*

Тео плотнее закутался в одеяло из свалявшейся верблюжьей шерсти, но озноб не проходил. Он уже знал, что высший приговор произнесен, и приговор этот неотменим, ибо нет судьи выше него самого, а все же медлил, — так медлит смертный заглянуть в свинцовые воды Леты. Окрест теснились вершины, ловя своими зазубренными выступами кольца проплывающих облаков. Тео мог часами следить за этой охотой. Она напоминала ему игру в сорсо, некогда увиденную там, внизу. Но сейчас взгляд его равнодушно скользнул по снежным гребням и остановился на едва различимой точке у самой подошвы горы. Монастырь Ронгбук. Тень улыбки пробежала по его лицу. Вместо гонга буддисты подвесили на веревке пустой кислородный баллон, брошенный первой английской экспедицией, и с тех пор жители близлежащих деревень всегда знают, когда монахи расходятся по своим кельям.

*(Ом мани падмэ хум...)*

Он закрыл глаза и задержал дыхание. Благоговейная тишина установилась вокруг. Истаяли облака, как мыльная пена, явив прозрачность эфира. Полилось голубоватое свечение. С медленным выдохом с губ его слетело короткое упругое слово и со звоном рассыпалось.

Вот и все. К чему лукавить, ты ведь ждал предлога, чтобы сойти вниз и окончательно, раз и навсегда, убедиться, как вскружила им головы эта сладкая отравка — свобода, ты же, сознайся, для того и выдумал весь этот маскарад, с ними ведь иначе нельзя — если они, как было сказано, созданы по твоему образу и подобию, будь добр, живи в образе, сохраняй подобие, — да, ты был готов к своему выходу, только не знал, к о г д а выйдешь, на какую реплику, этого даже тебе не дано знать, ибо в начале было Слово, и Слово это утвердило естественный ход вещей, и быть посему.

Тео начал спускаться.

Отстучал деревянный молоток в двери и ставни домов. Отрубил шофар — длинный изогнутый рог. И пришел нако-

нец день, которого они так долго ждали.

День сотворения Адама из глины.

День отпущения Иосифа из темницы.

День, когда Моисей исторг у фараона согласие вывести свой народ из египетского плена.

Мать поставила на стол халу в виде лестницы, по которой сегодня их молитвы поднимутся вверх и дойдут, быть может, до слуха создателя. В этот раз непременно дойдут, ведь уходящий год выдался такой тяжелый, — тяжелее, кажется, и не бывает. Месяц назад скончалась его мать, встретив смерть как освобождение для себя и близких. Не переставая болела младшая дочь. Мало того, пали три овцы; поговаривали об эпидемии.

Смутное время, н о ч н о е. Так ведь и жизнь не с ночи ли зарождалась? "И был вечер, и было утро: день первый". Жди, стало быть, утра.

Отец тем временем зажег свечу, и пламя заплясало в чаше с вином.

— Господи! приклони небеса свои и сойди. Спаси нас от врагов наших, от завистников. Да будут дети наши, как разросшиеся растения. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого господь есть бог!

Четыре застывшие фигуры.

— Аминь, — закончил отец, за ним и остальные, отламывая по кусочку от халы.

В этот день много таких хлебных крох было брошено в реку, дабы шли они на дно, и вместе с ними — грехи человеческие.

Забьли ли те, кто сидел за столом, бросить в быстрые воды свою лепту, или не такие были грехи их, чтобы кануть бесследно, но только не внял господь их молитвам.

Или не услышал.

И вновь он оказался не готов к тому, что предстало его взору. Тропа — на и х языке называлась "классическим маршрутом" — сбегала к подножию, лавируя среди консервных банок, ключев брезента, зажигалок, газовых баллончи-

ков, рваных носков, шарфов, обрывков веревки и даже целых палаток. Он поднял банку и прочел: "Порошковый лимонад". Рядом валялись недоеденные сардины, вытекшее масло застыло

*(Сагарматхой именовали ее непальцы. Для жителей Тибета она была Джомолунгмой. Для европейцев Эверестом. А еще слыла Святой горой...)*

(...и обителью богов, да-да, напрасно ты морщишься, как от зубной боли, — вкрадчиво напомнил ему голос того, кто мнит себя ведающим промысел господен) желеобразной запятой. Позже ему попался на глаза примус с дырой, зиявшей на месте ацетиленовой горелки. Он поймал себя на том, что раздражение его сродни старческому брюзжанию, и усмехнулся: "Дети. Для вас свобода — это когда развязаны руки. Не опьянели еще от этой свободы? Не захлебнулись?" Он продолжал путь вниз, стараясь не глядеть под ноги.

Аммонитянина звали Иаков. На самом деле имя у него было, конечно, другое, но природная хромота сослужила ему плохую — а впрочем, плохую ли? — службу, и хотя он не только никогда не боролся с ангелом господним, как его библейский тезка, кличка, однако, пристала. Иаков пастушествовал, невзирая на врожденный порок. Еще говорили, будто не одна уже овца в отаре охромела, постоянно видя перед собой колченогого, да только чего не наплетут старухи в Вифлееме.

Гита пошла за Иакова, отчаявшись дожидаться стоящего жениха, и родила ему двух дочек. Старшей, Иезавели, шел четырнадцатый. У нее были материнские жесткие волосы и ее же глаза — черные, блестящие, чувственные. В остальном она повторила отца. Она молча доила по утрам овец, молча обносила молоком покупателей и, бывало, к полудню возвращалась, так и не проронив ни единого словца. Третьего года случилось по их улочке проходить точильщику. Точильщик остановился у дома аптекаря Шолом-Бера и стал предлагать детям всякие сладости. Все попрятались, маленькая же Иезавель взяла с подставки кухонный тесак и скорее всего унесла бы его, окажись точильщик менее проворным.

У Гиты хватало забот с семилетней Голдой, чтобы лезть в душу к старшей дочери. То, что она услышала в пятницу,

за три дня до Йом Киппура, было так же весело, как улыбка, приросшая к лицу покойника.

По краю морены тянулась цепочка следов, кое-где попадались кучки помета с остатками крыс. Йети! Помет был совсем свежий, и Тео ускорил шаг. Огибая скальный выступ, он остушился и едва не сшиб дуреху. Это была крупная самка, покрытая серой шерстью. Обезьяна придерживала верхними конечностями отвислые груди и таращилась на Тео маленькими, глубоко посаженными глазками. Придя в себя, йети упала на четвереньки и метнулась вверх по склону.

”Вот вам и снежный человек, — сказал про себя Тео. — И почему, спрашивается, это безобидное существо должно быть предвестником смерти?” Болела лодыжка. Он подвернул ногу, и теперь взгляд его был прикован к тропе.

*(Она еще молода... тридцать, от силы тридцать четыре... полные икры, широкие, слегка повернутые вовнутрь ступени. Этот ребенок, он чуть не убил ее — что-то с сердцем... и сплошные разрывы. Ко всем бедам еще отслоение сетчатки... правый глаз, почему он так бликует, когда.. ну вот, в профиль сразу видно — линза!.. Она бы, кажется, возненавидела ее, если бы та не держалась за ее подол, как собачонка. У малышки скрытый очаг в легком, но умрет она от другого... да, другого... страшная болезнь, рак кожи, в просторечии волчанка, но это будет еще нескоро, через... да, через сорок один год. Так в чем же дело?..)*

Воздух становился все более плотным, приходилось ловить его ртом. Как будто можно надыхаться впрок.

*(Похож на сирийца, но не сириец. Такие ухватистые руки обычно у безногих либо... Хромоногий, вот оно что. Все думают, что это у него от природы... правильнее сказать, думают так, как он им представил когда-то, придя из чужих краев... из Эс-Сувейды... вот откуда Сирия!.. На самом деле его, годовалого, уронил захмелевший отец, вынеся сонного на обозрение такой же хмельной братии. Держись, настух, подальше от Черное балки — после второго падения тебе уже не подняться... Да, но ей, ей-то это неизвестно, так откуда, спрашивается, это глухое отчаяние?)*

Гималайские терай. Березы вперемежку с банановыми деревьями. Предгорья встретили его духотой и малярийны-

ми комарами. Городок, через который лежал путь, изнывал в полуденной пыли, если б мог, высунул бы воспаленный язык, как тот пес у колодца, что посмотрел на Тео невидящими глазами. Улочки вымерли. Тем неожиданней прозвучал звон бубна-каньзяри, а вслед за звоном прямо на него выплыли два паланкина — с женихом и невестой. Одутловатый жених не успевал вытирать пот рукавом рубахи, размазывая по щекам цветную пудру, которую с удовольствием швырял ему в лицо нанятый по случаю торжеств мальчик. Тео пропустил паланкины, а также сундуки и корзину с приданым, и свернул в боковую улочку, где жил Пемба.

Еще издали он слышал перезвон колокольчиков и мерные удары гонга. Вращалось молитвенное колесо, а это могло означать одно из трех: рождение, смерть либо молитву. И даже праздный гуляка, идя мимо, бормотал: "Ом мани падмэ хум, ом мани падмэ хум..."

Тео подождал, пока старый шерпа окончит молитву, и вошел в дом. Анг Ламу провела его на второй этаж. Горел очаг, сложенный из каменных плит, сквозь чад он не сразу разглядел сидевших за столом.

— Ешь, ну, — подбадривал Пемба младшего внука. — Ешь, если хочешь вырасти большим и сильным, чтобы ходить на Гору, через которую не может перелететь ни одна птица.

В еду замешивалась кровь яка. Сама животина сейчас маялась в хлеву под ними, силясь согнать мух с запекшегося пореза на шее.

— Далеко ли на этот раз?

Шерпа долил горячей воды в рисовое пиво и с наслаждением сделал глоток через бамбуковую соломинку.

("Не наливай так много, не унесешь". — Без ответа.

"Постарайся обернуться быстрее, сможешь мне испечь хлеб. Ты меня слышишь?" — Кивок.

Босые ноги тяжело ступают по горбату проулку. Подол зацепился за ветку шиповника, — хрустнула ветка, сломавшись в суставе, сплеснулось что-то через край. Молоко. Поскрипывает железный хомут в ведерных уключинах. Зевок калитки. "Ты, Иезавель?")

(ИЕЗАВЕЛЬ.)

— А я теперь не ходок. Весной собрался через перевал за солью и назад вернулся. Думал, уже все, а врачи сказали —

полуартрит. — Шерпа втянул теплое пиво и, сладко зажмурившись, проглотил. — Полуартрит — разве это болезнь! Поживем еще...

Анг Ламу поставила перед гостем миску с мо-мо. Он не любил эти переперченные разваренные пельмени, тем более что от них потом случалась изжога, но хозяйка уже закладывала следующую порцию, и он смирился перед неизбежным.

— Она у меня на все руки, — светился Пемба, — клад, а не жена, даже страшно — вдруг проснусь, а под подушкой орех бетеля. (Тео сделал вид, что не понял, желая доставить удовольствие собеседнику.) У нас с этим просто: надоел муж — положила ему под подушку орех, и весь тебе развод. Так что я сделал?

Пемба выжидающе молчал, Тео ждал продолжения.

— Только старый лис вроде меня мог до этого додуматься. — Шерпа победоносно посмотрел на жену, но та как раз перчила дымившееся мо-мо, и взгляд его выстрелил вхолостую. — Я стал спать без подушки!

*(Старшая дочь... как же я сразу не догадался. Вот эта магнолиевая рощица, а в глубине дом из белого известняка... и олеандры, много олеандров, спускающихся к реке террасами. Не странно ли, что в роще никогда не поют птицы? И она боится, да, боится пройти эти двести шагов до увитого плющом крыльца. Почему же она идет?... что-то толкает... А мать сходит с ума. И е з а в е л ь)*

Он шел в Катманду, преодолевая подъемы и спуски, переходя речушки через висячие шаткие мостки, оставляя позади апельсиновые сады и ламаистские часовни, черепях, распластанных на теплых отмелях, и белых цапель, грациозно выбирающих клещей из шерсти косматых буйволов, и, конечно, нищету, нищету и дикость этих деревень, где матери кормят грудью шестилетних детей в надежде больше не забеременеть, а их мужья закапывают под порогом лошадиные черепа, дабы отвратить от дома злых духов. Позади оставались смердящие туши священных коров, укушенных столь же священными змеями, и разжиревшие от падали шакалы, под утро взывающие в джунглях от бессонницы; а навстречу тянулись кукурузные и картофельные поля, тянулись паломники, направлявшиеся в Тибет, в овечьную легендами Лхасу, чтобы прикоснуться к камням дворца великого

Далай-ламы, не подозревая, наверное, что сам великий давно покинул свой дворец, спасаясь от зависшего меча из Поднебесной. Навстречу тянулось само время, безразличное к кипению людских страстей, тянулось медленно, как деревянный лемех на джутовой плантации в Тукуче, как траурная белая процессия, несущая тело к реке, берега которой уже обуглились от золы и пепла, —

*(...а мать сходит с ума...)*

а впереди его ждал Катманду, и выборы новой богини Кумари из числа самых красивых пятилетних девочек, той, что проживает затворницей в холе и неге лет шесть-семь, пока не выйдет из невинного возраста, после чего ее выбросят из дворца, и ни один мужчина не осмелится познать ее под страхом смерти; и будут надрываться барабаны и дудки, и будет валом валить народ, мужчины в узких брючках с шапочкой-топи на голове и женщины в шерстяных платках, завязанных через плечо, с звенящими браслетами на запястьях, а кончится тем, что кого-то непременно затопчут в давке, не без этого, но зато праздник наберет силу, будет что целый год вспоминать, — а это ли не главное?

Тео, случалось, оборачивался, чтобы посмотреть на Сагарматху — жемчужину в Гималайской короне. На семнадцатый день пути, переправившись за десять анн через Кали-Гандак, он последний раз приласкал ее взглядом. Отсюда величайшая на земле вершина казалась катальной горкой вроде тех, какие строила когда-то европейская знать для зимних увеселений.

*(Катальная горка... что за нелепое сравнение! А может быть, не такое уж нелепое, и прав сказавший, что Эверест такой, каким его видят глаза смотрящего?)*

Газеты выходили с англшагами: ИСЛАМАБАД БРЯЦАЕТ ОРУЖИЕМ. ПРОВОКАЦИИ НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ.

Как быть? думал Тео. Выход к пустыне отрезан, но можно взять севернее и выйти к границе близ Лахора, а потом...

В Палестине второй месяц шли дожди.

— А потом?

Иезавель молчала.

— Что было потом, я тебя спрашиваю? — повторила свой вопрос мать.

— Он взял меня вот здесь и... и спросил, нравится ли мне это.

Гита, по счастью, нашарила рукой стул и тихо осела.

— Он сказал, что подарит мне серебряное колечко. А еще он сказал, чтобы я тебе про это ничего не говорила.

Взгляд Гиты упал на узелок; откуда он здесь? — ах да, ну конечно...

— Вот лепешки и сыр, — сказала она ватным голосом. — Снеси отцу.

Когда дверь за дочерью закрылась, Гита встала, чтобы взять... взять, — она почувствовала, что проваливается в черную бездну, и бездна эта называлась Шеол.

Иногда его подвозили крестьяне. Когда чамар, то есть кожевенник, показал ему на свободное место в подводе, он заколебался, но сообразив, как будет истолкован отказ, молча сел на окраешек. Опасения оправдались. Кожа дубилась мочой, и во весь путь от запаха некуда было деваться, благо место оказалось с наветренной стороны. Словоохотливый кожевенник за два часа тряски по разбитой дороге пересказал, кажется, не только все о нынешней своей жизни, но и о всех прошлых тоже. Происходил он из суеверов. Бабка, скончавшаяся в возрасте 92 лет, перед смертью велела перенести себя в коровник, где ей настлали рогожу, и, даже в забытьи цепко держалась за коровий хвост, — так, верно, на хвосте в рай и въехала. Вообще женщин кожевенник (он был с бельмом на одном глазу) ругал на все корки, почитая за дур и злыдней, женохульник был отчаянный. Особенно смаковал слышанные в городе истории "из жизни богатых" — про то, как чью-то неверную жену побили палкой или как забывшихся любовников сострадательно разливали холодной водой, что дворовых собак. О возможной войне кожевенник ни словом не обмолвился, да и войны-то другой, кроме той, что он вел с сорванцами, наладившимися мочиться на сложенный во дворе товар, он и не знал, говоря по совести.

А между тем войной пахло ничуть не меньше, чем мочой в крестьянской подводе. Последние газеты переменили тон на исторический, из чего следовало, что дела приняли сквер-



ный оборот. Даже официально признавались жертвы, и немалые. Объявили дополнительную мобилизацию. Ожидались крупные военные поставки из некой "дружественной страны".

Тео нашарил в складках одежды несколько мелких монет, причитавшихся с него за проезд, — да так и замер с вытянутой рукой: он стоял на открытом месте, подле гигантского дерева, перед ним сидел на земле незнакомец — худой, полуголый, сказать точнее, в одном дхоти, с самшитовой тростью, зажатой меж колен, смуглый до синеватого отлива старик. Тео, как ни силился, не мог вспомнить, когда он успел соскочить с подводы, — а между тем позади сорок с лишком дней, загадочная история, а тут еще этот нищий гимнософист, улыбающийся ему тремя гнилыми зубами. Падший ангел. Как это было, ну-ка?

Голда капризничала. День клонился к вечеру, в доме же до сих пор не прибрано. Иаков ушел, не сказавшись, а у нее, как на грех, не выходит из головы давешний сон. Под пятницу — сбывчивый. Берется за одно, за другое, все валится из рук. Ну вот! Раздавила пластмассовую игрушку. Голда в рев, а она кричит, что нечего разбрасывать свои вещи где попало, что они все сговорились свести ее в могилу... Спихватилась: кричу, будто мне кто на живот, как кукле, надавил, а девочка, бедная, совсем зашла, горюшко ты мое горькое, ну все, все, успокойся, рассказать тебе сказку?

Она подсаживается к дочери и начинает:

— Жили-были сестры, одна работающая, все по дому делает, и такая аккуратная, ни соринки после себя не оставит, а другая ленивая и ужасная к тому же неряха. Возвращаются они раз домой в пятницу вечером, а впереди два ангела летят. Добрый ангел весь в белом и улыбка у него добрая. А у злого три зуба гнилых, как рот откроет — так мороз по коже. Только сестрички на крыльцо взошли, ангелы шашь в дом. Смотрят: комнаты не прибраны, на полу игрушки валяются, а уж чтобы стол был накрыт и свечи зажжены, об этом и говорить нечего. Словом, сразу видать — не готовы здесь к встрече красавицы Субботы. Обрадовался злой ангел: "Пусть всегда, говорит, у них здесь такое будет! Целый год, говорит, не видеть им праздника, как своих ушей!" И добрый ангел, как ни горько ему было это слышать, ска-

зал: "Аминь". Стыдно стало неряхе перед своей сестрой, всю неделю она дом в порядок приводила. А в пятницу вечером опять за ними ангелы увязались. Только сестры дверь открыли, а те уж тут как тут. Смотрят: все блестит, праздничный стол накрыт на славу — хоть сейчас гостей зови. Нахмурился злой ангел, а добрый смеется: "Пусть будут, говорит, у вас, сестрички, все дни в году такие же светлые, как эта Суббота!" И злой ангел, как ни досадно ему было это слышать, пробурчал все же "Аминь".

— А они к нам тоже прилетят? — испугалась Голда.

— Обязательно.

— Они сейчас, наверно, ужинают...

— Значит, сразу после ужина и прилетят.

Голда так и подскочила:

— Мамоchка, ты поддержи дверь, я быстро-быстро!

— Я не просил у тебя денег, прохожий.

Тео поспешно убрал руку.

— Садись. Если ты ищешь мирских радостей, насладись тенью этого дерева. Если себя ищешь — подавно сядь и запасись терпением, потому что...

Неподалеку так ахнуло, что конца фразы Тео не слышал.

— Что это?

Философ пожал плечами.

Над лесом, шагах в пятистах, взвилась яркая звезда с зеленым хвостом, и тотчас забухали невидимые барабаны. Тео принялся: пахло гарью. Неужели... Рвануло где-то совсем рядом, даже воздух подался, окатил щеку теплом. За лесом проходила граница, и там шла отчаянная пальба.

Тео сел. Куда, собственно, мог он идти?

— Так бы сразу, — улыбнулся голый.

— Ты не боишься канонады?

— Можно ли бояться того, чего не слышишь.

— Не хочешь слышать, — уточнил Тео.

— Не слышишь, — повторил старик.

— И давно ты сидишь здесь?

— Час. Вечность. Какая разница.

Тео спросил, есть ли у него жена, дети. Зачем, был ему ответ, разве может человек дать человеку то, что во власти одного творца?

— Твоя мать, по-видимому, рассуждала иначе.  
— Моя мать не рассуждала, в этом ее ошибка.  
— Где бы ты был, философ, не сделай она этой ошибки?  
— Посмотри! — Старик ткнул самшитовой тростью влево, где круглилась горушка, лишенная всякой растительности. Тео показалось, что там происходило какое-то движение. — Видишь? Эта земля бесплодна, но разве солнце обходит ее своим теплом?

Из-за лысой горы открыли минометный огонь. Сейчас ответят, подумал Тео. От горы до места, где они сидели, было рукой подать.

— Ты никого не любил, философ? — неожиданно для самого себя спросил он.

— Я люблю истину. Лишь она одна не злоупотребит моей любовью.

— Ты знаешь истину? — искренне удивился Тео.

Старик налег подбородком на утолщение трости, проникая взглядом за окоем, словно именно там, за окоемом, лежала разгадка бытия.

— Я люблю единственное, что мне непонятно в этом мире, — усмехнулся он. — Все остальное слишком тривиально, чтобы удостоиться моей любви.

— Сейчас там гибнут люди. — Тео сделал движение головой в сторону леса. — Кто-то из них, вероятно, еще жив и нуждается в помощи. Ты не поможешь ему, философ?

— Сострадание... Ты веришь, что это кому-нибудь нужно?

Тео не отвечал. Он думал о том, что в этой набожной стране, где чуть не всякая тварь почитается священной, кое-кто доходил до того, что подкармливал мух и клопов, а вместе с тем в ногах у него какой-нибудь пария (на то они и "неприкасаемые"! ) мог умирать от голода...

— Послушай, чужеземец, я напомню тебе историю, которую ты, без сомнения, слышал в детстве. Скорпион случайно упал в реку и начал тонуть. Мимо плыла выдра, и скорпион взмолился, чтобы она вынесла его на берег. "Но ведь ты меня укусишь", — возразила выдра. "Никогда!" — крикнул скорпион, барахтаясь из последних сил. И выдра, поверив, понесла его на спине к берегу. Конец ты помнишь, чужеземец? Скорпион все-таки ужалил выдру, и оба они утонули.

— Но кто сказал, что человек — скорпион?

— А кто сказал, что он выдра?

Воцарилось молчание, нарушаемое близкими взрывами, от которых вздрагивала земля.

— Значит, если кто-то тонет, ты не вытащишь его на берег?

Старик разогнулся, подставив серую, как грифель, безволосую грудь заходящему солнцу. Улыбнулся:

— Я не умею плавать.

Тео поднялся, хотя ступни у него горели.

— Ты уходишь?

— Да.

Старик тряхнул головой. Был ли этот жест напутствия или так он выказал свое неодобрение, — не известно, ибо во все время ссохшееся лицо его оставалось непроницаемым.

— Это дерево называется расамал, прохожий. Оно цветет раз в восемьдесят лет.

Тео пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть макушку исполина. Она была увенчана сказочно красивым белым цветком.

— Так вот, раз в восемьдесят лет распускается этот цветок. Что бы ни происходило. Истина безразлична к страстям человеческим. Для нее нет правых и неправых.

Тео сделал шаг в сторону леса.

— Ты все-таки уходишь?

— Да.

— Теперь я понял. Ты, прохожий, ищешь не радостей земных и даже не самого себя. Ты ищешь смерти, прохожий. Но за ней не надо никуда ходить — она сама найдет тебя в назначенное время.

Тео уже не слышал его. Какая-то сила увлекала его вперед, туда, где кипели человеческие страсти, выдавая себя барабанной дробью пушечной пальбы и фейерверком трассирующих пуль.

Он уже почти достиг леса, когда сзади раздался взрыв. Тео потянуло обернуться, но он не обернулся.

Стемнело.

(В темноте она налетела на человека и вскрикнула от испуга. "Тише, красавица". Она узнала голос Велвла. Сделала шаг в сторону, он тоже. Что ж, рано или поздно это должно было произойти.

— Что вам от меня нужно?

- Почему она перестала носить молоко?
- Она... болеет.
- Ай—ай, какая жалость.
- Пропустите меня!
- Завтра утром чтобы все было по-старому. Надеюсь, мы поняли друг друга?
- Отпустите! больно же!
- Так ты меня поняла? Завтра.)

Гита вскочила на постели. "Завтра". Как в ухо выстрелили. Над рекой колыхался туман, просвечивая, как кисея. Вот оно — завтра.

Старшая дочь покойно спала. Младшая, Голда, страдавшая от хронического гайморита, шумно дышала ртом, как неисправный насос, не успевающий втягивать воздух. Ей часто снился один и тот же сон: широкая ладонь затыкает ей рот, и она, не в силах отодрать ее своими слабыми пальцами, умирает от удушья. Но прежде, чем совсем умереть, она просыпалась.

"Надо посоветоваться с Иаковом, — подумала мать. — А что, собственно, может сделать Иаков? Велвл держит в страхе весь квартал. Этот трицатипятилетний оболтус ни перед чем не остановится, и, главное, все ему сходит с рук. Разве не шептались люди пять лет назад по поводу внезапной кончины его отца-здоровяка, каких поискать? А прошлое лето, когда выловили в реке изуродованный труп Герш-Бера, лавочника, которому Велвл задолжал кругленькую сумму! Арестовала ведь его полиция как убийцу! А через два дня наш пострел уже разгуливал, руки в карманы, по всему кварталу, наводя ужас даже на цепных собак. Ясное дело, откупился от полиции. Ворованными откупился. Сколько может "болеть" Иезавель? Ну день, ну три — а дальше? Болезнь! тоже мне придумала. Не успеет ведро скрипнуть за калиткой, как он уж поймет, что к чему. У него соглядатаев больше, чем ягнят в отаре Иакова. Все-таки сходить к Иакову. Ум хорошо, а два лучше".

Не зажигая света, она оделась, расчесала наскоро волосы и выскользнула во двор.

"Пак" на урду и фарси значит чистый. Пакистан, не ведая усталости, "чистится" от иноверцев, заодно и от всех прочих. Правoverные режут социалистов, кочевники феода-

лов, феодалы отбившихся правительственных солдат, сунниты истребляют "неверных кафров", те, в свою очередь, "вероотступников" суннитов, пенджабцы синдхов, синдхи пенджабцев, те и другие вместе — белуджей. Остается только гадать, когда при этом страна успевает рвать зубами Индию, облаивать Иран и обмениваться с Афганистаном чувствительными укусами.

Тео отложил газету. Юмор висельника. У него не шел из головы вчерашний день.

В горах светает рано, но тут к рассвету дело уже было кончено. Смотри что, впрочем, считать рассветом. Поселок племени мари вспыхнул разом с четырех сторон. Повысыпавших людей расстреливали из станковых пулеметов. Не всех. С десятков вождей, слывших главными бунтовщиками, сумели отловить. Их расставили фигурно, в виде правильной пирамиды, и, прежде чем облить керосином, отрезали им языки. Гигантский живой факел взметнулся к небу. Не прошло и полутора часов, как театр военных действий дал занавес. Отклонявшись перед пустым залом, заезжая труппа построилась в боевую колонну и с бодрой песней двинулась к следующему пункту своего гастрольного турне, где их также, надо думать, не ждали. Перед самым уходом директор-распорядитель вспомнил, при всей своей занятости, о дюжине языков и велел дать их собакам — "чтобы добро не пропадало". Это был единственный в то утро приказ, который оказался невыполненным. В поселке не осталось ни одной собаки.

На исходе второго месяца гостевания у "детища исламских чистых принципов" он перевалил хребет Тобакакар и вышел к пересохшему руслу. Силы покидали его, и он заставил себя пройти еще несколько километров, завидя вдалеке белеющие домишки.

Это был гарнизонный городок, из тех, что прилепляются к какому-нибудь мирному селению и сосут его, пока от того не останется пять-шесть дворов, и не то дворы эти со временем начинают смахивать на казармы, не то сам гарнизон опроцается до чрезвычайности, принимаясь уставом бить жирных мух и ходить с гранатометами на диких уток. Появление неизвестного лица не могло вызвать у сонного городка решительно никакого интереса. Впрочем... На разжало-

ванном из воинского плаца пустыре, заросшем васильками, Тео поманил к себе пальцем щуплый лейтенантик с велосипедом.

— Купишь? — Лейтенант назвал цену.

— У меня не будет столько. Да и куда мне велосипед.

Лейтенант поскреб небритый подбородок и грязно выругался.

— Седьмой, стало быть.

— Что седьмой? — не понял Тео.

— Вот! — лейтенант брезгливо оттолкнул от себя руль, не забыв придержать другой рукой верхнюю раму, — как жалованье — так пиши пропало.

Лейтенант отвел душу. Командир их пехотного дивизиона держал магазин, где торговал всякой всячиной, в том числе и велосипедами. Полевые занятия он сворачивал часам к двенадцати, чтобы до обеда успеть к прилавку. Неявка в магазин младшего офицерского состава расценивалась им как уклонение от несения воинской службы. И ведь что удумал: что ни месяц, то у него "завоз" — новая модель велосипеда; "выходит, если твоя жена новое платье надела, так у тебя теперь новая жена, да? — горячился лейтенантик, — ведь и здесь тоже — ерунда, дрянь, — то звоночек не слева, а справа, то ниппель на насосе поменяет. А ты выкладывай свои кровные". Лейтенант растер плевком каблуком сапога, сел на велосипед и злобно крутанул педали. Цепь, сделал полоборота, соплей повисла на шестерне.

...Он вспомнил этот эпизод три дня спустя, оставляя пределы страны, и даже не улыбнулся. Он перестал улыбаться, как перестал удивляться чему бы то ни было. "Нет бога кроме Аллаха", — проникновенно шептали одни перед тем, как казнить главу государства (как звали эту девушку, что рассказывала ему о деревне Гархи Худабакш, где четвертый год развевается на могиле лоскут со словами: "Вождь народа, Зульфикар Али Бхутто, мученик?"); "нет бога кроме Аллаха", — гнусаво нели другие, складывая в уме шестизначные цифры после удачно сбытого героя. Нет, он давно уже ничему не удивлялся. Разве что в тот дождливый день, на берегу Чинаба, в доме приютившей его на ночь Нусрат, когда она вышла во двор развесить белье и уронила таз: ее сын, подросток, не ночевавший дома, стоял перед воротами с черной повязкой на глазах. Он не плакал. Шок притупил

чувство боли. Кто и зачем ослепил мальчика — осталось загадкой, но одно не вызывало сомнений: операция была произведена профессиональным хирургом. Истошно закричала мать, но этого Тео не услышал, у него вдруг заложило уши, точно контузило, и только в голове пульсировали, волнами накатывали два уже знакомых голоса, мужской и девичий...

("Больно?" — "Нет". — "А сейчас?" — "Нет!" — "А сейчас?" — "НЕТ!")

Вот она, древняя Бактрия! Каравановожатый дал знак рукой, все спешили. Фаизмамед скинул свои лаковые туфли и опустил ноги в протоку; совершив ритуал, он спросил плова и, давась, стал заталкивать в рот большим пальцем горячие куски баранины. Прислуживала девочка в малиновых шальварах. Базар гудел. Какой-то афганец в барашковой шапке поносил таджиков, напоминавших бабу на чайнике, лопотали разом хазарийцы, арабы, узбеки, завывал перс с ассирийской черной бородой, тыча вам в глаза пятерни, униженные соблазнительными перстнями, слепые и увечные тщетно выпрашивали подаяние, турок в шлепанцах на босу ногу грозил кому-то кальяном точно кривой саблей, летели на землю арбузные корки и перезрелая хурма, текли нечистоты, в судорогах корчился холерный больной; купец из Регистана, забаррикадировавшись плодами джуджуба, оглаживал трясущимися подагрическими пальцами свою бороду морковного цвета, выкрашенную соком лавзони; из соседней чайханы валила брань и запах опиума, грязные дервиши, не дожидаясь подачки, лезли в чужие карманы, стоял плач, похожий на песнопения, и смех, смахивавший на стон. Трудно было поверить, что сегодня утром на этой площади расстреляли трех человек (по непроверенному доносу) за связь с муджахидами. Смерть дешево стоила в этих краях. Во всяком случае дешевле, чем вода в раскинувшейся к югу пустыне.

Он смотрел на эти пестрые шали, миткаль, золотую парчу, а в висках стучало: больно? — нет! — а сейчас? — нет! — а сейчас? — нет!.. и он не мог понять, откуда это и есть ли спасение. Невнятица. Так во сне видишь разодранный криком рот и не можешь ничего прочесть по губам, силишься — и не можешь. Одно ясно: — что-то темное, звериное, дробя-



щее кости. Мясорубка. Остановить скорее всего нельзя, разве что... Сколько ты уже в дороге? Третий месяц. Т р е т и й м е с я ц! Это преступление. Нельзя так ползти, слышишь. С таким же успехом можно было играть в серсо на Гималаях. Ведь если...

("Почему она перестала носить молоко?")

"Она... болеет".

"Ай-ай, какая жалость".)

...если это началось еще т о г д а, то ты безнадежно не успеваешь. Но ведь это могло быть и... ну, считай, что ты взял незнакомую книгу и заглянул из любопытства на последнюю страницу. Но в таком случае развязка уже слеплена? Слеплена... Разве хороший финал не переписывается по десять раз? Хороший! То-то и оно, что автором хэппи-энд не предусмотрен. Он их, эти хэппи-энды, то ли не жалуется, то ли не даются они ему, бог его знает... ну вот, совсем заговорился. Словом, надо быть ко всему готовым. Нет, так тоже нельзя! Этак можно все оправдать и себя же выгородить. Каждый к своему кресту приговорен. Твой крест — тебе нести. Так было, так будет. Разве ты хоть на миг усомнился в этом за свою долгую-долгую жизнь? Нет. Даже когда поднес горечь этих слов к губам возлюбленного сына.

*(..и сделалась тьма по всей земле до часа девятого...  
"В руки твои предаю дух мой!")*

Он стал избегать населенных мест, потому что стрелял каждый дувал; но куда деться, когда смертью дышат дороги, кусты, скала, неприметное дерево?

Он пробовал отменить дневные переходы, чтобы не видеть кровопролития; но разве невидимая ночью кровь не вопиет об отмщении?

Вокруг танка крутилась ребятня — узбек-танкист щедро раздаривал стреляные гильзы. Остальные члены экипажа спасались от жары в тени чахлового дерева. Наблюдателю, белобрысому пареньку, одуревшему в этом пекле, на миг почудилось, что какой-то оборвыш юркнул в открытый люк. Ну вот, подумал он, совсем плохой. И поспешно надел тропический шлем, словно тот мог спасти не только от солнца, но и от зрительных галлюцинаций. И, между прочим, спас! Вон

он, оборвыш этот, уже выменивает гильзы на сломанную саперную лопатку. В 14.00 откуда-то с шоссе донеслась команда: "По машинам!" Узбек, водитель танка, отогнал самых назойливых, и экипаж занял свои места. Танк взорвался на первом же ухабе, на глазах у десятка мальчишек, и тут уж о галлюцинации говорить не приходилось.

В другой раз Тео видел, что стало с деревней, укрывавшей душманов. Душманы отбили машину с фуражом. Водителю посчастливилось погибнуть во время короткого боя. Фуражиру же надрезали в пояснице кожу и задрали ее вверх, как рубаху. Трудно поверить, но человек прошел после этого больше километра, пока не рухнул в виду расположения своей роты. Обнаружившего его первым солдата-сверхсрочника, который насмотрелся всякого, еще два дня выворачивало наизнанку.

*(Но кто сказал, что человек – скорпион?)*

Он перестал спать.

Сегодня ей дадут зажечь последнюю, восьмую свечу! Голда смутно помнила, что ей рассказывали об Иуде Маккавее и о славном возвращении в Сион, но великолепный девятисвечник, минора, зажженный в разграбленном храме, потряс ее воображение, и вот сегодня, в заключение праздника, е й разрешат участвовать в этом старинном обряде, и не просто участвовать, а стать главным действующим лицом! Щеки у нее горели, она едва могла усидеть на полу, и даже этот гадкий деревянный волчок, который как назло поворачивался все время плохим боком, не мог отравить поселившееся в ней с утра сладкое предчувствие.

Из кухни пахло картофельными оладушками. Мама так вкусно готовила латки. Отчего она такая грустная последнее время? Наверное, Иезавель опять что-то натворила. Уходит как мышка, никому ни слова, а все из-за нее огорчаются. Когда я вырасту, решила Голда, буду сама все готовить, а мама пусть играет на полу с утра до вечера.

— Отдам ей тебя, раз ты такой, — сказала она волчку, который в тот миг остановился. Опять выпал "нан", то есть зеро. В шестой раз! Хорошо еще, что она играла сама с со-

бой. Если бы пришел, как обещал, Пузырь, плакали бы все ее фантики.

”Вообще-то надо Пузыря проучить, — подумала она. — Зачем он наябедничал, что у нее есть настоящие деньги? Надо будет дать ему много-много сыра, он, обжора, все съест и попросит пить, тогда она нальет ему много-много вина, он сразу ”потеряет голову”, как сказала мама про того человека на улице, а я ее спрячу в коробку для игрушек, — попробуй отыщи!.. А если не потеряет? — Голда задумалась. — А тогда... тогда я спокойненько отрежу ему голову, как Юдифь этому, на ”О”, ну, тому, про кого папа вчера рассказывал...

Пока она пыжилась произнести имя Олоферна, волчок в седьмой раз повернулся ”плохим боком”. Голда ойкнула.

Эти грузовики легко узнавались по запаху. Немилосердно палящее волнце гнало их на север, в Газни, точно автоматные очереди, выпущенные в спину. Из Газни страшный груз отправляли дальше на север, уже самолетом.

Справедливости ради он мысленно сделал одну зарубку иного рода. Концерт! День был умеренно жаркий, и весь лазарет, — все, что ходило, ковыляло и ползало, — выбрался на полянку. Бронетранспортеры, образовав круг (от душманов можно было ждать любого подвоха), казалось, мирно пощипывают травку, в кругу же лохматые сравнительно с солдатами юноши расставляли динамики, усилители, проверяли аппаратуру. Потом они запели. Пели задушевно ”На дальней станции сойду” и с огоньком — ”Через две зимы, через две весны”, а небритые мужчины смотрели им в рот, как дети, потом они пели ”Как прекрасен этот мир, посмотри!” — и у долговязого литовца текли слезы из незрячих глаз, и после каждой песни благодарные слушатели кричали ”Еще!” и хлопали... если было чем хлопать.

*(Все остальное слишком тривиально, чтобы удостоиться моей любви.)*

Однажды под вечер у него разыгралась лихорадка. Какая-то богатая женщина велела уложить его в своем доме и накрыть тремя одеялами. В горячке он разобрал, что приходил хакими, лекарь по-здешнему, и прописал, по выражению

хозяйки, черта в ступе, так что лекаря она прогнала вон, а слуге велела отпаивать больного верблюжьим молоком и травяным настоем. Слуга с подведенными сурьмой глазами (только на четвертый день Тео стал что-то вокруг себя примечать) поил его, сам чмокал губами да приговаривал "хуб, хуб" через слово.

В пятую ночь он увидел сон:

Какая-то семья на берегу моря. Мужчина входит в воду и уплывает ленивыми махами. Женщина ставит в песок открытый флакон с кремом и направляется к отмели. Солнце спит ее. Она вглядывается, нервничая все больше и больше... Морская гладь до самого горизонта.

Тео заставил себя стряхнуть этот ужас, но что-то не давало ему покоя. Во сне еще была фраза, обрывок фразы. Дикий, никак не связанный со всем прочим. Какая-то балка, что ли...

*("...беги скорей к Черной балке, там...")*

Перемогая ломоту в теле, он оставил в ту же ночь гостеприимный дом.

Иаков выслушал ее, не проронив ни звука. Одна овца отбилась от отары, и он предупредил ее резким свистом. Овца была не своя, господская, своих он метил, и держались они всегда купно.

— Я поговорю с ним, — сказал он с расстановкой.

— Ты плохо знаешь Велвла, он...

— Я с ним поговорю, — повторил Иаков.

Тема была исчерпана.

Гиришк стоит на правом берегу Гельменда, и хотя давно налажена паромная переправа, не истребились еще охотники переправляться через реку на бурдюках или камышовых плотках, в чем Тео убедился сам, отдав предпочтение давно испытанному способу. Главные ворота, устроенные в западном фасе крепости, приняли его вместе с покрытыми чадрой женщинами, числом до пятнадцати, и приставленным к ним афганцем с ружьем за плечами и двумя пистолетами за поясом, впридачу к тесаку, разной длины ножам и паре кинжалов. Можно было подумать, что он отбил гарем у турецкого паши. В центре ограды возвышалось нечто вроде цитадели, вдоль наружной стены тянулись барбетты для орудий и даже

кой-где сохранились банкеты для стрелков. Все это — поросшие бурьяном форты, насыпь, банкеты, полуразрушенные бойницы в стене с видом на высохший ров, — все это вместе являло собой запустение и анахронизм в соседстве с современно устроенными казармами и вертолетом в ангаре. Хлопали одиночные выстрелы — где-то шли учебные занятия.

Он обошел с запада гробницу Ахмед-Шаха — большой восьмиугольник из фарфоровых плиток, с золоченым сводом и минаретами — и выбрал наобум двухэтажный особняк из сырцового кирпича. Первый этаж, узнал он, был за советским майором; наверху жил некий Гассан с семьей, который и согласился уступить ему угол за известную мзду. Предприимчивость Гассана была поистине изумительна. Он тянул за постой, сколько мог, с новой власти, попутно надувал по мелочам на разбавленном вине и ворованных американских зажигалках. Этого ему казалось мало, и при случае он отдавал во втором этаже одну, а то и две клетушки, сам же ютился с женой и целым выводком детей в последней, большей комнате. Мало кто догадывался о еще одной немаловажной статье Гассанова дохода: он регулярно информировал душманов о своих постояльцах.

Тео, еще не вполне оправившийся после лихорадки, лег спать рано, однако вскоре был разбужен громкими голосами снизу. Он открыл глаза. Кто-то как будто прокрался мимо его каморки. Тео набросил на плечи потертое одеяло из верблюжьей шерсти и вышел на лестницу.

У перил, сжавшись в комок, сидел Гассан. Он несколько не смутился при виде нового жильца, лишь показал ему знаком хранить молчание. Тео хотел было уйти к себе, но то, что он услышал, удержало его на месте.

— Вот и... со своими попами!

В просвет между балясинами Тео мог видеть со спины незнакомца, кажется, подполковника, с заломом темно-русых волос на затылке — от фуражки. Перед ним стояла почти пустая бутылка.

— Во-первых, они не мои, и потом я не о попах, сам знаешь. (Тео узнал голос майора.) У меня в Боголюбове бабка, так она рассказывала, как они деньги на мир собирали. Кто сколько. Один — червонец, другой — полтинник. На мир, понял? А одна старуха подходит к священнику: "Батюшка,

говорит, а ну как наши деньги на оружие пустят?"

— И что ей твой поп?

— "Выкинь, говорит, эти мысли из головы. Когда доброе длео делают, не торгуются. Ты, бабушка, на мир даешь — значит в твоём сердце мир. А ежели кто на зло наши средства обернет, то на тебе вины нет. Это уже другие деньги будут. Твои деньги потом пахнут, а те — кровью". Вот так. А ты говоришь — поп.

— Ты солдатам своим, интересно, тоже проповеди читаешь? — Подполковник говорил вроде бы добродушно, но за словами угадывалось что-то такое, отчего холодело между лопаток.

— Солдат, между прочим, человек. Он не погонями, а головой думает. Как ты и я. И разговаривать, если на то пошло, он сначала языком начал, а уж потом перешел на автомат Калашникова.

— Врешь! — Подполковник плеснул в стакан остаток спиртного и залпом выпил. — Врешь! Мы, Фомич, за него думаем — мы! — на то нам и звезды навесили. А его дело молча пристегнуть магазин и стрелять, стрелять, стрелять!

— Озверел ты, Коля, — тихо сказал майор.

Русоволосый подался вперед — спина его угрожающе распрямилась.

— Озверел, говоришь? — так же тихо повторил он, и Тео почудилось, что в огромной гостиной поубавилось воздуха. — Озверел? А ты как думал? Они нам арабскую вязь на спине выжигают, а я буду... Или забыл, Фомич, как я старлеем, только сюда приехал, отбивал твоих саперов? Забыл? Так я напомним. Это были не люди — обрубки, без рук, без ног, но они еще жили, понял, жили! И я кидал эти живые обрубки в грузовик — штабелями... Я потом от крови не мог отмыться. Я сапоги на складе другие взял, потому что на тех разводы остались. Я их ваксой, а они... Это ж дикари, майор! Ему в бою кишки выпустишь, а он чуть не рад: разве он о боли думает? Он о небесах думает, где его семьдесят семь гурий лежат-ждут...

— Ты всех-то не равняй. Если все душманы, кого же ты здесь защищаешь?

— Ты мне политграмоту не читай! Дураков нет! А то слушаешься, как они свое "ин шалла" поют, и проснешься на том свете. Нет, я давно усвоил: верь сперва проститутке,

потом змее, а уж потом — этим. Учти, Фомич, не мои слова. — Он открыл вторую бутылку.

— Знаю. Киплинг... А тебе не хватит, Коля?

— Когда схватит, тогда и хватит. Штабеля, майор, штабеля! Ты-то на сон не жалуешься?

Майор не отвечал.

— Знаю, об чем ты молчишь. Подсчитываешь правых-неправых... Чистоплюи. А я буду убивать этих басмачей, правых и неправых, мне назад дороги нет! Сам знаешь, как они на мою голову облизываются. ("Двадцать тысяч афгани", — мечтательно вздохнул Гассан на верхотуре.) Но сначала я столько голов поношу, что они Колю в своем аллаховом раю помнить будут!

— В госпиталь тебя опять надо. Я, пожалуй, поговорю с...

— А-а-а, психа из меня сделать хотите, — усмехнулся подполковник. — Давай, давай... вяжи... только я... этот... буйный. — Он покачивался на стуле, не отрывая от майора тяжелого взгляда. Тот молчал. Наверху, вжавшись в пол, затаился Гассан, готовый к любой развязке. — Скучный ты человек, Фомич, — неожиданно оттаял русоволосый, — нет в тебе размаха воображения. Учись, брат, у противника. — Подполковник раскрыл портсигар, извлек оттуда двумя пальцами какой-то квадратик, облизнул. — У них это... марочки у них вкусные... — Он уже плохо владел языком. — Вот... с одной стороны Мики Маус, а с другой... Дать лизнуть? Ну, как хочешь. От этого еще никто не умирал. Они и Утенка Дональда такого же выпустили. Плоп-плоп. Желтый клювик, красные лапки. Знаешь, тетенька, как мы ходим? А мы хо-оо-дом, глупенькая, мы кря-кря-кря (желтым), а потом (красными) вот так, быстро-быстро, а водичка, знаешь, какая у нас теплая, полезай к нам, только без ружья, а то я, жареный, злю-уу-щий становлюсь, заклюю!.. плоп-плоп, плоп-плоп... — Подполковник "плавал" по гостиной, шлепал по полу ладонями, кричал...

Тео ушел к себе.

И был Гите сон:

Танцуют старики и молодые, положив руки друг другу на плечи, танцуют по случаю веселого праздника Пурим, как вдруг врзается в толпу всадник на храпящем коне, и кричит всадник: "Именем повелителя вашего царя Антиоха

Эпифания покиньте сей дом скверны, да превратится в храм всемогущего Зевса!" Раздается толпа в ужасе, и вот отряд сирийских солдат врывается в синагогу, переворачивают скамьи с молитвенниками, жгут свитки, уносят золотые подсвечники. А кто-то — о ужас! — проник в святая святых, куда сам первосвященник имеет доступ лишь раз в году, и вспарывает брюхо визжащему поросенку, и кровь оскверняет каменные плиты.

— Я ваш бог! — кричит жрец-самозванец, — что же вы не кланяетесь своему божеству?

Только сейчас открывается его лицо, и она, леденея, узнает в нем Велвла. Он поднимает забрызганную кровью руку и делает знак Иакову, стоящему в первых рядах.

Он говорит:

— Подай пример этим мужланам.

Иаков выходит вперед, припадая на больную ногу, и останавливается в двух шагах от указующего холеного пальца с рубиновым перстнем.

— Ну!

Иаков стоит неподвижно. Ему хочется облизнуть губы, но он не решается.

— Ну!

С треском обрушивается прогоревшая полка с обуглившимися томами.

Один из воинов придвигается, держа на отлете раскаленную головню. Велвл отрицательно качает головой. Он как-то странно вздергивает руку, и перстень падает на пол.

— Я уронил перстень, разве ты не видишь?

Иаков медленно нагибается и — и в ту же секунду тлеющая головня жалит его в плечо.

Если Иаков и вскрикнул, то крик этот заглушило ликующее: "Поклонился! Все видели? Поклонился!!"

Тут начали трещать стропила...

Тео вышел к западной границе Афганистана выше озера Сабари. Здесь было неожиданно тихо: мертвая зона. Он вспомнил рассказ караванщика о том, что творится на восточной границе, в районе Пешавара, где у муджахидов опорные лагеря.

Как раз кончился рамазан, мусульманский пост, когда на деревню, занятую отрядом народной милиции, вдруг по-



сыпались с неба пластиковые игрушки. Дети бросились их подбирать. Первой счастливой обладательницей игрушки стала, по словам караванщика, девчужка лет двенадцати, оказавшаяся проворнее других.. Ее разорвало в клочья.

Это муджахиды сделали подарок своим братьям-мусульманам по случаю праздника.

В Палестине третий месяц дождей был на исходе.

Он шел, потеряв счет дням, числам. Вся арифметика свелась к простому: Святую гору он покинул в 1983 году от Рождества Христова, или 2605 от года гидждры, когда пророк Мухаммед укрылся от гонителей в Медине. А тебя кто гонит, перекаати-поле, по этой пустыне? Давно ли идешь ты босиком, сбивая ноги в кровь? Какой ловкач закутывается в твое одеяло из верблюжьей шерсти? Сто дней без отдыха, сто ночей без сна. "Куда вы так спешите?" – спросил его водонос, развязывая полупустой бурдюк, и так как он не знал...

– Куда вы так спешите, уважаемый? – повторил свой вопрос водонос.

Он не знал, что ответить.

– Вы хмуритесь? Сейчас я вас развеселю. Видели нашу тюрьму? Еще недавно там сидел в одиночке заводной такой парень. Пять лет за вооруженное ограбление. Он, как сел, сразу раздобыл через надзирателя долото и молоток, обернул их тряпками и давай по ночам норить стену. Под кроватью, чтоб не заметили. Ночью малость потюкает, а утром как на прогулку идти, кусочки в рукавах выносит. К концу четвертого года сделал лаз, честь честью, и благополучно улизнул. Правда, когда спускался со второго этажа, упал и сломал ногу, так что на рассвете его подобрали неподалеку от тюрьмы. Смешно?.. Это еще не все. Через неделю объявят амнистию! А? Ну не умора? Тоже торопился, вроде вас...

Водонос смеялся за двоих.

Неужели обошлось? Сколько воды, смотри, утекло, после того разговора с Иаковом, а грозы нет как нет. Интересно, что он ему такое сказал. А, разве от этого молчальника добьешься толку! Ну да бог с ним. Как ни крути, а девочку оставили в покое. Вот только рассеянная она какая-то стала. Раз ее окликнешь, другой – как глухая. На все под-

ряд натывается, вся в синяках. Раньше с ней такого не бывало. И, главное, дерганая. Спросили ее про синяк на руке — больно, спрашиваю, а она как вскинется: НЕТ! Ну, нет так нет, мне лишь бы все спокойно, а там уж как-нибудь. Вот только в душе что-то. Заноза какая-то. Ох, вечно ты со своими страхами. Скорей бы конец зиме и этим дождям.

(Сейчас я вас развеселю...)

Странный народ — водоносы. При тяжелых ведрах такой легкий характер.

”Невероятно, но факт: политические заключенные панически боятся окончания тюремного срока. В день освобождения им полагается праздничный обед. Отказаться нет никакой возможности. Сослаться на отсутствие аппетита — все равно что объявить голодовку. Кормят, в самом деле, неплохо. А час спустя тюремный врач констатирует смерть от прободения язвы. Сведения верные, но удастся ли их обнаружить, это еще вопрос”.

(Из письма)

”Если мир не соответствует шариату, то тем хуже для мира”.

(Сеид Хосейн Наср, теолог)

Это была стихия, стихию же принято считать неуправляемой, однако то, что происходило на его глазах, было приведено в движение рукой самого аятоллы. Началось у городского фонтана, где несколько женщин, перегнувшись через парапет, украдкой откинули чадру. Этого мгновения точно бы ждал весь город. Откуда ни возьмись налетели подростки — с рогатками, плевательными трубками, а то и камнями за пазухой. В первую минуту это выглядело грубой детской шалостью, но когда площадь оцепили их отцы, вооруженные сыромятными ремнями, сомнения отпали. Женщины даже не пытались увертываться от ударов, разве что неумело прикрывали лицо руками. В этом сквозила обреченность. Как-какая-то старуха не устояла на ногах, и ее затоптали. Изобретательный вояка лет восьми нашел применение обыкновенной швабре: щетину он выдрал и вогнал в деревяшку гвозди, остриями наружу, — этими гвоздями он и колот сейчас,

куда мог достать, свои жертвы.

События на площади послужили сигналом к повсеместной расправе. Били плетьюми, палками. Матерей били, сестер своих, жен.

*(Если мир не соответствует шариаду, то тем хуже для мира.)*

Стоит изолировать младенца от внешнего мира, чтобы он не слышал человеческой речи, и он вырастет зверенышем. Во что, спрашивал себя Тео, превратится страна, отгородившаяся от внешнего мира?

Вопросы, вопросы... А позади — четвертый месяц пути. И четвертый месяц дождей в Палестине.

Безлунная ночь. Сладкое забытие под аккомпанемент дождя. Всеми своими открытыми окнами дом вдыхает запах жасмина. Скрипнула рама — и снова тишина. У тишины, правда, заложен нос и затруднено дыхание. А еще тишина по временам всхрапывает, как стреноженная лошадь, которой снятся жеребьячи игры на неправдоподобно зеленом лугу.

Но вот что-то произошло. Внезапно тишина стала угрожющей. Что это? Короткий сдавленный звук. Точно крик, застрявший в горле.

— Кто тут?!

И разом: хрип, грохот опрокинутого стула, крик матери, силуэт на подоконнике...

Когда Иаков в темноте кое-как справился с выключателем, Гита уже стояла над кроватью младшей дочери. Глаза у той выкатились из орбит, губы беспомощно ловили воздух. Она дергалась, как эпилептик, выбрасывая вперед торчащие из пижамы тоненькие ручки, словно хотела оттолкнуть от себя кого-то. На шее у нее виднелись четкие отпечатки пальцев.

Война между Ираном и Ираком разыгралась не на шутку. Радио Тегерана сообщало, что в последних боях противник потерял семь самолетов, десять танков и около четырехсот человек в живой силе. Артиллерия бомбила прямой наводкой Шайх-Саад, готовилась переправа через Тигр. В свою очередь, радио Багдада поздравляло свой народ с тем, что доблестные иракские войска перешли наконец в решитель-

ное наступление, потеснив неприятеля по всему фронту. На одном левом фланге, в Курдистане, уничтожено девять вражеских самолетов и двадцать пять танков, взято в плен триста с лишним человек, в том числе два офицера высшего командного состава. В переводе с восточного все это означало, что с обеих сторон каждый день гибнут десятки, может быть, сотни людей.

Он спросил Абу-л-Касима, державшего путь в священный город Неджеф, в чем истоки этой многовековой взаимной ненависти. Выходило примерно так:

Великий Магомет дал мусульманам Закон. Только его зять Али, а также прямые потомки последнего, имамы, восприемники верховной власти, вправе толковать букву Закона. Более того, когда имам текущего века, богоподобный Мэхди, находящийся ныне в "великом сокрытии", покажется наконец людям и восстановит свое царство над вселенной, тогда воля его сделается выше закона Магомета, и падут перед ним все племена и народы. Но до тех пор ворота иджтихада (единоличного решения) пребудут закрытыми — так полагают сунниты, узурпировавшие власть в Ираке, сказал Абу-л-Касим. Что до шиитов, то они всегда считали ворота открытыми, а своих духовных вождей — имеющими доступ к главному закону жизни.

...Может быть, он просто отшутился? Неужели оттого, открыты какие-то там ворота или закрыты, можно восемь веков сряду истреблять друг друга? **Г л а в н ы й з а к о н ж и з н и**, сказал он. Сколько же миллионов жертв надо принести на алтарь этого Молоха? Закон жизни, состоящий в том, чтобы сеять смерть... Чей извращенный ум придумал этот дьявольский софизм? Что послужило первотолчком? Разве так начиналось, так задумывалось? Начиналось, впрочем, хуже некуда. Каин, Содом и Гоморра, дочери Лота, понесшие от пьяного отца, вероломство детей Иакова, кумиропоклонство. Как, однако, рассеялось зло со времен грехопадения!

А может, не стоило искушать человека? Соблазн порождает соблазны... Он не успел додумать мысль до конца — опять напомнил о себе этот наглец, этот выскочка, увы, держащий в своих руках нити повествования. И он, Тео, должен выслушивать его разглагольствования? должен терпеть эту дешевую риторику?

(Ты поставил их ниже себя, это и есть главная ошибка — уж ревнует орла к небу. "Не судите да не судимы будете". Произнеся эти мудрые слова, себя ты, однако, поставил судьей над ними, и тогда они, усвоив урок, избрали из своей среды старейшин, из круга старейшин немедленно выделились вожди, над вождями возвысился царь, а царь объявил себя наместником бога. Разумеется, он был не хуже и не лучше своих братьев, просто он первый до этого додумался. Когда додумались остальные, началась усобица, раскололся стан вождей, распался круг старейшин, и народ, дотоле единый, быстро превратился в народную массу, ну а массе, как известно, суждено распозлзаться по причине своей аморфности. Дальнейшее напоминает лихо закрученный детектив, где проворовавшийся владелец ресторана, случайно выпавший из окна шестого этажа (стр. 17), в финале умирает, съев по ошибке ложные опята, которые он сам любовно собирал (стр. 543) для своей богатой, но, увы, бездетной тетушки Августы.)

*(Все?)*

(Нет, не все. Для пушей наглядности перенесемся к подножию Эльбруса. Там, на вершине "Горы света", почитавшейся древними за пуп земли, утверждён престол Ормузда. Вот он, гляди, в лучах славы, само воплощение добра. От его престола бежит на землю невидимая лестница... смотри, как она прогнулась под тяжестью тех, кто карабкается вверх, расталкивая других локтями в надежде блеснуть хоть раз в ореоле надмирной власти: здесь и сам пророк, занявший верхнюю перекладину, и Али с Фатимой, по праву родственников, и все двенадцать имамов, сокрытые набежавшим облачком... а еще ниже — муштеиды, аятоллы, муллы, пишнамазы, вазы, — разве всех перечислишь? А где-то далеко-далеко, уже на грешной земле, стоит соборная мечеть, принявшая под свои своды полтора ста душ людей. Место это, как ты знаешь, священное, и человек здесь считается неприкосновенным, однако с минуты на минуту сюда ворвутся правительственные войска и выволокут безоружных на площадь, где с ними можно будет расправиться, уже не рискуя навлечь на себя немилость Аллаха... а также пророка, и Али с Фатимой, и двенадцати имамов, и всех прочих вплоть до последнего вазы, потому что каждый из перечисленных в данную минуту взбирается по невидимой лестнице, а при

этом, сам понимаешь, надо смотреть вверх и только вверх, если не хочешь, чтобы голова закружилась.)

*(Я понимаю, о чем ты. Ты пытаешься внушить мне мысль, что всякая гора — это ошибка, но зачем такие передержки, вспомни слова мудрого шерты.)*

(Ты говоришь о Тенцинге Норгее? Первопокорителе Эвереста?)

*(Да.)*

(“Эверест такой, каким его видят глаза смотрящего”. Что ж, слова истинного мудреца. Поверь, если в моих рассуждениях и прозвучала ирония, она никоим образом не обращена против тебя. Прости.)

Миновал пятый месяц затяжных, тоскливых дождей, больше месяца прошло после той ужасной ночи, но Голда по-прежнему молчала.

Она, конечно, пыталась заговорить — выходило нечто бессвязное. Мать показывала ее врачам. Одни говорили, что это результат несмыкания связок, другие сходились на нервном характере заболевания. Результат сильного потрясения. Стоит, наверное, уточнить, что ставя такой диагноз, мало кто принимал на веру рассказ матери о таинственном ночном посетителе. А как же отпечатки пальцев на шее? Отпечатки, объясняли врачи, она сама могла оставить, когда судорожно хваталась за горло во время приступа удушья. Позвольте, следует ли это понимать в том смысле, что она, задыхаясь, стремилась посильнее стиснуть себе горло? В ответ что-то невнятное. Что-то про заторможенность сознания и некоординированность движений. И под занавес: а вы уверены, что на горле девочки вообще были отпечатки? Лучшая защита — нападение. Ответить, в сущности, нечего. Через десять дней следов не было и в помине, ну а кто, положи руку на сердце, поручится за достоверность нарисованной автором картины? Никто. Не исключая самого автора. Ночь, как мы помним, была безлунная, так что могло и померещиться. Одно несомненно: девочка уже месяц не в состоянии вымолвить слова. Она всякий раз делает над собой невероятное усилие, на шее набухает вена, губы дрожат, как тогда, ночью, — пустое! Одни гласные, сливающиеся в протяжный мык.

На днях Голде исполнилось восемь лет. Мать связала ей безрукавку со смешным белым ягненком на груди. Отец

смастерил "настоящий" Ноев ковчег с крошечной фигуркой праведника, благодарно воздевающего руки к небесам. Иезавель испекла любимый ее пирог из шелковицы. Растроганная подарками именинница попыталась что-то сказать в ответ. Кончилось слезами и бурной истерикой. День рождения был непоправимо испорчен.

Когда-то Ирак делился на сатрапии. О тех, кто стоял во главе их, сохранились легенды. Одна из таких легенд повествует о жестоком правителе, чья ненависть к народу могла поспорить лишь с ответным чувством. Поэтому легко себе представить, как сладко у всех заныло сердце, когда в самый разгар какого-то праздника занемогшего правителя с великой поспешностью унесли во дворец. Поползли слухи, что тиран при смерти. Во дворце два дня стояла могильная тишина. На третий день за воротами раздались стенания жен и евнухов. Ликующие толпы народа хлынули на дворцовую площадь: "Тиран скончался! Хвала Аллаху!" В разгар всеобщего ликования распахнулись ворота, и все увидели правителя. Ненавистный карлик, живой и цветущий, щурился на онемевшую толпу, на губах его играла усмешка. Люди так и не сумели выйти из столбняка, даже когда засвистели кривые сабли и полетели головы.

Славные, что ни говори, были времена! С тех пор, как упразднили сатрапии, а с ними, соответственно, и — вот именно, — с тех пор, как появились печать и радио, а главное, эти пронырливые газетчики, слабину дала восточная деспотия, умирают, можно сказать, вековые традиции. Правда, и сегодня еще нет-нет да и повеет на нас почти забытой стариной, но разве такими виделись перспективы ну, скажем, святому мученику Зубейре, что положил жизнь свою в неравном сражении с этим выскочкой Али, объявившим себя четвертым правоверным халифом?..

Неужто же все так плохо? А разграбление вооруженной милицией шестидесяти ассирийских деревень и блестящая победа над мирными жителями? А слаженные действия карательных отрядов в Курдистане в сравнительно недавнем прошлом, когда удалось обезглавить (и не в каком-нибудь переносном смысле) всех вождей, а их было одиннадцать, взбунтовавших этих вечно недовольных курдов? А взять совсем уж недавнее правление мудрого шахиншаха, когда

приговоры выносились раньше, чем обвиняемые попадали в суд! Да и в настоящие дни... Нет, все же, согласитесь, размах нынче не тот. Не тот, говорю, размах.

Тео ступал по земле, где каждый камень был живая история.

”Государство Ирак имеет идеальные естественные границы, — спешит нас обрадовать географический атлас. — На востоке и севере горные хребты Армянского Тавра, на западе и юго-западе Сирийская и Аравийская пустыни, узкая полоска Персидского залива на юго-востоке”. И мы, понятно, радуемся за столь хорошо защищенную страну, которую в VI веке до нашей эры завоевали персы при Кире, потом персидцы, в IV веке до нашей эры Александр Македонский, в VII нашей — арабы, в XIII — монголы, в XVI — иранские севефиды и, наконец, турки-сельджуки, господствовавшие здесь четыре столетия. Будем исходить из исторической целесообразности. Ксеркс сравнял Вавилон с землей — так, может, без этого было никак нельзя? Может, это нужно было хотя бы затем, чтобы десять тысяч солдат Александра Македонского на протяжении двух месяцев убрали за Ксерксом мусор? Шестьсот тысяч человеко-дней, отданных приобщению к культурным ценностям прошлого.

*(А ты стал желчен, это никуда не годится.)*

Он шел, зажатый со всех сторон потными, завшивевшими людьми, и — спал. Гортанные голоса слились в монотонное жужжание. Когда намечался привал, его расталкивали. Все это называлось хадж, или паломничество к мусульманским святыням. До поры толпа текла единым потоком, но скоро поток раздвоится — один рукав уйдет севернее, на Кербелу, главная же людская река потечет дальше, затопит Неджеф и окрестности, после чего напор ее поубавится и, уже спокойная, обмелевшая, докатится она до Мекки и Медины.

Тео спал, безразличный к то и дело вспыхивавшим ссорам, ругани, потасовкам. Все чувства в нем притупились. Кровь, жестокости, смерть... бесконечные вариации на одну тему. Рано или поздно она должна была слиться с привыч-



ным "Сабах-аль-Хейр!" по утрам, с этим удушливым ветром, приносящим испарения Персидского залива, а с ними повальную лихорадку, со стрекозиным жужжанием многотысячной толпы. Порою где-то совсем рядом пробивалось *не то я не знаю, что с собой сделаю...* он разлеплял веки и видел тусклые пятна вместо лиц, и глаза сами смежались, вот так, спать, спать, а галлюцинации — с кем не бывает, хотя, если вслушаться, этот голос ему знаком, но то-то и оно, что вслушиваться неохота, когда тебя, на все махнувшего рукой, куда-то влекут другие, а куда — неважно, потому что ты и они давно превратились в одно целое, и твой голос это уже не твой голос, и твои пальцы уже не твои пальцы, а ноги, разве они не послушны общей воле, и это прекрасно, ибо не нужно ни о чем думать, несут тебя и несут, так проходят дни и ночи, что, в сущности, безразлично, достаточно не открывать глаза, и светлое станет темным, а темное, оно такое пуховое, укачивающее, спать, спать, кто это меня качает, кто катает в моей голове эти целуллоидные шарики слов, надо же, сколько их, разве могли бы они поместиться во мне одном, но я ведь теперь огромный, я река и теку во все стороны, вбираю в себя ручьи, что значит "чи", мои, конечно, все растворяется во мне, и я растворяюсь во всем, и эти шарики тоже, мы вместе переставляем ноги и хлюпаем по воде, отчего взлетают красные, желтые и зеленые брызги, стоит только крепко зажмуриться, ах нет, какие же это брызги, это поющие фонтаны в висячих садах Семирамиды, нет, в садах висячей Семирамиды, потому что все висело на ней, царица ведь носила одежду свободного покроя, и никто не мог сказать наверное, мужчина это или женщина, впрочем, ни то, ни другое, на твоих глазах она превращается в голубя, чтобы улететь из дворца прямо в бессмертие, ну вот, опять это страшное слово, прочь, прочь, — хочу бездумно нестись в общем потоке — куда вынесет, куда вынесет.

На кого уповать? — спрашивала себя Гита. — Иаков хром, а у меня нет больше сил. Я измучилась за эти полгода, совсем извелась. Что-то происходит, сердцем чую, творится неладное. Но что? Неужели тебе Голды мало? Господи, ты не допустишь такой несправедливости! Даже Иову воздалось за все его мытарства. Даже Иона провел во чреве кита только три дня... Упаси стадо твое от волков. Помогите беззащитным,

у которых нет, кроме тебя, другого заступника. Укрепи слабый дух мой, чтобы я чего не сделала над собой с отчаяния. Что тогда с ними станется?

*(Что тогда с ними станется?)*

Тео очнулся как от толчка. Его отнесло людским потоком к обочине. Перед ним уходила в небо крутая скала с рельефами воинов и диковинных животных. Над ними как бы парила гордая фигура царя, попирающего ногой простертого врага. Здесь же и другие пленники, сбившиеся в круг, как стадо, с обрывками веревки на шеях. И — надпись на древнеперсидском, эламском и вавилонском языках:

Объявляет царь Дарий:  
"Ты, который в грядущие дни  
Увидишь эту надпись,  
Что я повелел выгравировать на скале,  
Ничего не разрушай и не трогай.  
Позаботься  
Сохранить их в целостности".

Отсюда шла дорога через Керманшах и Вавилон, но он уже достаточно знал психологию человека, который все-прежде всего разобьет на куски то, что его просили "сохранить в целостности", и потому незачем было делать крюк, чтобы увидеть развалины некогда прекрасного города с его дерзкой трехступенчатой башней-зиккуратом, послужившим прообразом надгробия Кира, и "висячими садами" Семирамиды, и стреловидной главной улицей, которую даже полсотни гигантских крылатых львов не смогли уберечь для будущих поколений. "И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на этой земле страусы, и не будет обитаема и населяема в роды родов". Сбылось по реченному, и отворачивается взор от того, что есть прах и тлен. Но слабый человеческий голос...

Как это объяснить? Там целый город в руинах, под коими погребены тьмы тем, а есть еще в Междуречье красавица Ниневия, вернее была, ибо давно стерта с лица земли, а еще был древний Ур, родина Авраама, где поныне в гробницах можно увидеть остовы умерших царей и сопровождавших их в Эдем придворных, заживо замурованных в роскошных каретах, и стражников, схватившихся за свои копыя, как за соломинку, и даже арфиста в обнимку с истлевшим

инструментом... Во все времена религиозные фанатики измышляли способы медленного и возможно более мучительного изведения человека, после чего нарождались новые фанатики, чтобы извести прежних с еще большей изощренностью. Так повторяется из века в век, и всякий раз это страшно, ибо зло обнаруживает доселе неведомое обличье. И сейчас, пока ты стоишь перед этой двуглавой скалой, в гамбургском аэропорту взлетает на воздух самолет с заложниками, а на Филиппинах разорвавшаяся бомба по своему усмотрению подводит итоги конкурса красоты. Так как же все-таки получается, что из-за этих гор пушечного мяса, сквозь плотную кровавую пелену вдруг пробивается слабый человеческий голос? И отчего он, этот одинокий голос, молящий о помощи, ранит сильнее, чем сводка о сотне погибших?

*(...а у меня нет больше сил... совсем извелась...)*

Непреодолимо влечет этот голос. Потому ли, что откликнуться на него больше некому.

*(...нет, кроме тебя, другого заступника...)*

потому ли, что близится миг великого искушения, когда в самой истовой вере вдруг прорастает зерно безверия?

*(Укрепи слабый дух мой...)*

Не спать, не спать, слышишь, не спать!

Ночью прошел дождь. На крышах глиняных хижин с утра сушится жалкий скарб феллаха. Повеяло спасительной прохладой — надолго ли? Вчера парило. Зловонье стало нестерпимым. Глупцы! Они везут своих покойников из Ирана, Афганистана, Индии, везут неделями, под палящими лучами солнца, и все затем, чтобы похоронить их рядом с гробницей Али или Хусейна. Как будто пропуск в рай выписывают в Неджефе и Кербеле. Безумцы! Вы и для мертвых ищете протекции. Но что тогда сказать о властях, рассматривающих погребальную промышленность как средство оздоровления экономики? Это ли не тотальное безумие?

Скорей бы Неджеф.

Этой весной, кажется, ожидают наводнения. В Эд-Дивании он открыл газету и прочел о плохом состоянии инженер-

ных сооружений на Ефрате. В связи с этим автор статьи с заголовком—парафразом "И разверзнутся хляби земные и небесные" как бы между делом сообщал о том, что в 621 году, когда образовалось "великое болото" от Сук-эш-Шуях до Басры в результате прорыва ветхой плотины, персидский царь приказал распять за нерадивость сорок рабов.

На западном утесистом берегу Ефрата его пригласили к костру. Рыба отдавала дымком. В руках у него скоро остался заостренный колышек. Он смотрел на него, ничего не понимая, как вдруг в ужасе выронил. *Взгляните на острие! на нем запеклась кровь!*

В то утро, вспоминал потом мальчик-подпасок, Иаков был словно не в себе. Иезавель, принесшую еду из дома, против обыкновения не приласкал. Почему-то обозвал женщин дурами, что и велел дочери передать кому следует. Точных слов мальчик не запомнил, но разолился Иаков, как ему показалось, прочитав записку от жены. За завтраком был неразговорчив, разломил домашнюю лепешку, сказал, что сырая, и выбросил. (Лепешку съела овчарка.) Овец, сказал, погоним сегодня в распадок, а когда уже собрались, вдруг переменил решение. Ему, подпаску, наказал идти в распадок, а сам с частью гурта двинулся к Черной балке. Это мальчика удивило, потому что трава там чахлая, да и склоны крутоваты, только ноги ломать. Но спорить он не стал, а погнал стадо куда велели, с тем чтобы засветло вернуться в шалаш-временку. Часам к восьми он и вернулся, однако Иаков еще не пришел. Не пришел он и в девять. А около десяти собака пригнала к шалашу отару. Вот, собственно, и вся история.

Мальчишка, надо думать, не на шутку перепугался, но на ночь глядя бежать в город не решился. На рассвете же, не пройдя и шести стадий, он встретил подводу табачника, и они вместе свернули к Черной балке.

Когда Гиту разбудил настойчивый стук в окно, было начало восьмого.

— Гита! Беги скорее к Черной балке, там... там... Иаков!

Как ни странно, в ту ночь она спала очень крепко и во сне успела подумать, что этот стук — из того, почти забытого кошмара. Ей так хотелось досмотреть сон, что она не сразу вскочила. "Никак не могла ее добудиться", — рассказывала

потом всем и каждому сестра табачника. Когда же Гита вскочила, то сразу все поняла и через минуту уже сидела в таратайке. Табачник, правивший лошадей, точно язык проглотил, так ничего и не объяснил толком. Вероятно, до Гиты он успел с кем-то переговорить, потому что по дороге их обогнали две машины, полицейская и "скорая помощь".

За три дня Тео покрыл четыреста восемьдесят километров. Часть пути — на верблюде, но в основном — в лендловере американского представителя "Петролеум ойл", искавшего в пустыне нефть.

Ночевал он среди арабов-кочевников. Остерегаясь нападения, бедуины ночью костры не зажигают, и до рассвета палатку с грехом пополам освещал вонючий кизяк: шла азартнейшая игра в зернь. Ночи в Сирийской пустыне холодные. Под боком у игроков, отделенные от мужчин какой-то тряпичей, спали, тесно прижавшись друг к дружке, жены Абдуллы. Две из них достались ему, как двоюродному брату, без особых хлопот, согласно обычаю, а вот из-за третьей, Бесим, пришлось разругаться со всей родней. Тут вышла целая история.

Первый ее муж убил человека из племени анэзз, и так как у него не было пятидесяти верблюдов, чтобы уплатить родственникам убитого цену крови, то он перебежал с женой и двумя детьми к шаммарам, воспользовавшись священным правом убежища. Чтобы тебя взяли под покровительство, много не требовалось: достаточно ухватиться за столб в палатке шейха или, того проще, попасть камешком либо метким плевком в кого-нибудь из иноплеменников, сказав при этом "ана дахейлак" — я под твоей защитой. Но вот беда, закон кровомщения, он тоже освещен Кораном, и нет жизни убийце от родни погибшего, куда не переведутся в ней мужчины до пятого колена по восходящей и нисходящей линии.

С этой минуты и сам беглец, и племя, его приютившее, не знали покоя ни днем, ни ночью. Анэзз гнались за ними по пятам, не давая передышки. Редко когда удавалось, оторвавшись от погони, спешиться на ночлег. Обычно, выставив прикрытие, спали на ходу, вытянувшись на спине у верблюда и насунув ноги в висящий у него на шее мешок, дабы не свалиться. Стряпали тоже по-походному. Одна наездница

размалывала пшеницу на ручных жерновах, другая делала из муки тесто, подливая воду из бурдюка, притороченного к седлу, третья это тесто слегка запекала на небольшой жаровне, разогрев последнюю сухим верблюжьим пометом. Приготовленные таким образом сыроватые лепешки запивали молоком, которое мужчины исхитрялись надоить на ходу.

Так проходила неделя за неделей. Может, и обошлось бы, да только верблюды у чужака начал вдруг сдавать — не выдержал такой ноши. И когда он безнадежно отстал, настигли его преследователи. Набросили обидчику на шею агаль, сверзли наземь да и прикончили враз, на глазах у жены и ребятишек. А уж когда дело было сделано, Бесим смогла беспрепятственно нагнать своих — бедуины женщин и детей не трогают... Ну а через месяц Абдулла взял Бесим к себе в гарем третьей. Как же его отговаривали! Зачем тебе, мол, перестарок да еще с двумя спиногрызами. Такая обуза на шею. И потом кто не знает, что вдовы приносят несчастье? Абдулла покивал головой в знак согласия, выждал по обычаю тридцать дней, в продолжение которых лучше не прикасаться к вдовой стряпне, а как вышел срок, привел Бесим с детьми в свою палатку.

...Тео вполглаза смотрел, как они мечут кости, и молча отпивал из чаши прокисшее молоко. Бесим, перед тем как уйти за ширму, размочила для него в воде спрессованный шарик — один из последних оставшихся. Это было целое искусство: ввиду предстоящих голодных зимних месяцев женщины створаживали молоко, скатывали плотные шарики и высушивали на солнце — в таком состоянии они могли храниться сколько угодно. Искусство искусством, но пить это сейчас было довольно противно. Не зря, видно, так налегал он вечером на ароматный кофе, куда они кладут не то шафран, не то мускатный орех. Мыслями он был не здесь. Если бы не эта записка...

*(Так ведь она, наоборот, запиской своей выводила его из-под удара, ничего бы и не случилось, если б не...)*

Тут ниточка рвалась, и логические построения рассыпались, как карточный домик. Не хватало одного звена. Какого?

Он уже догадывался, что благодаря этому пустячному с виду колечку сцепятся намертво все обрывки цепи. И ты на-

зываете это пустяком? Да ведь это и есть альфа и омега всего происходящего.

*(Почему он с ней был так холоден в то утро?)*

Таратайка остановилась у самого обрыва, дальше надо было пешком. Медицинская бригада в полном составе сидела в машине. Из открытой дверцы доносилась легкая музыка. Шофер ощупал Гиту взглядом ценителя.

Они только начали спускаться в балку, как тотчас завидели неестественно белое пятно на траве. Под материей угадывались очертания человека. Двое в форме, капитан и сержант, производили замеры.

Ее не подпустили близко.

Сержант лишь отвел угол простыни, чтобы она опознала мужа. На всякий случай табачник обнял ее за плечи, но, вообще говоря, это было лишним.

Глаза закрыты. В лице ни кровинки.

Капитан выразил соболезнования. "Пока трудно сказать что-либо определенное, — поспешил он опередить ее вопрос. — Загадочная история". Он дал ей адрес, куда она сможет прийти за дополнительной информацией, и начал задавать вопросы, когда неподалеку вскрикнули. Они оба повернулись на крик. Это был сержант. Он стоял метрах в двадцати, у куста можжевельника, протягивая к ним обструганный колышек.

— Капитан, взгляните на острие! На нем запеклась кровь!

Капитан закашлялся, пытаясь сгладить досадный промах своего подчиненного. Расспросы он решил отложить до другого раза, когда будет более подходящая обстановка.

Носилки понесли к машине. Когда один конец завели вверх, чтобы рукояти попали в пазы специального отделения в задней части полицейского фургона, простыня немного съехала и обнажилось плечо. У Гиты перехватило дыхание. На правом плече у Иакова алело пятно величиной с детскую ладонь.

*(Это мираж.)*

Посреди бескрайних песков, посреди солончаков и рассохшейся, как змеиная кожа, земли — плескалось голубое озерцо, томно обмахивая себя пальмами. Двугорбый вер-

блюд, склонив голову набок, предавался медитации. Рядом стоял бедуин с осанкой библейского патриарха. Густые черные волосы обрамляла белоснежная куфия, собранная складками на затылке, долгополая белая рубаха была украшена у ворота золотой тесьмой. Темно-карие глаза шурились на яркое солнце. Смуглое морщинистое лицо. На вид за шестьдесят, хотя иной кочевник и в сорок лет смотрится стариком. В руках бамбуковая пика.

Остальные "сыны пустыни" сидели кружком в отдалении и лакомились сушеной саранчой, поджаренной в масле. Юноша с пробивающейся рыжей бородкой рассказывал сидящим о соседнем Бахрейне, где ныряльщики, зажав нос костяными рогульками и залепив уши воском, достают со дна моря сверкающий, как солнце, жемчуг. Ноги юноши были чем-то укрыты.

— Ты не узнаешь своего верблюжьего одеяла? — оборотился юноша к Тео. — Я украл его у тебя в пустыне Регистана. Помнишь, ты еще не мог уснуть оттого, что всю ночь выли шакалы. А я подполз к тебе, подражая крику шакала, и утащил одеяло. — Юноша по-детски улыбнулся при воспоминании о хитроумной операции. — Не огорчайся. Приходи через месяц на "базар шейхов" в Сук-эш-Шуюхе и выкупишь его. Я тебе задешево уступлю, клянусь Магометом.

*(Это сон.)*

Он припомнил "базар шейхов" в Сук-эш-Шуюхе. Оружие, холодное и огнестрельное, европейская мануфактура, восточные сладости. Горы товаров на деревянных помостах, ножки которых утопали в толстом слое соли — единственной панацее от полчища термитов. А вообще благодатный край. Тростниковые заросли вдоль реки. Финиковые рощи. Он тогда, помнится, залюбовался могучим деревом. Кажется, это была арабская акация. Тут же из-под земли вырос какой-то заморыш и стал услужливо объяснять, что это-то и есть знаменитое древо познания добра и зла. "Недавно один сумасшедший пытался его срубить, — скороговоркой сыпал навязчивый гид, показывая пальцем две глубокие зарубки на стволе и смущенно хихикая, как будто он и был тот сумасшедший. — Может, все бы повернулось тогда по-другому?" Чтобы отвязаться от него, Тео дал заморышу несколько монет.



Юноша продолжал улыбаться. Он протягивал ему зазубренную палочку.

— Ты мне нравишься. Вот, возьми. С ней тебя никто не посмеет ограбить. Только учти: если тебя спрашивают, куда ты держишь путь, никогда не говори правду. Арабы народ хитрый.

Юноша перевел взгляд на своих товарищей — они должны были оценить шутку, но за это время что-то произошло. Один из бедуинов вскочил с горящими зрачками и, выворачивая руку женщине, чье лицо было закрыто черным покрывалом — абайя, закричал: "Она опозорила наш род! Как старший в семье я должен убить ее!" Почти без замаха он ударил ее в грудь кривым ножом.

*(Горячечный бред.)*

— Так почему вы написали эту записку?

— Я же говорила, мне приснился в ту ночь очень плохой сон. Будто с ним что-то случится в Черной балке.

— И часто у вас бывают вещие сны?

Гита молчала, уловив сарказм и недоверие в голосе капитана.

— Задам вопрос иначе. Всегда ли после своих пророческих снов вы извещали мужа подобным образом?

— Как вы можете... — голос у Гиты дрогнул.

— Простите. Совсем задержали с этим делом. Газетчики телефон оборвали, вытягивают и вытягивают подробности. Припомните, пожалуйста, еще раз точный текст вашей записки мужу.

— Да что припоминать? Одна фраза и была: "Не паси сегодня в Черной балке, потом все объясню".

Капитан потер гладко выбритый подбородок.

— За каким тогда чертом он туда потащился! Простите. А может быть, дочка все-таки не передала ему эту вашу записку?

— Как же не передала, когда подпасок своими глазами видел.

— Видел, не видел... — Капитан все больше раздражался. — Выходит, что ваш муж потащился туда с единственной целью досадить вам, так?

По щекам Гиты потекли слезы.

— Ну, не надо, прошу вас, не надо.

— Это Велвл, я знаю... Просто он... он...

Капитан налил ей стакан воды.

— У Велвля алиби. (Гита сквозь слезы смотрела на него недоумевающим взглядом.) Вчера, — пояснил капитан, — около десяти утра Велвл пришел в городскую управу и попросил запереть его в камере. Он показал два анонимных письма, в которых ему грозили жестокой расправой. Когда Иаков... гм... словом, в это время Велвл сидел под замком.

— Значит, его дружки!

— Я понимаю ваше состояние, но боюсь, что вы превратно рисуете себе ситуацию. Скажите, вы слышали что-нибудь о... сатанистах?

Гита покачала головой.

— В Ираке, недалеко от города Хая, есть гробница Сеида Ахмеда Ар-Рафаи. Он умер в 1182 году, основав дервишский орден Рафаи. Члены этого ордена, а их, к сожалению, больше, чем нам хотелось бы думать, время от времени устраивают тайные радения. Доводя себя до экстаза посредством головокружительного верчения, они начинают наносить себе удары — ножами, кинжалами, заостренными кольями. Считается, что все они, подобно Сеиду Ахмеду, которого, по преданию, сам Али заговорил от холодного оружия, неподвластны смерти от ран... однако каждое такое радение для многих оказывается последним.

— Зачем вы мне это говорите?

— Затем что сатанисты, они же дьяволопоклонники, чей почерк сегодня уже достаточно изучен, мало чем отличаются от дикарей из ордена Рафаи. Впрочем, есть один нюанс. Сатанисты истязают других.

— Вы хотите сказать...

— Помните колышек, найденный сержантом?

Ночью они спали при свете. Гита боялась, что стоит ей погасить свет, как перед ней возникнет ревуший от боли Иаков в окружении демонов, вонзающих ему в грудь короткие дротики. Едва ли она видела когда-либо страсти святого Себастьяна, но картина, рисовавшаяся ее воображению, чем-то напоминала известный сюжет.

А еще у нее не шел из головы другой ее сон — о разграбленном храме и солдате, прижигающем ее мужу плечо горячей головней.

Она не решилась рассказать об этом своем сне капитану. Он бы все равно не поверил.

На кладбище было много людей, но она никого не видела. "Кто избежал смерти, тот не жил". Добрый рабби умел находить слова утешения. Придя домой, сели, как водится, на пол. Только сейчас она заметила, как неловко сделала ритуальный надрез на платье у старшей дочери. Сваренное вкрутую яйцо, символ нетленности сущего, лежало на тарелке. Кто избежал смерти, тот не жил. Ах, рабби, рабби.

Тео голосовал на шоссе. Голосовал, хотя вчера был свидетелем того, как водитель "форда", несшегося на огромной скорости, уложил из винтовки человека, который вот так же махал ему рукой на обочине. Положение у Тео было безвыходное.

*(Это же дикари, майор.)*

У него есть два дня. От силы три. Надо успеть, чего бы это ни стоило.

У него сильно кровоточили ступни. Двигаться не по шоссе было смертной мукой. Камни, камни, камни... Господи, откуда их столько? А, ну как же. Местные жители, кажется, любят рассказывать путешественникам, что при сотворении мира у ангела был мешок с камнями, которые он собирался разбросать по всему белу свету. На беду в мешке оказалась дыра, и чуть не все камни просыпались в одном месте — на территории нынешней Иордании... Горячие камни. Кому здесь хорошо, так это ящерицам.

Притормозил грузовик с солдатами. Кто-то начал открывать задний борт...

*(А его дело молча пристегнуть магазин и стрелять, стрелять, стрелять!)*

Тео продолжил путь пешком.

И вновь пришел в Палестину Новый год — праздник рождения деревьев.

В этот день, тридцать пять лет назад, было высажено тридцать пять миллионов саженцев по числу погибших в большой войне. В этот день сегодня высадят груши и яблони в Самарии, абрикосы и персики в Галилее, бананы и папайю

в долине реки Иордан, лимоны и грейпфруты в полосе Средиземноморья.

На столе стояли четыре чаши с вином. Белым — символизирующим зиму. Розовым — олицетворяющим весну. Красным — славящим лето. Смешанным красно-белым — напоминающим осень. Так, по обычаю предков, всегда делал Иаков. Так сегодня сделала Гита.

Она открыла Псалтирь и стала читать:

— Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на путях грешных, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет...

Дойдя до этих слов, она осеклась. Слезы, которые она так долго сдерживала ради детей, закапали на стол. После псалма надо было пригубить из каждой чаши. На это ее не хватило.

На подоконнике стоял цветочный горшок, куда Голда любовно высадила цикламену. Желтая цикламена...

...Когда Соломон стал царем, он взял ее за образец для своей короны. Спустя века завоеватель, разрушивший Иерусалим, унес корону из царской сокровищницы. И поникла тогда головой цикламена и сказала в печали: "Пока не воцарится опять на престоле сын Давида, пока не вернется в дом свой корона, стоять мне с опущенною головой". Так с тех пор и стоит поникшая.

Бедная Голда.

Близость границы чувствовалась во всем. Комендантский час в городах, затемненные окна, скелеты домов, умерших во время последней бомбежки. Могло быть и хуже. Например, в Ливане, где второй год выясняли между собой отношения исмаэлиты и друзы, правые христиане и левые палестинцы, "чистые" шииты и маронисты.

Судя по тому, что убивали они друг друга в самых разных комбинациях, отношения эти по сей день оставались невыясненными.

А жизнь шла своим чередом, то есть левые правели, а правые левели, предавались вчерашние союзники, покупались завтрашние друзья. И кому бы пришло в голову упрекнуть чье-либо правительство за беспринципность? Разве

можно осуждать женщину за то, что она отдается тому, кто больше платит?

Разматывалось шоссе. Редкие оазисы — все та же фата-моргана. Куда реальнее были эти палестинские беженцы, разбивавшие табор под открытым небом. Затравленные глаза женщин, вздувшиеся животы детей. Одежду они носили не снимая, пока та не расплзлась по швам. Ходили упорные слухи, что Сирия, изгнавшая недавно палестинцев, построит на своей границе с Ливаном стену, чтобы воспрепятствовать их возвращению. В стене этой, поговаривали военные, будут спрятаны самострелы, чрезвычайно удобные в стрельбе по живым мишеням.

Интригующие, как загадки сфинкса, выросли вдали развалины грандиозных оросительных сооружений времен Римской империи.

Позади уже Амман, древняя столица аммонитов. (*Аммонитянина звали Иаков.*) На площади Фейсала, перед входом в модный отель, чье название перебрасывало мостик в III век до нашей эры, когда город носил имя египетского фараона Птолемея Филадельфа, красавец черкес — живое напоминание о русско-турецкой войне — громогласно подтверждал толпе зевак, что конец света, назначенный на 22.30, ни в коем случае не отменяется. Какая-то женщина робко спросила его, гладить ей теперь или не гладить выстиранное белье. Пророка увезли раньше, чем он успел разрешить ее сомнения. Вдвойне досадно, что за неимением психолечебницы беднягу увезли в городскую тюрьму.

Нет ничего мертвее Мертвого моря. Даже птицы стороной облетают этот гиблый край. Случайная рыба, занесенная сюда течением Иордана, через день-другой выбрасывается волной на берег, просоленная и окостеневшая, как сушеная вобла. Дух зла, Ахриман, казалось, витает над проклятым местом.

Он смотрел на неподвижную гладь и

*(И прошёл Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сих, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произ-*

*растания земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом.)*

и не мог представить себе ни городов, некогда здесь стоявших, ни людей, города эти обреших на гибель своим неразумием. Три тысячелетия миновало с тех пор. Патриархальные деревеньки превратились в мегаполисы. Но разумнее ли стали люди? Праведнее ли? Теперь уж не спросишь того безумца на площади Фейсала, каким ему видится конец света. Быть может, таким вот Мертвым морем, в котором, как в колбе, будет плавать засоленное человечество? Только уже не будет Лота, чтобы выпросить у бога спасение для себя и своих...

**(ТЕПЕРЬ Я ВИЖУ, ЧТО ТЕБЯ НЕТ, БОЖЕ! НЕТ! НЕТ! НЕТ! А ЕСЛИ Б ТЫ БЫЛ, Я ПРОКЛЯЛА БЫ ТЕБЯ! СЛЫШИШЬ? ПРОКЛИНАЮ ТЕБЯ НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ!)**

У Тео упало сердце.

Долина Иордана, сады, апельсиновые рощи... Мимо, мимо...

Хирбет-Кумран, пещеры с осколками жизни ессеев... Мимо...

Иудейская пустыня... Мимо, мимо, мимо...

Монастырь Феодосия Великого, V век... Мимо, мимо...

Пилигримы, спешащие в Иерусалим, где трубят роги на подступах к храму господню. Но нет праздника на лицах идущих, ибо тьма великая пала на землю.

*(С чем сравнить тебя, дочь Сиона? Кто может исцелить тебя? Пророки твои провещали тебе пустое и ложное. Как одиноко сидит город; он стал, как вдова. Все это — за грехи лжепророкое, за беззакония священникое, которые проливали здесь кровь праведников, бродили, как слепые, по улицам, оскверняясь кровью...)*

Сокрыла тьма гранитную скалу с оттиском ступни сына человеческого. И дворик, где римский наместник пытал, что есть истина. И сад, еще не забывший того поцелуя.

Мимо... мимо... мимо...

*(А ведь мог успеть, сядь я тогда в армейский грузовик.)*

Все — ложь.

Все, кроме тонущего, который зовет о помощи.

*(Всем святым заклинаю, именем сына твоего, сделавшего здесь свой первый вздох...)*

Ты солживил, нагой философ, и даже могучее дерево отказалось взять тебя под свою защиту. Истина не безразлична к страстям: человеческим.

И вот — Вифлеем! Как долог был путь к тебе, как безрадостен. Но что сравнится с крутизной этого последнего подъема? Сто восемьдесят пять дней и ночей и все это — чтобы увидеть...

Каким же ярким было видение — он сразу узнал горбатый проулок, и куст шиповника со сломанной веткой, и эту выщербленную калитку. Во дворике толпился народ, но когда он подошел, все почему-то расступились, давая ему дорогу.

Старшая. Дичок. Из угла волчонком. Младшую, наверное, к соседям. Бабий причт из дальней комнаты. Свет в раскрытые окна. Сколько их тут. Сидят, раскачиваются. Иеремиды. А где же... Вот она какая. Простыня до подбородка. Неестественный румянец. Это с какой же силой должно было захлестнуть горло. Закрыли. Взгляд в одну точку. А сколько их. Все засижено мухами. Правый глаз бликует. Линза. Вот и конец. Все имеет предел. Даже долготерпение женщины. Ничего ты не выстоишь. Мертвые на вопросы не отвечают. Вопросы, вопросы. Это тебе в наследство, вместе с проклятьем. Удел кунктаторов.

Он вышел из дома. Идти было некуда — сюда он опоздал, э т и м уже не помочь, остальное же человечество, кажется, прекрасно обходится без его помощи. Ноги сами несли его куда-то, редкие прохожие сторонились. Так он шел с полчасика, пока не почувствовал за собой хвост. Это была Иезавель. Она нагнала его, и они пошли рядом.

— А я тебя сразу узнала, — заявила она с ходу. — Он мне про тебя часто рассказывал.

— Кто? Иаков?

— Велвл. Он говорил, что ты обязательно придеешь, когда все станут добрые.

— Ты... ходила к Велвлу?

— Каждый день. Только сегодня не велел — чтобы я ему не мешала готовиться. А ты меня возьмишь с собой? Я уже

не боюсь боли, — не веришь? Смотри. Вот ! — Девочка задрала подол платья и показала ноги в сплошных кровоподтеках. — А еще вот... и вот... и вот! — Она с гордостью отгребала рукава, демонстрируя синяки и ссадины.

Тео онемел.

— Первый только раз было очень больно. Но Велвл сказал, что правильно, так нам и надо, потому что все мы, начиная с Евы, злые и подлые. И поэтому мы должны радоваться, когда нам больно делают. Будто нам приятно. И когда ты увидишь, что мы совсем исправились, тогда ты всех людей простишь. Правда, простишь?

— Он взял тебя силой, да? Он истязал тебя? Бедная ты моя... Но почему ты продолжала туда ходить? Он тебе угрожал? Ты боялась послушаться?

Огромные глаза Иезавели еще больше округлились.

— Разве то, что он мне делал, нехорошо? Но мне же это нравится. И мне, правда, уже не больно. Ни капельки. Велвл сказал, что мне теперь не страшно будет умереть, потому что я исправилась.

— Твоя мать ничего про это не знала?

— Нет. Я же была сначала злая. Но вчера Велвл сказал, что я стала доброй и могу ей открыть все секреты.

— Секреты?

— Ну да. Про то, как я к нему ходила, и про Голду, и про Черную балку...

— Постой-постой! При чем тут Черная балка и тем более твоя сестричка?

— Так записка-то у меня была. А Велвл прочитал ее и уголок с "не" оторвал. Если, сказал, ничего не сорвется, ночью душа твоего несчастного отца покинет эту грешную землю.

— И ты... ты отнесла отцу такую записку?

— Разве его душа не прилетела к тебе?

Тео тряхнул головой, но наваждение не исчезло: лицо девочки раздувалось у него на глазах, как капюшон кобры.

— А Голда? — только и сумел выдавить он из себя.

— В Голду вселился дьявол. Он даже говорил ее голосом. Но Велвл пообещал выгнать его, если я ему точно опишу, где стоит ее кровать. Жаль, что она у нас все время молчит. Наверно, ей горло обожгло, когда дым изо рта вы-



ходил. Я тогда проснулась и все-все видела! Видела!

*(Я, конечно, сплю, но даже для сна это уже чересчур...)*

— И про все это ты вчера рассказала матери? — Он старался не встречаться с ней глазами.

— Да. Только она не так все поняла, потому что она... потому что... — Впервые голос изменил ей. Она смотрела на того, кому предстояло сейчас решить ее судьбу, но Тео глядел куда-то в даль.

Они уже давно брели по совершенно голому полю. По ногам бил ветер. Солнце напоминало ацетиленовую горелку.

— Возвращайся, — сказал он. — Уже поздно.

Иезавель молниеносным движением вложила ему что-то в руку и побежала.

— Подожди! — спохватился он. — Ты сказала, что Велвл сегодня готовится...

— Ага. К нему должен приехать один тип. Какой-то Мессия.

Когда она скрылась из виду, Тео машинально разжал кулак.

На ладони лежало серебряное колечко.

Тео сидел на большом валуне. Силы вконец оставили его. Все, сказал он себе, ничто не заставит меня подняться. День клонился к закату. Тени растягивались на земле, привычные к жесткому ложу. Колдовская пора сумерек вступала в свои права, прибежище тишины и фантазии. Чу! слышите?

*(Зачем ты убил ее?)*

(Разве это я ее убил? Ты ошибаешься, во власти ли автора убивать своих персонажей, да и как может смертный распоряжаться судьбой бессмертных?)

...Взошла луна. Запели цикады.

Тео думал: какой ветер разнес по земле семя зла? есть ли еще место, где не проросло оно, глуша все живое?

С м е р т ь — прошелестело спасительное слово.

А что если он прав, этот высохший философ, подумал Тео, и я всякий раз ищущ смерти, ищущ среди гибнущих, вымаливаю среди истязаемых — ищущ и не могу обрести...

Непонятная эпоха.

Эпоха финиковых крыс, которые не едят фиников.

Вся жизнь уместилась между вдохом и выдохом. Вдох — рождение, выдох — смерть. А что в этом коротком промежутке?

Он вспомнил:

...Во время оно отпал некий ангел от веры и в наказание был отослан на землю. И был ему приказ: не возвращаться, доколе не принесет с земли то, что искупит все грехи человеческие.

И вернулся ангел с каплей крови, пролитой солдатом за свою родину. Велика была цена той капли, а все же отослан был ангел обратно.

Во второй раз вернулся ангел с последним вздохом матери, пожертвовавшей собой ради своего ребенка. Огромной сочли цену того вздоха, однако опять пришлось ангелу отправиться на поиски.

Совсем он уже было отчаялся, но тут, пролетая над землей, увидел он палача, занесшего топор над своей жертвой. Вдруг что-то в глазах жертвы остановило руку убийцы. Опустил он топор, и ангел увидел, как слеза скатилась по его щеке.

С этой слезой вернулся ангел на небо, и был прощен, потому что если что и спасет людей, так это слеза раскаяния...

А еще он думал: Мне нечего больше дать вам, люди.

(Стоит ли тогда покидать свою горную обитель, ведь это, ты прав, ничего не изменит.)

*(Но это мои угодья, и я здесь лесничий.)*

(Похоже, ты на что-то надеешься.)

*(Ты, кажется, улыбнулся? Ты просто бежишь счастливой развязки, как черт ладана, но втайне ты уже давно подзреваешь, что нет ничего труднее такого финала, труднее и благороднее. Я оставляю тебя одного, точнее, наедине с чистым листом бумаги.)*

(Ты, что же, уходишь?)

*(Пора. Впрочем, до рассвета еще далеко, у тебя будет время поразмыслить.)*

С этими словами Тео встал и тронулся в обратный путь.

1981

## ПАСТОРАЛЬ



...и осталась она за маревом  
за взлетающей птицей с отмели...  
Как глаза в глаза — два окна  
Как слеза со дна — на щеке  
Как смеется смерть  
Как ликует боль  
Как постель к утру холодна  
Как река чиста налегке  
И за маревом...  
Птицей с отмели...



И вот они, осколки лун —  
Оранжевые стекла в лужах.  
Угрюмой тенью, неуклюже,  
Бредет по городу колдун.

Осатанелые деревья  
На судорожном взмахе крыл  
Роняют сломанные перья  
На покалеченный настил.

Идет троллейбус ниоткуда  
В обыденное никуда.  
Петляют в лицах города,  
И в каждом кроется Иуда.

Из дома выжитый старик  
Бормочет: "Бога нет... Он умер..."  
— И только бесконечный зуммер  
Завис над городом, как крик.

●  
А они — считали, что время пустяк.  
А они — любили зеленый снег.  
А они — плакали просто так,  
Измеряя по нотам век.

А они — взлетали стихами с листа.  
А они — прожили свой век во сне.  
А они — в очередь у креста,  
И каждый с крестом на спине.

●  
Осень,  
в еловые шишки прячутся звуки твои.  
Медленно-медленно наплывают на землю листья,  
прижимаясь холодными лбами к асфальту.  
Облачные странники, пришельцы из детских миров,  
тихо улыбаются,  
прикрывая собою солнце,  
оставляя нас без времени.

А мы  
бьемся о хрустальные лепестки воздуха  
и даже не слышим,  
как хрустят под ногами  
осколки.

●  
Двадцать минут отделяют от нас рассвет.  
Ветхие спины заборов склонились под тяжестью ночи,  
а может — времени.  
Дома прижались друг к дружке — наверное, так теплее.  
Мостовая досыпает последние минуты,  
а деревья —  
молятся, обратившись к востоку.  
Первый троллейбус нехотя вскарабкивается на гору  
и застывает в удивлении над городом.  
Еще секунда, — и...

## НОЧЬЮ В КАРАУЛЕ

## 1

Второй час ночи. Вся свободная смена караула спит. Не спит только начкар старший прапорщик Закирко, он же старшина роты. Через каждые двадцать—двадцать пять минут на его столе звонит телефон: "Товарищ старший прапорщик! За время несения службы происшествий не случилось. Часовой такого-то поста (номер поста) рядовой такой-то (фамилия)". — "Хорошо, хорошо! Будь внимателен", — говорит Закирко каждому из них.

Вообще-то старшина роты в карауле — большая редкость. Он, ротный и замполит ходят начкарами только по большим праздникам (1 Мая, 7 Ноября, День Конституции), на так называемые "усиления". Потому что происшествие в обычный день — это полбеда, а на "красный день календаря" — совсем беда. Так повелось.

Но сегодня был самый что ни на есть обычный день, а если и праздник, то разве что какой-нибудь забытый, религиозный. Говорят, раньше что ни день был, то какой-то религиозный праздник. Святых много было.

Караул ломал головы: и чего это Закирко начкаром пошел ни с того ни с сего. Сошлись на мнении, что с женой поругался. Потому и порядок сегодня был, вовремя часовых меняли, постоянно с постов докладывали, боялись старшину.

Караул охранял колонию усиленного режима. Солдаты, характеризуя такую свою службу, на дембельских альбомах писали: "Два года в железных тисках Феликса".

Закирко сидел в комнате начальника караула, где под его охраной находилось оружие, и уже начинал клевать носом. Надо разбудить кого-нибудь из сержантов, подумал он. И тут вдруг нос старшины почувствовал легкий запах дыма сигареты. Кто-то в карауле курил. Старший прапорщик удивился. За двадцать лет службы он привык, чтобы его слушались. Ведь он русским языком вчера всем сказал, что бросил

курить! Ведь предупредил же: не дай Бог кто в карауле закурит! Неужели нельзя сутки потерпеть? Курили либо в сушилке, либо в спальном помещении. Закирко не стал разбираться и поднял в ружье весь караул.

Включился "колокол". "Караул, в ружье!" — громовым голосом, стряхивая сон и с себя, заорал старший прапорщик.

Через считанные секунды караул, похватав автоматы, уже стоял во внутреннем дворике. Зная склонность старшины к подобным "проверкам боеготовности", многие солдаты на ночь даже не снимали сапог.

В свете прожектора Закирко прошелся перед строем. Он тянул, накаляя обстановку.

— Какая-то свинья, — наконец грозно начал он, — нарушила мой приказ и только что курила в карауле. Мало того, что ему наплевать на здоровье начальника караула, он не бережет еще и ваше здоровье, отравляя всем чистый воздух!

Ну, последнее Закирко зря сказал. Солдаты тут украдкой не могли не улыбнуться. Все знали как по-черному до последнего времени курил старшина, как в его каптерку невозможно было ступить — хоть топор вешай. Но возражать, естественно, никто не рискнул.

— Сейчас, — продолжил Закирко после некоторого раздумья, — всем поставить на место оружие и, минута времени, строиться в коридоре с полотенцами. Бегом-марш!

— Бегом-марш! — продублировали команду сержанты, помощники начкара, подгоняя караульных и надеясь таким способом избежать общей участи.

— Сержантов это тоже касается! — рывкнул на них старшина.

Делать нечего, строиться так строиться. Только вот за чем полотенца, никто не мог понять.

Через минуту все стояли в одну шеренгу в коридоре караульного помещения. У каждого в руке — белое "вафельное" полотенце.

Закирко посмотрел на часы, засек время.

— Пять минут — разогнать дым в карауле, — властно изрек он и ушел в свою комнату.

То, что он ушел, следовало понимать, что сержанты прощены и им нужно только проконтролировать выполнение приказаний. Сигаретный дым, понятно, уже совсем и не чувствовался, но послушаться старшину было невозможно, даже

”дедам”. Это все равно что броситься под танк... Все принялись махать полотенцами. ”Деды” — меньше, нехотя, в шутку стегая полотенцами молодых. Молодые — больше, усердно работая, как пропеллеры.

— Сержант Фролов, ко мне! — донесся голос Закирко из комнаты начкара.

Все одновременно посмотрели на Фролова. Фролов прослужил год и был по армейской иерархии ”черпаком”. ”Пахать ему еще надо”, — сказал недовольно один из ”дедов”.

Фролов как был, с полотенцем в руках, пошел в комнату начкара. Открыл дверь. Учитывая настроение старшины, хотел доложить по Уставу. Поскольку был без пилотки, вытянул руки по швам.

— Товарищ старший прапорщик, сержант Фролов...

— Брось, Миша! — как-то печально сказал Закирко. — Заходи, садись.

”Ну точно, с женой нелады”, — подумал про себя Фролов.

Фролов был единственным человеком в роте, имевшим высшее образование и одним из самых старших по возрасту — ему было двадцать три года.

Сержант закрыл дверь и сел на кожаный диван. Посмотреть прямо в глаза старшине он не решался.

— Ты считаешь, Миша, я поступил несправедливо? — как будто продолжая какой-то давешний разговор вдруг спросил его Закирко.

Фролов потерял дар речи. Старшина Закирко — гроза всей роты, неопикуемый самодур — интересуется его личным мнением! ”Да, товарищ старший Баран! Ты по своей прихоти заставил мучиться без курева весь караул! Тебе было скучно сидеть одному ночью и поэтому ты поднял по тревоге всех! Ты заставил взрослых людей, как мартышек в цирке, махать полотенцами! И еще ведешь разговор о какой-то справедливости...” — такая обвинительная речь пронеслась в голове Фролова, глаза неосторожно блеснули.

— Я не знаю, — вслух сказал Фролов, что уже было достаточно дерзко.

Закирко встал, молча походил по комнате. Деревянный пол скрипел под его грузной фигурой. Затем он резко открыл дверь и выглянул в коридор. Все сразу еще быстрее замахали полотенцами.

— Отбой! — сказал старшина. — Всем спать!

Караул, облегченно вздохнув, пошел в спальное помещение. Фролов посмотрел на часы и крикнул в открытую дверь: "Вторая смена — приготовиться!" Ему через несколько минут нужно было производить смену часовых.

Закирко оглянулся.

— У тебя сейчас смена? — недовольно спросил он.

— Да, товарищ старший прапорщик.

— Хорошо, веди смену. Поговорим после.

"...твою мать! — сматерился про себя Фролов. — Когда же я спать-то буду?"

— Вторая смена, строиться! — это он вслух.

Во внутреннем дворике смена зарядила автоматы и в колонну по одному пошла за Фроловым по периметру зоны. Едва захлопнулась массивная железная дверь, отделяющая территорию караула от запретки, как все разом закурили. Помянули недобрым словом старшину, впрочем — почти беззлобно.

— Стой! Кто идет? — звонкий голос с первой на пути вышки.

— Помощник начальника караула со сменой! — скороговоркой ответил Фролов.

— Помощник начальника караула, ко мне, остальные — на месте!

Но никто, разумеется, не остановился, вся смена привычно продолжала идти. И сам часовой на вышке не вдумывался в произносимые им слова: "остальные — на месте". Когда изо дня в день, из месяца в месяц ходишь на один и тот же пост и ничего, абсолютно ничего не случается, возможно и не такое. Однажды Фролов на окрик часового "Стой! Кто идет?" громко и членораздельно сказал: "Зэк из седьмого отряда!" — "Помощник начальника караула, ко мне, остальные — на месте!" — последовал обычный ответ часового, просто не поверившего своим ушам.

Поменяв часовых на первой вышке, Фролов повел смену дальше. Вдоль высокого забора тянулись ряды колючей проволоки, через одного горели старые фонари, контрольно-следовая полоса (КСП) была столь запущена, что даже слон, наверное, не оставил бы на ней следов.

Довольно часто Фролов задумывался, как бы поступил он, если бы на его глазах побежал через запретку зэк. Каждый раз, заступая в караул, командир роты или замполит



зачитывали им "ориентировки": там-то и там-то совершен побег, эки сделали подкоп, ползли под белой простыней по снегу, чуть не улетели по воздуху на самодельном вертолете... И везде: убит часовой, убит часовой, убит часовой... Ножом, заточкой, стрелой, пулей... Как здравомыслящий человек, к тому же имеющий за плечами опыт года службы, Фролов, разумеется, сомневался в подлинности большей части этих "ориентировок": откуда каждый день так много трагических происшествий? Почему все эти происшествия случаются где-то очень далеко? Почему за редким-редким исключением спокойно в многочисленных соседних зонах? Не потому ли, что там служат земляки, с кем ты вместе призывался и с кем можешь встретиться в санчасти, на стрельбище, на каких-нибудь сборах и узнать правду? Но все же и эти "ориентировки" день за днем, по капле пробуждали ненависть к заключенным. Поэтому Фролов так и не смог прийти к однозначному ответу, будет ли он в случае чего стрелять... Все будет зависеть от обстоятельств, думал он, а вообще-то — не дай Бог!

Поменяв последнего часового, Фролов закурил еще одну сигарету и посоветовал старой смене накуриться, пока не пришли в караул. Рассказ о полотенцах рассмешил старую смену. Они оказались как бы в привилегированном положении — их-то тогда не было в карауле! "Ничего, — успокоил Фролов, — Закирко и для вас что-нибудь придумает!"

Снова массивная железная дверь, вход в караул. Звонок. Лязгая, автоматически открываются двери. В сторону пулепоглощающей стены смена разряжает автоматы.

Старшина стоит возле клеток с собаками. Кормит их, что ли?

"Может, забыл про меня? — с надеждой думает Фролов и проскальзывает в спальное помещение. — По графику у меня сон. А то, что он сказал "поговорим после", можно понимать по-разному. Например — "поговорим завтра"... Буду спать!"

Фролов снял сапоги, расстегнул две верхние пуговицы "хэбэ", ослабил ремень и повалился на свободную кровать. Минуты две он пролежал с открытыми глазами, все было спокойно. "Ну, слава Богу", — подумал сержант и уснул.

— Товарищ сержант, товарищ сержант! — кто-то из молодых в темноте тряс за плечо Фролова.

— Чего тебе, сволочь, надо? — зло спросил разбуженный Фролов.

— Товарищ старший прапорщик тебя вызывает!

Фролов посмотрел на часы, на светящийся циферблат. Как тут было не заматериться: он проспал только десять минут! Но делать нечего. Обулся, застегнулся, протер глаза, пошел по ярко освещенному коридору в комнату начкара. На этот раз докладывать не стал. Заглянул в дверь, с порога спросил:

— Что-то случилось, товарищ старший прапорщик?

— Да нет, Миша, — такое ощущение, что старшине неудобно, — вот поговорить с тобой все-таки хочу.

— Я к вашим услугам, — галантно ответил Фролов, польщенный уже тем, что Закирко испытывает неловкость от своего свинства — начкару-то спать днем.

Сержант опять сел на кожаный диван, но на этот раз смело посмотрел в глаза старшине.

Закирко нервно вертел в руках карандаш и, видимо, подбирал про себя нужные слова.

— "Что уж он такое у меня спросить хочет?" — удивленно подумал Фролов.

— Вот ты, Миша, институт закончил, — начал издали старшина, — наверняка много книг прочитал...

— Да ну уж, "много", товарищ старший прапорщик! — Фролов чуть не ляпнул "не больше вас", но вовремя спохватился, вспомнив, с кем разговаривает, так и обидеть человека можно...

— Много, много! — погрозил толстым пальцем Закирко. — Я знаю... Вот я и хочу тебя спросить... как грамотного человека... — Вновь наступила тягостная пауза, старшина все решался на что-то. — Ну, как это вообще... Вселенная устроена?

Как не расхохотался, не заржал Фролов — уму непостижимо! Он быстро отвел глаза, мелко затрясся от внутреннего смеха и сильно-сильно ушибнул себя за бедро, чтобы не взорваться. Его спасло то, что Закирко сам в смущении отвернулся к окну. Через несколько секунд Фролов немного уже взял себя в руки.

— А почему вы об этом спросили? — сказал он первое пришедшее в голову, чтобы еще несколько потянуть время.

— Сам не знаю, — все так же смущенно ответил старший прапорщик, — мне уже неудобно, сам понимаешь, спрашивать книжки в библиотеке. Вот я и подумал, поговорю лучше с тобой.

— Теперь понимаю, — пряча улыбку, сказал Фролов, — и все же: что конкретно в устройстве Вселенной вас интересует?

По лицу Закирко было видно, что он уже пожалел, что затеял этот разговор. Непонятливый какой-то сержант...

И тут спасительно зазвонил телефон. Кто-то из часовых спешил продемонстрировать старшине свое рвение к службе. "Товарищ старший прапорщик! За время несения службы происшествий не случилось..." Закончив этот обычный доклад, часовой вдруг добавил: "Вот только зэк один подошел к забору и просил меня в следующий раз принести водку или одеколон".

— Какой участок? — нахмурился Закирко.

— Третий, товарищ старший прапорщик!

— Хорошо-хорошо, сейчас разберемся. Будь бдителен!

— Есть! — сказал часовой и отключился.

Старшина через коммутатор связался с дежурным помощником начальника колонии.

— Сейчас проверим. Виновного накажем, — заверил ДПНК.

— Совсем зэки обнаглели! — положив трубку, возмущенно сказал Закирко. По старой конвойной привычке слово "зэк" он произносил скорее как "зык".

Зэки часто заговаривали с часовыми. Многим солдатам это даже нравилось: скучно два-три часа стоять одному на вышке. Нередко зэки даже будили уснувших часовых. "Эй, солдат! — в таких случаях кричали они. — Не спи, замерзнешь!" Поэтому абсолютно ничего страшного в сообщении с поста не было. Просто для старшины был удобный повод замять предыдущий неловкий разговор.

Рассудив так, Фролов собрался уже ретироваться из комнаты начкара. Но Закирко его опять удержал, старшине теперь не терпелось поделиться какими-то воспоминаниями.

— Как я ненавижу зэков! — восклицал он, расхаживая по комнате. — И знаешь, Фролов, о чем я больше всего жалею в своей жизни?

— О чем? — автоматически спросил Фролов.

— О том, что ни одной этой мрази за двадцать лет пристрелить не довелось! — Закирко угрожающе расстегнул кобуру. — Хотя один раз была такая возможность...

— Расскажите, товарищ старший прапорщик, — попросил Фролов, делая вид, что это ему очень интересно.

Лучше не портить отношений со старшиной, подумалось ему.

Лучше одну ночь не поспать, чем потом до дембеля быть всегда крайним...

— Ты знаешь, что девять лет назад в нашей зоне была попытка побега с применением технических средств? — сурово глядя на Фролова, спросил Закирко.

— Ну так, в общих чертах... — дипломатично ответил Фролов, хотя этот случай командир роты и замполит в своих беседах с солдатами сделали уже хрестоматийным.

— Так вот, — уходя в воспоминания, сказал старший прапорщик, — я ведь тогда был на проверке в карауле... На участке, где промзона, два эка разогнали "КрАЗ" — и на забор! А мы с начальником караула как раз проверяли лосты, были в тот момент на втором участке. Слышим — сирена, сигнализация, и первый, и второй рубеж сработал... Бежим туда, а там эски уже одеяла на второй рубеж набрасывают! Часовой с вышки короткими очередями — тра-та-та-та! И все мимо. Эски растерялись, уже думают, то ли назад в зону бежать, — старшина в этом месте рассказа нервно выдернул из кобуры пистолет. — А я, я... не стрелял!

— Не смогли стрелять по живым людям? — понимающе-сочувственно спросил Фролов.

Закирко тупо посмотрел на сержанта и раздраженно закончил:

— Да пистолета у меня не было! Говорю же — с проверкой в карауле был. Начкар стрелял...

Последние слова Фролова окончательно разочаровали старшину. Глупый совершенно сержант, никчемный. И что он в нем нашел? Разоткровенничался...

— Иди спать, Фролов, — подчеркнуто официально сказал Закирко. Про себя подумал: надо будет завтра послать его отделение на ремонт склада, все равно толку от его высшего образования...

1990

## УТРЕННИЕ СНЫ

### КОНЕЦ ЭПОХИ

Утро уже, половина чего-то,  
След от лампы черен и гнут.  
В толстой книге упрямые готты  
К Риму белой дорогой идут.  
А до Рима немного, а Риму осталось немного,  
То ли до, то ли после рожденья Иисуса Христа  
В легких брошенных виллах закружится ветер с востока,  
Звякнет мелкий песок на античных, коварных устах.  
Но не дятел стучал, а, наверно, ворона накаркала –  
Обещала, смеялась и пела счастливая варварка –  
– Эй, сынок, погляди – впереди твой отец на коне!  
– Эй, сынок, погляди – позади враг в пыли и огне!  
А дорога светла, ни конца, ни начала ей нет!  
Только лента лежит да собака бежит. Только след.

### МЕЩАНСКИЕ МОТИВЫ

Этот дом никому не известный  
Сквозь деревья, сквозь время сквозил,  
А автобус был круглый и тесный,  
Он меня мимо дома возил,  
Вдоль по утру – косому спросонок,  
Вдоль по улице – шумной и злой,  
Выбираясь из уличных пробок,  
Долго кашляя в воздух сырой.  
Домик-башенка, дамы с тузами,  
Шаль да чай, да туман на дворе,  
На портрете с такими усами –  
Не жених и не муж – кавалер.  
Утром встанешь, глядишь на дорожку,  
Не приходит никто, никогда.  
Звякнет колокол, голубь к окошку –  
День прошел – суета, суета...

А из сада гитара некстати:  
"Не чинись, милый друг, выходи..."  
Но автобус все катит и катит,  
Перекресток у нас впереди.

## СЛОЖНЫЙ СОН

### 1

И жизни нет уничтоженной,  
И куст малиновый, сожженный,  
Пускает крепкие ростки.  
Пловцы собрались у реки,  
Своими робкими телами  
Весенними удивлены  
И тянут майки со спины.  
У города желанье ехать,  
Из окон — кофе, звуки смеха,  
Готов поспешный бутерброд,  
К природе двинулся народ,  
Где золотые одуваны  
Стоят, как русские Иваны  
Перед татарскою травой.

### 2

И небо стало шар воздушный,  
В разводах сизых от дыханья  
Того, кто сам сидит в канале  
И держит ниточку в зубах.

В полезном времяпровожденье,  
В сверкании воды и плавок  
Его одна лишь мысль тревожит —  
Чтоб голову не напекло.

Вокруг него кружатся люди,  
Внизу него ныряют рыбы,  
А впереди — простор и город,  
А сзади — пляж и детвора.

И от всесилія такого  
Он атлетически смеется,  
И упускает шар воздушный,  
И вечер быстро настает.

3

И сразу наступила тишина,  
И самолет с руки аэродрома  
Слетел, как бабочка. Мир разделился на  
Для тех, кто в небе, и для тех, кто дома.

И городок песчаный и жилой,  
Пятиэтажный, борщевой, компотный,  
Где кошки по утрам идут бесплотно  
К доверчивым хозяйкам на покой, —

Вот этот городок послеобедный,  
С расчерченными клетками жилья,  
Стучащийся в Господнюю переднюю  
Порхающими ножнами белья,

Вот этот городок, иду к итогу,  
Стал таять, словно сахар, понемногу.

И там, где был он и где вышел вон,  
Такое очутилось запустенье,  
Что лишь с космическим сращением ворон  
Могу сравнить подобное явление.

## ДИЧЬ

Около пяти вечера к дежурному районного отделения милиции поступило сообщение, что на втором дворе совхоза "Изобилие" только что убили забежавшего в поселок дикого кабана. Звонил управляющий. Начальник райотдела капитан Суматохин задумался. Немного поразмыслив, отложить ли до завтра или выехать немедленно, он решил ехать не откладывая, зная по опыту, что чем больше времени дать браконьерам, тем труднее будет найти концы и тем, значит, сложнее доказать что-нибудь.

Когда милицейский газик, потряся капитана, шофера и сержанта Сенина километров двадцать по проселкам, тормознул наконец у дома управляющего и капитан, войдя в дом, стал разговаривать с ним, опасения подтвердились. Уже двух часов, прошедших с момента звонка в отделение, оказалось достаточно, чтобы в патриотический порыв управляющего Хомкина вмешалось деревенское здравомыслие.

Правда, отказываться, что звонил он, Хомкин не стал, но путанно, сбивчиво, долго объяснял, что их там, возивших на тракторных волокушах солому к ферме, было много, несколько человек мужиков, все якобы бегали за кабаном, и кто именно убил — неясно.

— Может, Игнашкин? — спрашивал он у жены, которая почему-то раздраженно громыхала ведрами у открытой русской печи, собираясь вынести теплое пойло теленку и свиньям. Одета она была в выцветший синий халат поверх фуфайки и кирзовые мужнины сапоги — в то, в чем, очевидно, работала днем на ферме. Голова и плечи ее были мягко закутаны серой шалью.

— Игнашкин! — передразнила она мужа. — А ты видел? Ты сначала увидь, а потом говори! Сказали ему! Они говорят, что ты вон комбикормы ворует и продаешь, зерно домой тащишь, а ты, дурак, хоть бы мешок когда домой завез!.. Говорят они! Знаю я, кто это говорит!..

Капитану стало понятно, что Хомкин приворовывает,



конечно, но так, по мелочам, не как другие и разговоры, сплетни, возникающие в поселке, по масштабу явно не соответствуют его пригребу, что давно и справедливо возмущает жену, эту с головой ушедшую в домашнюю и совхозную работу женщину.

— Тю, дура! Ты по существу, по делу говори... Че ты будишь? — возмущался Хомкин, пряча за кухонный стол недопитую бутылку мутной жидкости. Визит капитана был для него полной неожиданностью. Дежурный отделения, разговаривая с ним по телефону, сказал, что рабочий день окончен, сегодня никто приехать не сможет. А участкового в этом совхозе давно не было.

— Может, Иван Анцыферов? — снова спрашивал жену управляющий.

— Может, Иван, а может, Демьян, — отвечала она, размещивая палкой пойло в ведрах и не глядя на него. — Ты за них не ответчик!

— Та не об этом же речь, — снова горячился Хомкин. — Как ты, ей-богу, не понимаешь! Дело это государственное, общее...

— Че же ты не звонил тогда, такой умный, когда прошлой зимой приезжали из города лосей убивать? Тоже вот здесь же у поселка убили.

— Дак то ж по лицензии, дура ты, — убеждал Хомкин, поглядывая на капитана и как бы говоря взглядами, что с нее, темной бабы, возьмешь.

— А лосям-то к а к а р а з н и ц а. Им от того не легче. По л и ц е н с и и, — передразнила его жена.

— Тьфу ты, глупая! — сплюнул Хомкин и даже слегка махнул в ее сторону рукой, мол и говорить с ней не стоит.

— Так кто же все-таки убил кабана, вы мне можете назвать конкретно, — теряя терпение, спросил капитан.

— Да как вам сказать, — тусклым, безнадежным, неуверенным голосом затянул управляющий, — там вить много было...

Знает, понял капитан. Называть не хочет. Ясно, что с женой у него на эту тему произошел уже разговор.

— Выходит, точно не знаете, — сделал вывод за него Суматохин.

— Да, точно не знаю, — облегченно выдохнул Хомкин.

— Тогда назовите всех, кто там был, — быстро сказал ка-

питан, вынимая из кармана блокнот.

— Та кто ж там был, — заморщил лоб управляющий, заморгал глазами и пальцем поскреб затылок. Он явно не ожидал такого вопроса. Жена, опустив руки и выпрямившись, уставилась на него. Хомкин, раздумывая, вопрошающе посмотрел на жену.

— По фамилиям называйте и адреса сразу, — заметив их растерянность, сказал, присаживаясь к столу, капитан.

— Называй, называй теперь, раз язык высунул, всех называй... И кума не забудь, он ведь тоже там бегал, — уничтожающе усмехнулась жена, с грохотом задвигая железную печную заслонку, и, подняв ведра, ногой распахнула взвизгнувшую дверь в сени.

Поехали по домам. Управляющего, понимая, что ему этого сильно не хочется, с собой не взяли. Да он был и не нужен уже. Зимние дни куцы, и сумерки незаметно сгустились во тьму, проглянули осторожные звезды, месяц ухмылялся над крышами села. Манил из окон сквозь тюлевые шторы и белые занавесочки электрический уютный свет.

— Безнадежное это дело, капитан, — вздохнув, сказал сержант Сенин. — Кабана они давно спрятали. Никто нам ничего не скажет. Здесь же свояков полсела. Сам вырос в деревне, знаю. Бил я этих кабанов...

— Ну тогда, когда ты бил, никто их не оберегал...

— Да. Всего, думали, хватит в России, — согласился сержант. — Сейчас вот не пришлось бы из-за этого одного здесь шарашиться. Подсчитать, так он того не стоит, сколько мы из-за него втроем проваландаемся. Бензин дороже.

— Да нет, давай, раз приехали, для успокоения совести в два-три дома заглянем...

Приходится только гадать, каким образом попал дикий, осторожный, недавно вновь поселенный в этих краях вепрь в этот браконьерский капкан. (По-видимому, это был молодой кабан, однолеток.) Стальная петля-удавка, соскользнув с головы, намертво затянулась на его вытянутой клыкастой морде, и все усилия несчастного животного освободиться от нее привели лишь к обратному: тросик продавил прочную шкуру, перерезал мышцы, сухожилия, тонкие кровеносные сосуды, нервы и остановил свое удушающее движение на обнажившихся костях нижней и верхней челюсти, стиснув

их наподобие намордника. Несколько дней и ночей мучился кабан на стальной привязи, оглашая глухой зимний лес неистовыми визгами, но никто не пришел выручить или добить его. Ни лесник, по причине огромности своего участка обходящий его не более двух раз в год, ни браконьеры, по причине пьянки и множеству наугад расставленных силков и просто забывшие об этом, ни волки, последний из которых был убит в здешних лесах лет десять назад. Наконец, утратив ощущение боли, кабан порвал трос, но порвал неудачно, коротко, и загнувшийся, расщетинившийся обрывок не дал петле ослабнуть, разойтись, освободить животному челюсти. И поэтому свобода не принесла облегчения кабану. Утихла физическая боль, но разгорались, терзали мучения голода, муки жажды. Зарывая в снег стиснутую сталью пасть, кабан сильно втягивал ртом воздух, а вместе с ним снежинки, которые быстро таяли на высыхающем языке. Так он с трудом утолял терзавшую его жажду.

Прошло еще несколько морозных дней и ночей, и зверь почувствовал, что гибнет от истощения. Да, много времени протекло с того страшного дня, когда петля захлестнула его и намертво затянулась на пасти. С тех пор ему не удалось съесть ни стебелька, ни сухого листочка. Силы покидали его. Стадо, которое он отыскивал в лесу, после того как разорвал трос, радостно приняло его, жалело, подолгу стояло при переходах, ожидая, пока он отдохнет, лежа под деревом, отыщет в теле силы для движения, жизни. Но и эти подспудные силы кончились.

И вот, наконец, сегодня истекли вторые сутки как кабан оставил родное стадо, почуввав близкую смерть, и бродил теперь в одиночестве среди голых стволов у замерзшего болота, а больше лежал, чуя в себе остывающую кровь, не способную уже растопить сквозь густую зимнюю шерсть место лежки в снегу. И вот, когда он ясно понял, что не лед леденит его обессилившие мышцы, а близкое дыхание смерти, равно страшной для любого живого существа на земле, он, кабан, выражаясь человеческим языком, о с о з н а л, что единственный его путь теперь, кроме смерти, к человеку. К недоступному, таинственному... Страшный для него путь.

И уже не раз он приближался в вечерней суете, или ночью, или на мгlistом рассвете к человеческому жилью, вдыхал его всегда разный пугающий запах, слышал голоса

людей, лай собак, разнообразные и непонятные звуки села, совхозного двора, видел яркий электрический свет фонарей, окон... приходил, перебарывая свой могучий звериный инстинкт, гнавший его назад, прочь... Но кроме инстинкта в нем уже было то, что в человеке, окажись он в таком положении, мы назвали бы, естественно, разумом, усиленным жаждой жизни или, если хотите, страхом смерти, то есть то, что по всем нашим наукам в нем быть не должно, быть не может. Но оно, это или нечто подобное ему, в нем было и именно это сейчас пересиливало, подавляло инстинкт зверя, из века в век чурающегося человека.

Кабан осознал уже, что это человек мучает его, заставляет терять силы, умирать с голоду, вынуждает покориться, подчиниться необъяснимой для кабана человеческой воле, и сейчас, ежесекундно ощущая эту его безграничную власть, он уже был побежден, сломлен, готов подчиниться, забыть свою гордость свободного и бесстрашного дикого зверя.

И вот сегодня на лютотом от мороза, розовеющем у горизонта темном рассвете, он, замерзая на лесной опушке, ощутил это так ясно, что из звериных глаз его потекли слезы, скатываясь с заросшей грубой щетиной морды, прожигая колючий снег.

Кабан вздохнул, с трудом поднялся на дрожащие тонкие ноги и долго, замерев, вглядывался ослабшим от голода взором в чернеющие на снежном насте человеческие постройки, обындевшие стожки и ометы на отшибе села, покрытые леденистыми шапками. Начиная заниматься безжизненный денек чуть оживляли круглобокие, острохвостные сороки, осыпавшие на кабана с морозных веток густой иней. Балансируя крыльями, распахнув веерами длинные хвосты, они ловко склевывали мерзлые, туго свернутые в почках, мелкие березовые листья.

Кабан услышал далекое фыркание трактора, потом увидел его, выползающего из-за дальнего увала. Трактор с прицепленными к нему санями прострочил ровное поле и застыл у заснеженных стогов. Густой звук двигателя вмиг растаял, и в мертвющей тишине зимнего тусклого дня раздалась приглушенные расстоянием человеческие голоса, смех, скрипы, постукивания...

Долетели еле улавливаемые искаленным носом кабана отвратительные запахи горячего металла и масла, соляра,

а вместе с ними сладкий запах созревшего соломенного сожженного нутра, разворошенного вилами.

Проламывая мерзлый шуршащий наст, распахивая исхудавшей грудью низкие, проткнутые почерневшими былками полыни и пижмы сугробы, брел, спотыкаясь и увязая в снегу, лесной вольный зверь к людям. Ему было чуть легче преодолевать ужас, переполнявший его звериную душу, идя к ним здесь, в свободном, открытом выдутном поле: они вроде сами наполовину пришли к нему в его, принадлежавшие ему с рождения, поля и леса.

Кабан приближался к людям издалека, видный на утреннем сером, слабо отражающем низкое мутное небо снежном лугу, шел, тяжело дыша, тяжело, из последних пропадающих сил...

И люди увидели его. Бросили работу, загомонили.

— Ты глянь-ко, Ваньк, мясо само к нам идет!

— Далековато...

— Ты посмотри, посмотри, он жа на нас прет!

— Эх, ружьецо бы!

— Да стрелять-то их, слиш-ко, нельзя...

— Нельзя, нельзя! Вот дурья башка!

А кабан приближался. И когда уже стало слышно, как скрипит под его копытами снег, и заметили слабые, спотыкающиеся шагки, потом различили и глаза, по-человечески вглядывающиеся в них, с вытянутой вперед узкой мордой, и когда он, наконец, подбрел и остановился в шести шагах от них, хрипло дыша, поводя дрожащей головой, всем вдруг стало ясно, что убить его можно.

Хищный охотничий азарт захлестнул отуманенный алко-голем человеческий разум, ослепил. Вздывая лопаты и выставляя вилы, люди бросились окружать кабана, отрезать ему обратный путь к лесу, к болоту, совсем не видя, что животное и само не стремится уйти, недоуменно разглядывая кривые, пугающе скачущие по снегу фигуры.

Первый удар кабан получил лопатой, дернулся от ожешей его вскользь по кости головы стали и, собрав меркнувшие остатки сил, повернул назад к темному лесу, разбрызгивая остывающую на лету кровь. Но путь был отрезан уже, и железные зубья вил с двух сторон вонзились в него, и он упал, вопя, на колени и, напрягаясь, скребя задними ногами мерзлоту, застонал. Волны слепящей боли потрясли его, он

еще раз в беспамятстве рванулся, разрывая мышцы, выламывая из озверевших рук вилы, но тут другие поспели, и еще пара ржавых вил врезалась в бок — под лопатку, в запавший живот, и тут последний живой крик его, сдавливаемый стальной петлей, согрел ледяное зимнее поле, дальний родной лес, болото, аукнулся и ударил по жилистым нервам людей, не пробудив в них отзвука сострадания, ничего, кроме ругани, отборного мата.

Перед его гаснущим взором дергались, мелькали, размазываясь, уродливые орущие тени, а потом черная горячая тьма накрыла, утопила... Кабан выдохнул сладкий земной воздух, вытянулся, затих. И вот тогда люди словно очнулись, глядя на неподвижное убитое кабанье тело, на еще живую, вытекающую из ран, изо рта на свежий снежок алую густую дымную кровь. Далекое чистое чувство вины и жалости запоздало дошло до них, и, чтобы затаить, погасить, скрыть его, они опять загомонили и, не глядя друг на друга, стали старательно очищать окровавленные вилы о белый молодой снег...

В первом же доме, куда они, капитан Суматохин и сержант Сенин, вошли, встретил их пьяный старик, вроде бы трезвая старуха и тоже пьяный не то сын, не то внук. Собразив, в чем дело, они торопливо, сбивчиво стали объяснять.

Выходило, что, хотя старик и сам был там и только что вот рассказывал об этом родным, ничего конкретно не знает, не может даже назвать точно фамилии, потому как там почти рядом проходит грейдер на соседнее отделение и оттуда тоже, оказывается, дважды за день приезжали рабочие за соломой.

На улице Сенин опять обратился к Суматохину:

— Плохо ты знаешь деревенских... Спорим на поллитра, даже на литр, что никто тебе никого не назовет... Дело гиблое. Поедем-ка лучше домой.

— Да, ты, пожалуй, прав. Расколоть их трудно. Сознательность еще не на высоте. Значит, кто у нас следующий? Аникин Иван, тракторист... где-то здесь он должен жить... Посвети-ка фарами на этот дом.

Дом был без номера.

У ворот маячила какая-то, судя по движениям, нетрез-

вая фигура, и, ослепленная резким светом фар, она замерла, заслоняя глаза рукой.

— Эй, подойди сюда! — крикнул капитан, приоткрыв дверцу машины. Пьяный неохотно подошел, более подчиняясь властности в незнакомом голосе, чем желанию. Узнав, что Аникин живет через дом, капитан и сержант пешком направились к нему, а газик, обогнав их, остановился прямо возле дома.

Дом Аникина был совхозный, типовой. Войдя в прихожую, служащую и верандой, Суматохин, чтобы не налететь на что-нибудь в темноте, включил фонарик, и они с сержантом почти одновременно увидели глядящую на них с пола отрубленную голову кабана. Рядом лежала и косматая кабанья шкура.

— На ловца и зверь бежит, — с удовольствием проговорил капитан, — А ты мне что говорил?

— Да, это называется повезло, — тоже обрадовался сержант, наклоняясь и разглядывая голову. — Свежая еще. И шкура сырая.

Вошли в квартиру. Первая комната была кухней. Вся семья — чумазый тракторист в майке, жена с грудным младенцем на руках, бабка в ситцевом платье и фартуке, девочка лет девяти — была в сборе. Сидели за столом. Ужинали. На черной большой сковороде исходила парком румяная картошка с чем-то, по-видимому, с мясом. Милиционеры поздоровались, пожелали, усмехаясь, приятного аппетита.

Первым пришел в себя сам Аникин. Выгнав семью из-за стола, он торопливо посадил капитана, который и без него искал, где присесть, одновременно вынимая из милицейского планшета чистый лист бумаги.

— Аникин, значит, Иван? Тракторист? Давно работаете в совхозе? — спрашивал Суматохин, начиная писать. — Как же вы кабана?..

— Да я его, понимаете, и не убивал, — как в общем-то и ожидал капитан, ответил Аникин.

— Не убивал? — переспросил сержант, — а люди говорят — ты...

— Вот чертов народ! — в сердцах воскликнул тракторист, — взглядывая на жену и бабку и как бы призывая их разделить с ним возмущение, — так его ж все били, вилами,

исколоти, а он, зверина, живучий... У меня в тракторе кувалдочка, так я его ей добил, чтоб не мучился. Ударил по голове, он и затих...

— Так-так, Аникин, значит, все били, а мясо у тебя, — указывая авторучкой на сковородку, произнес Суматохин, продолжая писать.

— Какое там мясо! Печень здесь, легкое... На нем же почти мяса нет... Дожлятина! Кости да жилы. Он ведь подышал... Я вам сейчас, сейчас покажу...

Аникин резво выскочил в прихожую, не закрывая за собой дверь, схватил голову кабана, втащил ее в кухню.

— Смотрите сами...

Милицionеры, взглядевшись, увидели узкую несвежую рану вокруг всей кабаньей пасти. Кость была видна в глубине старой раны.

— Это что? — разглядывая, спросил капитан.

— Шура, куда ты дела, что я снял отсюда?

Шура, жена, стоявшая все это время молча с ребенком в руках, встрепенулась, ожила и, сунув уснувшего младенца девочке, шастнула в прихожую. Через минуту она вернулась, неся в руках кусок проволоки. Это оказалась петля — обрывок стального троса, — уже изрядно поржавевшая. Суматохин повертел в руках кольцо, приложил зачем-то к пасти кабана, хотя и так было видно, что оно точно снято с нее. Страшный прорез на пасти принадлежал этому обрывку троса.

Помолчали.

— Да-а, — разочарованно протянул сержант, — повезло тебе, Аникин. Кабан, конечно, погибал. Жить ему оставалось немного. Зачем убивали-то? Его ж голыми руками брать можно было... Он к вам, пожалуй, за помощью шел. А вы бить скорей...

— Кто же, понимаете, знал... Я вот только дома разглядел.

— А что, другие жирные попадались? — не удержавшись, съязвил капитан и, не дождаввшись ответа, продолжал: — Вообще-то не мешало бы вас всех наказать, да ладно, считайте, что случай помог. Кабан, разумеется, не жилец был. Ему, может, и жить оставалось полдня. — Капитан скомкал на столе лист бумаги, спрятал авторучку.

— Петлю, голову, шкуру и тушу мы заберем. К о н-



ф и с к у е м, — по слогам, чтобы было понятнее, произнес он. — Где туша-то?

— В сарае она. Сейчас принесу.

Аникин внес темно-красную, начинающую замерзать тушку.

Была она длинная, тощая — выпирающие кости, обтянутые сухожилием, истончившимися мускулами, и непонятно было, что в ней можно было есть. Впрочем, одна задняя нога целиком отсутствовала.

— А ногу, что, уже съели? — спросил Суматохин.

— Да нет, отдал, попросили... — неопределенно забормотал Аникин, и капитан почему-то вспомнил Хомкина. Стало ясно, что большего из него не вытянешь.

— Ну ладно, неси в машину, — приказал капитан.

Все вышли во двор. Свет падал косо из открытой двери на снег (на веранде включили свет), рассеянно лил во двор из окон. Неба не было видно. Приглядывались. Наконец, уложив в машину части кабана, сели. Шофер, сразу включив дальний свет, вырулил на дорогу. Дома и дворы по сторонам чернели, спали. Белые сугробы вокруг сверкали в прыгающих лучах света.

— Ого, — сказал капитан, взглянув на часы, — опять раньше десяти домой не попадешь. Вот дьявольская работа!

— А что с тушей-то делать будем? — спросил Сенин.

— Да что с ней делать? Отдадим проводникам, пусть скормят собакам.

— Не будут собаки есть, — проронил молча руливший, вглядывающийся в дорогу шофер.

— Не будут? Почему не будут? — удивленно повернулись к нему Суматохин и Сенин.

— Потому что не будут. Зря забрали, — не глядя на них, повторил он. — Говорят, дичину собаки не едят. — И помолчав с минуту, добавил: — Собаки — они не люди.

Мотор ровно гудел, машину потряхивало на ухабах. Клонило в сон.

Далеко за полями в ночном безмолвии гнулись под тяжким снегом леса, пряча от человека в глухих дебрях все живое, что еще оставалось в них.

# КАРТА РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Юрий Разумовский

## КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН

1

Я жил в стране своей изгоем —  
И ни двора, и ни кола.  
Дружил и с голодом, и с горем,  
И позабыл колокола.

А ведь какие перезвоны  
Будили розовую рань...  
Теперь с тех звонниц лишь вороны  
Швыряют матерную брань.

1976

2

Я стал, как будто чище, выше,  
В родные звуки погружен.  
Хоть перед смертью я услышал  
Российский колокольный звон.

И на душе покой и ясность,  
И светлый звук поверх голов...  
Я лишь теперь поверил в гласность,  
Услышав глас колоколов.

1989

## ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Паровоз вздыхает паром белым —  
В инее он весь, как в серебре.  
Комиссар идет, и парабеллум  
У него танцует на бедре.

Пистолет сегодня без осечки  
Все свои патроны растерял:  
Только что он в роще — возле речки —  
Восемь офицеров расстрелял.

Были метки комиссара пули,  
Потому и весел он на вид —  
Он еще не знает, что в июле  
Сам он будет так же вот убит.

Грянет залп и смолкнет в поднебесье —  
Он падет, оплаканный дождем...  
Неужели я для равновесья  
В тот же день в июле был рожден?

...Паровоз вздыхает паром белым —  
В инее он весь, как в серебре.  
Нас везут на фронт, и парабеллум  
У меня танцует на бедре.

## В И Н А

Без конца и без края родная земля,  
Но, куда ни посмотришь, — везде лагеря.  
Не бывало, наверно, эпохи лютей,  
Где бы столько сгубили безвинных людей.  
Я бы мог вам сказать, что я тут ни при чем,  
Но Россия стоит у меня за плечом.  
Что отвечу я ей, как в глаза ей взгляну?  
Я пред ней без вины ощущаю вину.

Погибала страна — за напастью напасть:  
Расправлялась с народом "народная" власть.  
И людьми управляли, куда ни пойдешь,  
Только страх и бесправие, голод и ложь.  
Я бы мог вам сказать, что я тут ни при чем,  
Но Россия стоит у меня за плечом.  
И хотя за нее я прошел всю войну,  
Я пред ней без вины ощущаю вину.

В рабский труд беспросветный и в нищенский быт  
Человек, словно гвоздь, был по шляпку забит.  
И ложился он спать на голодный живот,  
Слыша речи о том, что всех лучше живет.  
Я бы мог вам сказать, что я тут ни при чем,  
Но Россия, как совесть, стоит за плечом.  
И, пока я у памяти горькой в плену,  
Я все время в душе ощущаю вину.  
Ощущаю вину... Ощущаю вину...

### ОГОНЬ ВЕРЫ

Рушится скит сожженный,  
Прядает в страхе конь —  
Дети, мужья и жены  
С верой ушли в огонь.

Дух несгибаем, ибо  
Вера — его сестра.  
Что ей палач и дыба,  
Что ей огонь костра?!

Сбросив, как образ глума,  
Никонову фелонь,  
Бешенство Аввакума  
С верой ушло в огонь.

В ярости дней тревожных,  
Страстью иной ведом,  
Я — записной безбожник, —  
Веру зову в свой дом.

Благословите, предки! —  
Вера, войди в меня!..  
Кто-то уж тащит ветки,  
Кто-то кричит: Огня!..

●

Портрет графически скупой —  
Под черной челкой профиль четкий...  
Судьба трагической рукой  
Стихов перебирает четки.

И все ж он врежется в века,  
И будет жить, кто б ни был против, —  
И в книгах, и в досье Чека,  
Ахматовский чужанный профиль.

### СТРИПТИЗ

Поэт, к откровенью стремись —  
Срывай все ненужное смело.  
Поэзия — тоже стриптиз,  
Но только души, а не тела.

### ПРИЗНАНЬЕ

Я в юности, признаться, был довольно глуп —  
Ничем не проявил себя, не отличился.  
Но, к счастью, глупостью своею не кичился  
И с восхищеньем не разглядывал свой пуп.

А глупость всюду выпирала из меня,  
Как из бинтов повязки выпирает вата,  
Одно и утешало, грех мой извиня, —  
То, что "поэзия... должна быть глуповата".

А впрочем, и стихам моим не повезло:  
Прошли года, — беззубая подкралась старость —  
И пушкинским словам, как будто бы назло,  
Одна лишь глупость — без поэзии — осталась.

## БАНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Что писать, коль сюжета оборвана нить, —  
Он любил, а она не любила.  
Он уехал затем, чтоб ее позабыть,  
А она его тут же забыла.

Это было, наверно, на дальней звезде,  
А быть может, поблизости где-то.  
Это было нигде, это было везде,  
Никогда и всегда было это.

## И Т О Г

Я жил, как раб, — всего боялся  
И, словно цепь, влачил года.  
И потому не состоялся,  
Как очень многие тогда.

К лицу ли истинным поэтам  
роль подпевалы, роль шута?..  
А впрочем, что теперь об этом —  
Жизнь прожита.. Жизнь прожита!

Виктор К и р ю ш и н

## СОЛОВЕЙ В ОСТАНКИНО

Потехе час,  
А время делу, делу...  
Но как-то раз, неловкость затая,  
В останкинской дубраве  
Поределой  
Средь бела дня  
Я слушал соловья.

Какие он откалывал коленца!  
Как ликовал,  
От песни сам не свой.  
И радуги цветное полотенце

Возникло вдруг  
Над вечною Москвой.

Пел соловей раскованно  
И вольно,  
От суеты искусством отлучив.  
И становилось радостно.  
И больно,  
И совестно  
Без видимых причин.

Невдалеке машины пролетали,  
По мокрой глади шинами шурша,  
Но бытия случайные детали  
Отринула воскрешая душа.

И я стоял,  
Уйти уже не вправе,  
Заботы неотложные кляня.  
Пел соловей  
В останкинской дубраве,  
Как будто исповедовал меня.

### ЛЕСНОЕ ОЗЕРО

Тропинка вывела кривая,  
Как бы сама собой  
Туда,  
Где дремлет добрая,  
Живая,  
Незамутненная вода.

Где все исполнено значенья,  
Как в мудрой речи стариков,  
И так загадочно  
Свеченье  
Студеных донных родников.

Неразличимы глазу все,  
Как утром пасмурным дымы,  
Восходят солнечные струи  
Из непреодолимой тьмы.

Лучей причудливы изломы,  
И там, где чуть редееет мгла,  
Сияют древние  
Шеломы  
И золотые купола.

Мерцают огненные блики  
На темном движущемся дне,  
Но тайны их  
Равновелики  
Непостижимой глубине.



Сколько шума и крика, и гама,  
Сколько грязи натащено впрок.  
О, второе пришествие Хама,  
Ты его не предвидел, Пророк?

Поднимается темная сила,  
Как тогда — ни кола ни двора.  
Ты ее не расслышал, Мессия,  
В одобрительном гуле вчера?

Или слышал, да страху не выдал?  
Что ж, не первым в распятой стране  
Поплывешь, как языческий идол,  
По крутой и кровавой волне.

Не сойти нам с заклятого круга,  
Где и любят и рубят сплеча.  
По традиции лучшего друга  
Твоего обрядят в палача.

Но и это не будет исходом...  
Оглянись же вокруг — неспроста  
Столько быдла меж русским народом  
Без души, без ума, без креста.



Мать россейская, жди похоронку,  
Брат на брата пошел.  
И не зря  
Отошли потихоньку в сторонку  
Адъютантишки и писаря.

### ОТЛЕТ ПТИЦ

Темнеют речные глубины,  
Дожди беспросветные льют,  
Холодные гроздья рябины  
Угрюмые птицы клюют.

Прощальные сдержаны клики.  
Листвы облетает зола.  
Ужели и малой толики  
На свете не стало тепла?

”Оно за морями, долами, —  
Уверенный слышится клич. —  
Легко наделенным крылами  
Заветного края достичь.

Там хватит и крова и злаков.  
Довольно растений и вод,  
К тому же везде одинаков  
Над миром сияющий свод.

Дорога любому по силам.  
Ну что же ты медлишь, вожак?!”  
Предзимье.  
Над тихой Россией  
Печальные птицы  
Кружат.



Загадочны истории извивы  
И горки на путях ее круты.  
Кумиры до поры неуязвимы,  
Временщики до времени люты.

Был гордый бюст — качается осока,  
Всем правит клич: "Тузи его, тузи!"  
Униженный возносится высоко,  
А прежний идол ползает в грязи.

Пока еще кинжал не брошен в ножны,  
Не взят паек в раю или в аду,  
Перепетии всякие возможны  
И средства всевозможные в ходу.

Разбитый в прах надеется на чудо,  
Как на любовь невысшимый урод.  
И все-то лишь игра еще,  
Покуда  
По Пушкину *безмолствует народ.*

Светлана Клинушкина



Отпускала волосы до плеч,  
чтобы было легче устеречь.  
И входила в море до колен,  
Я любила этот странный плен.  
И была я камешком на дне.  
Беспечальным ласковым песком.  
Ты меня не сторожишь совсем.  
Я хожу по дому босиком.



Подливаю в вазы воду,  
дней текучесть забываю  
и дождливую погоду  
ненарочно вызываю.  
"Тесен мир", — врагам отвечу.  
Наливаю воду в вазы —  
Поднимаются навстречу  
Мне цветы, как водолазы.

●

Не хватает в молоке молока,  
и без рыбы так река глубока.  
Говорят, моя страна велика:  
не хватает старику старика.

●

У милиционера  
есть кольцо на руке.  
У милиционера  
есть дубинка в руке.  
Мне б идти — торопиться,  
мне б идти — не упасть:  
в этих пальцах коротких  
заключается власть.  
И картинно-бесстрастно  
молодое лицо.  
А меня заковало  
золотое кольцо.  
В его желтом тумане  
мне почудился вдруг  
рядом с личиком детским  
чей-то бледный испуг.

●

Я —  
легкая,  
такая,  
что смогу  
пройти босой  
по битому стеклу.  
По битому стеклу,  
как по росе.  
Как по росе  
на взлетной полосе.  
Пуускай злословят:  
хочет не как все.

Я –  
легкая,  
такая,  
что смогу.  
Я даже не пойду –  
я побегу  
по битому стеклу,  
как по росе,  
забытому на взлетной полосе.



Я люблю эти ночи и страх  
раствориться, растаять, разбиться,  
я люблю этой ночи размах  
от безумья до ангела-птицы.  
Этот легкий в груди холодок,  
эту тень ускользнувшего зверя.  
Навсегда разделяет Восток  
время века и время потери.

Сергей Камеристый

### ФРАГМЕНТ МОЗАИКИ

Стремление к цели – общий наш предлог  
найти возможность не обрезать срок  
земного бытия. Нелепое занятие.  
Твой путь туда, где кончится твой путь,  
всегдашнее желанье цели обмануть,  
твое стремление. Ее невероятье.

Неутомим, надеждою дыша,  
из прошлого в грядущее спеша,  
тревожу мысль. Когда на самом деле,  
суть завтрашнего дня всего лишь в том,  
чтобы скорбеть о дне пережитом,  
в котором жить мы ныне б не сумели.

Застыв, пускают голос на верхи,  
полуслепы, полуумны, полуглухи,  
готовясь к худшему — так думают вначале —  
счастливые в неведеньи своем.

Когда б они испили водоем  
до дна страданий, как они б кричали!

1990

### КАЛИНИНЩИНА

Плевал апрель  
На город Тверь.  
Автобус глох.  
И, сельский бог,  
Тягач шутил  
И материл,  
И уводил куда-то,

Где пять старух,  
И спит петух.  
Где вдоль канав,  
Углы задрал,  
Железный лом.  
И поделом  
Вернувшимся в пенаты

Нам. И, тосклив,  
Скрипит мотив  
Того крыльца.  
И цвет с лица.  
И плесень лет,  
И первый свет  
В местах, где умер прадед.

Где пруд застыл,  
И тянет в ил  
Живой побег.  
И между рек,  
Высок и прост,  
Торчит погост,  
Приклеенный к ограде.

Где роет крот  
Свой черный ход.  
Где дым лежит,  
И пес бежит  
Сквозь едкий дым  
Брехать пустым  
Голодным лаем

На влажный стог,  
На сто сорок,  
На вечный лес  
В плену небес,  
На хитрый взгляд,  
На пьяный чад,  
Мы, может быть, узнаем,

Чего хотим,  
И разглядим  
Конец пути,  
И как идти,  
И где умрем.  
И подождем,  
Пока наш отклик тает

Меж низких изб.  
Разбитых вдрызг  
Пустых дорог.  
И ветерок  
Шалит с зарей.  
И над землей  
Последний вздох витает.

1990

### ДАЧНЫЙ ПЕРЕХОД

Февральский гололед. Нельзя поставить  
Ступню, чтоб не подумать о кончине,  
Грозящей вслед за шагом. Осторожно  
Переставляет ноги, о причине  
Такого неудобства, соплеменник,  
Догадываясь. Если озаглавить

Его шаги по трудности дорожной  
Скользящей, выйдет трехколенник.

Но, все внимание сосредоточив  
На выборе площадок для опоры  
Устойчивой, не в силах разразиться  
Он даже стоном. Долгие запоры  
Словесные ему не только ныне,  
А вообще-то свойственны. Упрочив  
Себя в одном, он вынужден стремиться  
Вперед по той же льда пустыне.

И, расставляя по-пингвиньи руки,  
На сломанных коленях приседая,  
Он преодолевает расстоянье  
Незначимое. Но оно съедает  
Такие тонны времени, что градус  
Температуры падает, на муки  
Обмороженья, то есть отмиранья,  
Толкнув. Единственная радость —

Жар валенок с резиновой подметкой,  
Порезанных в районе красной пятки,  
Носка, торчащего теперь наружу,  
Ножом бессменной носки. Наледь грядки  
Машинной колеи следы укрыла  
Протекторов. По принципу оплетки  
Застраховала от вторженья лужу.  
И в луже той трава застыла.

Хождение, имеющее целью  
Порог и запах дыма печи дачной,  
Оправдано. И, следуя закону,  
Имеет шансы доскользить удачно  
Идущий долго. И, дойдя, гордиться  
Имеет повод. Ледяной панелью  
Проходит по траве, травы не тронув,  
С одним желаньем: не убиться.

*21.2.1990*

# РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Валерий Лебедев

## О ПРАВЕ РУССКИХ НА ВЫЖИВАНИЕ

Наше государство, в том виде, в котором оно существовало последние 74 года, оказалось полнейшим банкротом, и это сейчас проявляется в последнем акте драмы, в так называемой приватизации. Вы обратите внимание на то, как шла последовательная смена лозунгов: 1985 – 1986 годы – ускорение, 1987 – учиться демократии, конец 1988 – строить правовое государство, с мая 1990 – переходить к рынку. Да, у рынка было две ступеньки: разгосударствление и приватизация. Про первую уже не говорят. Это мне напоминает слова Паниковского, которые он талдычил Балаганову, когда они пилили якобы золотую гиру: "Пилите, Шура, пилите". Вот и мы пилим и пилим...

Теперь "пилим" приватизацию. Рынок как бы забылся, а заменился приватизацией, которая вроде бы считается элементом перехода к рынку. Но ведь об этом и говорить смешно: какой рынок, когда нет денежного обращения? Когда все обменные экономические процессы построены на бартере, а бартер – это натуральный обмен продуктов. Это нечто столь допотопное, что было изжито еще в первичных государствах, где уже существовала денежная система.

Приватизация в ситуации огульного и повального бартера никоим образом не может привести к рынку. Это совершеннейший абсурд! Это понимал даже недалекий Онегин: "...как государство богатеет и чем живет и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет". А тут-то и "простого продукта" уже все меньше! Какая приватизация в условиях этого бартера и при отсутствии денежного обращения? Это скорее всего мне напоминает вот какую ситуацию: приведу одну аналогию – историю с "утонутием" некоего лайнера, для определенности "Адмирала Нахимова". Капитан с ближайшими соратниками привел его к катастрофе, затем первый (у нас же страна везде первая, она всюду дороги прокладывает!) прыгает в спасательный катер со своими друзьями, а отплыв подальше, командует в мегафон: "Теперь можете и вы прыгать с левого и правого борта. Кто выплывет – ваше счастье, а нет – сами виноваты... Это теперь ваше судно, вы же приватизировали его!" Между прочим, собственность может быть только частной, так что государство ничем не владеет (государственная собственность – это некий эвфемизм), а только как бы распределяет как бы ничье. А остальные могли только красть, что все 74 года и делали в меру своих возможностей. Так что сегодня стоит задача: как продать то, чего нет, тем, у кого ничего нет.

Знаете, что будет в ближайшее время с квартирами? Когда квартира станет "нашей", нам придется платить, например, за отопле-



ние 500 рублей в месяц. А еще хуже – бесплатная раздача квартир, потом такой налог на недвижимость введут... В общем, как говорят американцы, сыр бывает бесплатным только в мышеловке.

### ЧТО НАМ СУЛИТ "ПРИВАТИЗАЦИЯ ПО-СОВЕТСКИ"?

Идет последний акт растаскивания того, что еще осталось, разграбление самое настоящее. Такая приватизация ничего общего не имеет, на мой взгляд, с современным рынком, и даже не имеет ничего общего с первоначальным накоплением. От всего перехода "к капитализму" мы, думаю, займем только "буржуйку". Судите сами.

Каковы ныне способы приватизации? Это:

1. Конкурс. Создается комиссия, которая определяет, кто из соискателей "народного добра" лучше всего будет соответствовать функциональному назначению данного предприятия. Всегда можно организовать конкурс так, что "добро" попадет своим людям.

2. Акционирование. Скажем, завод оценивают по остаточной балансовой стоимости (процедура совершенно произвольная), добавляют к ней некую "будущую выгоду" (нечто еще более произвольное) и на полученную сумму выпускают акции, контрольный пакет которых выкупает коллектив предприятия.

3. Купонная система. Она как бы идет навстречу народу, его чаяниям и надеждам. Что-то, означающее то ли стоимость основных фондов, то ли национальное богатство (по-моему, еще не решили, что именно), делят на число то ли трудящихся, то ли всего народа, и каждый получает "приватизационный чек", или, как его называют, "инвестиционный вклад" от 5 до 8 тысяч на человека. Это некие условные деньги, которые идут на погашение части стоимости предприятия, а остальная часть погашается покупкой акций. Госбанк получает эти "лишние" деньги и уничтожает их, приводя тем самым в соответствие денежную и товарную массу.

Что можно сказать об этих трех способах? Смотрите! трудящиеся выкладывают деньги (конкурсанты ведь тоже платят) и остаются, как правило, работать на том же заводе. Но так как оборудование на нем изношено, а инфраструктуры почти нет, то завод не будет рентабельным и, значит, акции не будут приносить дивидендов. Люди останутся работать якобы на своем заводе, станут привязанными к нему, ибо, как чемодан без ручки, бросить жалко – вдруг потом потекут дивиденды, но ...без тех своих сбережений, которые они отдали за акции, чтобы стать "собственниками".

То есть эти способы – чистое ограбление с одновременным введением прикрепления людей к заводам, то есть с новым, более полным крепостным правом. И все это с сохранением прописки, списками жильцов на отоваривание и т.д.

Есть еще четвертый способ приватизации – аукцион. Совсем простой: кто больше заплатил, тот и хозяин. Уже сейчас известно, кто заплатил. Это партийная мафия, к примеру, Таги-заде, который использовал деньги Азербайджанского ЦК и стал хозяином всего кинопроката страны (АСКИН).

Итак, что мы будем иметь с такой приватизации? Те, кто был у

власти, тот и останется, а кто вкалывал на заводах, так и будут продолжать, имея вместо денег акции, которые станут еще более ничтожной бумагой (из-за ее жесткости), чем отданные за них деньги.

Так на что же мы дерьмо ели? Знаете этот анекдот? Ну, как же! Идут два мужика, Петрусь и Янка. Лежит куча. "Ну, что, Янка, каб я тебе десять рублей дал, ты бы ел дерьмо?" — "За десять бы ел". Съел. Получил десять рублей. Идут дальше. Снова лежит. Петрусь жаль потерянной десятки, Янке обидно, что дерьмо ел. Янка говорит: "А если б я тебе дал десять рублей, ты бы дерьмо ел?" "Ел бы". — "Ну, давай". Петрусь съел и получил свои десять рублей. Идут дальше. Вдруг умный Петрусь говорит: "Слушай, Янка, на вошто же мы дерьмо ели?"

Может показаться, что все-таки возникнут новые рыночные структуры, пусть хотя бы их введут за счет партийных денег старые партийные кадры. Не введут. Мы как-то на эту тему говорили с Арвидом Кроном, ранее нашим, ныне парижским социологом. Он полагал, будто горкомовские и райкомовские кабинеты скрывают потенциальных предпринимателей и менеджеров, которые вынуждены хоронить свои таланты, а вот дайте им рыночную волю, и тут они себя покажут. Я возражал. Эти люди, отобранные через сито демократического централизма, как правило, по своим психофизиологическим особенностям не способны к коммерческому риску. Они своим считают только то, что у них дома. Вот когда он ручку в ЦК открутил и домой принес — тогда это его. А так — казенное. И, соответственно, он к коммерческим структурам, к бизнесу будет относиться, как к казенному делу. Он не понимает, что его неверные шаги должны означать его личное разорение, а не прогар "казенного дома", в котором он, в крайнем случае, отделается выговором или другим должностным наказанием.

Здесь такая же разница, как между человеком, который идет по доске над пропастью, и человеком, который идет по такой же доске, но положенной на землю. Вроде то же, но только без риска, а значит без нужных знаний, воли, умений.

После "путча" у нас вроде бы происходит установление новой власти, но наряду с ней, с этой системой, остается еще и все старое. Смотрите на примере Москвы: была двухуровневая система управления Москвой: городской — Моссовет и Мосгорисполком и районный — райисполкомы и райсоветы. Теперь появилась трехуровневая система: мэрия, или правительство, префекты с префектурами и "новые" райисполкомы — субпрефектуры. Появилось три уровня, это означает, что теперь стало больше начальства. А при всем при этом сохранился Моссовет и остались старые райисполкомы, которые тоже никуда не делись. И там все при своих зарплатах — нужно не обидеть старых "партийных товарищей" и наградить сподвижников и соратников по борьбе со "старыми товарищами". Вот знакомые имена по Свердловскому обкому в окружении Ельцина (Петров, Илюшин, Лобов), вот и секретарь грузинского ЦК Никольский около Гавриила Попова, а вот и махровый аппаратчик Брутенц в советниках самого Горбачева (то ли помощник советника, то ли советник помощника). А уж новых любимцев — не счесть.

## НАШ СОЛИТЕР, ИНСТИНКТ СМЕРТИ И ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Происходит большое увеличение нашего солитера, который ведь и съел нашу страну изнутри. Это ведь он и есть! Мы говорим "коммунизм"... Коммунизм, конечно, свою лепту в это внес, но он давно как идейное течение умер и настоящему коммунисту давно плевать на Маркса с Лениным и тем более Энгельса. Вспоминаю свою старую шутку: коммунисты с легкостью примут молитвы, ритуалы, сменят силуэт вождя на своем билете на лик Спасителя – они примут все, кроме поста, как говорится, удовлетворяясь своими служебными постами. Поэтому сейчас не будет ничего удивительного в том, что авторы учебников по научному коммунизму или истории КПСС, различных монографий про советского человека и гармонично развитую личность станут яркими антикоммунистами, в том смысле, что станут разоблачать марксизм-ленинизм, показывая его духовное убожество и идейную глупость. Если, конечно, при этом будет обеспечен определенный материальный уровень их жизни. Но люди эти останутся теми же самими. Они не могут заниматься прокламируемым рынком, потому что у них нет способности идти на коммерческий риск, они на это не способны.

Вы заметили, что положение с экономикой становится все хуже? Это почему? Вот потому, что такая система управления. Причем она ухудшается. Это напоминает мне один анекдот. Пациент пришел на прием к врачу и жалуется: "Замучил, понимаете ли, солитер. Что делать?" Врач отвечает: "А вы сядьте на диету: первую неделю выпивайте в день стакан молока и заедайте булочкой, вторую неделю – только стакан молока, а потом можно и без стакана обойтись. Но на вторую неделю солитер обязательно выйдет, не выдержит". И действительно, подходит вторая неделя, человек выпивает один стакан молока, а булочку уже не ест. Через некоторое время высовывается злобная голова солитера и шипит: "А где булочка?" Так вот, они зашипят: "Где булочка?" И не одна...

Теперь коснемся того, что, может быть, является главным для нашей задачи. У нас сейчас происходит то, что уже иногда в прессе называется экономическим геноцидом. Народ имеет право на выживание – припишем ему такое право. Это, кстати, не такая уж новинка – это было последнее открытие Леонида Ильича: что главное право, которое большевики дали, это право на жизнь. Он прямо так и говорил, я хочу почти процитировать: "Раньше люди жили, не имея никакого права на этого, на жизнь, на величайшее благо, право на которое мы дали". Так вот, и это право теперь вроде бы отрицается. Нам уже, как тем китайцам, "очень хочется кушать". Это – еще одна фраза из анекдота, там речь идет о конкурсе на лучший способ приготовления риса, и вот кто два часа готовит, кто два с половиной, а китайский повар – пять минут. Его спрашивают: "Как вам это удается?" Он отвечает: "Очень хочется кушать..."

В силу того, что у нас происходило, наступает как бы экономический геноцид. Но ведь мы сами к нему подошли! Все мы недовольны начальниками, но сам субъект истории, именуемый народом, он где?! У меня возникает иногда нехорошая мысль: а нет ли у русского

народа инстинкта смерти, очень сильно развитого и зреющего все время? Тут есть нечто от мистики. Может быть, это еще тайна для науки. Мы знаем, что некоторые животные совершают коллективные самоубийства, вот леминги особенно, и примерно известно, в каких случаях они это делают. Например, когда их становится очень много, они, видимо, для выполнения продовольственной программы, а может быть, для снабжения себя квартирами к 2000-му году, бегут толпой и топятся. Это позволило журналу "Новое время" поместить такую сатиру под названием "Ленинги". Ленинги – это порода людей, которые имеют одно, но страстное желание: умереть. Но не просто самим умереть, а еще побольше других пригласить с собой.

Надо думать, такой инстинкт есть. У отдельных людей он точно есть, иначе бы не было самоубийц. Ведь существуют самоубийцы, которые уходят из жизни не в силу безысходности и не из-за того, что жить стало невозможно, а из общего пессимизма.

У Сергея Довлатова в повести "Ремесло" есть хороший эпизод. Я процитирую. Выступает на конференции в Тбилиси поэт Наровчатов на тему о безграничном оптимизме советской литературы. "Затем вышел на трибуну грузинский писатель Кемоклидзе: "Вопрос предыдущему оратору". – "Слушаю вас", – откликнулся Наровчатов. – "Я хочу спросить насчет Байрона. Он был молодой?" – "Да, – удивился Наровчатов. – Байрон погиб сравнительно молодым человеком. А что? Почему вы об этом спрашиваете?" – "Еще один вопрос насчет Байрона. Он был красивый?" – "Да, Байрон обладал чрезвычайно эффектной внешностью. Это общеизвестно..." – "И еще один вопрос насчет того же Байрона. Он был зажиточный?" – "Ну, разумеется. Он был лорд. У него был замок... Ей-Богу, какие-то странные вопросы..." – "И последний вопрос насчет Байрона. Он был талантливый?" – "Байрон – величайший поэт Англии! Я не понимаю, в чем дело?" – "Сейчас поймешь. Вот посмотри на Байрона. Он был молодой, красивый, зажиточный и талантливый. И он был пессимист. А ты – старый, нищий, уродливый и бездарный. И ты – оптимист!"\*

Если уж благополучный Байрон оказался пессимистом, то тем более есть основания у нас.

Так вот, пессимисты есть. И если их слишком много, если пессимизм овладел "широкими трудящимися массами", я могу совершенно спокойно говорить об инстинкте смерти, присутщем какому-то народу. Тем более что, перефразируя Маркса и Зиновьева, можно сказать: "Раньше правительство лишь различным образом спаивало народ, теперь же оно не может делать даже этого", и народ спаивается разной "химией" сам.

Почему марксизм, который возник в Западной Европе и являлся самым левым крылом социалистических учений, там не прижился, а здесь был принят большевиками и вообще социал-демократами? И потом в целом русским народом? Потому, что, на мой взгляд, марксизм есть теоретическое выражение инстинкта смерти. Действительно, весь пафос марксизма заключается в построении коммунизма. Что такое коммунизм? Коммунизм – это строй, где фактически не

---

\*Сергей Довлатов. Чемодан. Московский рабочий, 1991, с.201.

действуют три закона диалектики, это даже в учебниках написано. Единства и борьбы противоположностей нет, потому что осталось только единство; отрицания не может быть, потому что как можно отрицать совершенный строй? И количество не переходит в качество, потому что когда мы достигли высшего качества, как бы пика Эвереста, то дальше любое движение ведет к снижению, значит, там количество в качество не переходит. Но что такое отсутствие работы трех законов диалектики? Это означает отсутствие причины саморазвития и остановку социального движения, то есть небытие, по Гегелю. Это общество, где торжествует тотальная смерть. А посмотрите, как на народной психологии проявилась эта ментальность: вот песню запели — "Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка". Если движение — жизнь, то остановка, стало быть, — смерть? Дальше. "Все как один умрем в борьбе за это". Если все как один, значит, "это" уже ни при чем, и тогда целью не может быть "это", цель — смерть, как один. А ведь взяли "белогвардейскую" песню (ну, она не белогвардейская, это песня офицерская времен Первой мировой войны), там "Смело мы в бой пойдем за Русь святую и как один прольем кровь молодую". Там — "прольем кровь", а здесь — "умрем", есть разница.

Еще несколько характерных примеров, потому что это вроде мистически звучит, мифологически, но мифологии, мы знаем, были главной причиной всех исторических событий, иначе бы не происходило и крестовых походов, и "окончательного решения еврейского вопроса", и построения коммунизма. Вот пожалуйста, нигде, ни в какой стране нет такого количества могил Неизвестных солдат, сколько у нас. Это буквально культ мертвых. Нигде нет такого количества героев, которые канонизированы только потому, что они погибли. Что такого, действительно, сделала Зоя Космодемьянская? Ее лишь убили, больше ничего. Да, может, и Зои никакой не было, а была Таня или Лилия. И все остальные: и Гастелло, и Матросов — это государственный культ мертвых, причем и прагматически лучше всего "сделать героя" и возвеличить мертвого, меньше хлопот. И еще одна "печать смерти": всюду памятники орудиям смерти: танкам, пушкам, истребителям.

Здесь имеется в виду государственно-сакральная смерть, а не обыденная смерть, она в нашем государстве не считается. Вот обыденная смерть — к ней полное пренебрежение. И будут валяться небутанные солдатские костяки, непохороненные; миллионы тел, непогребенных и нетленных, лежат в колымской мерзлоте, и это никого не волнует. Нельзя так относиться к смерти. У Мамардашвили спросили, с чего начался человек. Он ответил: "С мысли о чужой и своей смерти". Кстати, и антропологи полагают, что поздние неандертальцы перешли в состояние кроманьонцев, стали homo sapiens только тогда, когда стали погребать своих соплеменников, во всяком случае, это был параллельный процесс. А в Древней Греции стратег, не обеспечивший погребение павших воинов, карался смертью.

Возьмем могилы Неизвестных солдат, эти, можно сказать, государственные институции. К ним теперь приходят молодожены. Но ведь этот ритуал государством не вводился. Их же туда никто не

звал, они сами идут. Невеста, допустим, на втором или на девятом месяце, уже зародилась жизнь, и эта жизнь освящается могилой, произрастает под ее покровом и сенью. Почему? Наверное, это какой-то внутренний инстинкт. Ну, затем всем известный "труп самого человеческого мертвеца", который "живее всех живех", с лозунгом 1924 года: "Могила Ленина — колыбель свободы всего человечества". И это ведь не мощи, к которым столько веков ходили. Я говорю о том, что инстинкт смерти присущ народу, но когда он проявляется в ослабленной форме, в "небольших количествах", то это выглядит как почитание мощей святых. Скажем, как горчица, хрен, как приправа к блюду, а когда сплошная горчица, это есть уже нельзя. Могут сказать: "И не надо". Так ведь кормят насильно.

Далее, повальная пьянка — это ведь тоже проявление инстинкта смерти. Психическая смерть здесь наступает быстро, физическая чуть позднее. У нас в прошлом году было "достижение" — 17 процентов родившихся дебилов в результате пьяных зачатий, значит, остается уже 1 процент до цепной необратимой реакции дебилизации всей страны, потому что остановить этот процесс при 18 процентах уже будет нельзя. Дебилы размножаются очень даже неплохо, с умом, я бы сказал.

Или, скажем, "подпольный" гомосексуализм русских, подмеченный Михаилом Эпштейном, проявляющийся в предпочтении мужских пьяных компаний, с открыванием души собутыльнику, что американец истолкует как предложение себя в качестве сексуального партнера. А это — ущерб жене, семье, то есть скрытая работа инстинкта смерти.

И, наконец, смотрите, шахтеры живут менее 50 лет; оказывается, один из 20 доживает до пенсии, которая у них с 50-летнего возраста. И, как оказалось, столько же живут летчики гражданской авиации, особенно работники диспетчерской службы. Так что это за страна, где мужчины "от подземелья до небес" не доживают до 50 лет? Это страна, которая обречена на вымирание.

## "НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, НИКТО НЕ ЗАБЫТ"

И все это в целом можно расценить как некое мистическое возмездие за содеянное ранее. Когда неожиданно вырывают из жизни одного человека, то обрывают массу нитей, связывающих его с другим. Он что-то не успел сказать, ему не сообщили... Обрываются социальные причинно-следственные связи, множество событий не происходит, возникают экзистенциальные провалы, но если из жизни вырваны внезапно миллионы людей, то понимаете, что получается? Как в "черном ящике". На входе мы имеем умерщвленные миллионы, а на выходе — страшный хаос оборванных причинно-следственных связей! Этот хаос проявляется в потере нравственности, в потере вообще всякой ориентации в мире. В первую очередь, конечно, морально-нравственной. И это мы сейчас видим. Помните слова Воланда: "Даже не то плохо, что человек смертен, а то, что внезапно смертен"? Между прочим, Семен Франк выводил февраль 1917 года из мести теней погибших в Первой мировой войне.

Вот у нас сейчас простодушно думают, что основа хорошей работы — только высокая оплата труда. А на самом деле эта основа — нравственная. Человек должен получать в труде самореализацию как личность, тогда и работа его будет хорошей.

Почти мистически будет звучать следующее: поразившее нас возмездие — это как бы глас вопиющих миллионов загубленных душ, которые требуют наказания. А поскольку персональных виновников нет — где они? Где начальники-коммунисты? Их нет! — то ответит весь народ. Я уже не раз говорил, что историческая вина гораздо хуже юридической. Сегодня мы получили шкуру дохлого коммунизма, а из-под нее вылезли все эти "приватизаторы", "биржевики", "банкиры" и прочие "предприниматели" и потащили тающее добро по своим норкам.

Не надо понимать так, будто я требую принести коммунистов в жертву. Не коммунистов и не в жертву, а членов преступных организаций, руководителей КПСС, НКВД, государства подвергнуть справедливому суду. Увы! Это можно было бы сделать юридической процедурой повторения Нюрнбергского процесса, денацификацией, точнее, декоммунизацией. А сейчас сделать это очень сложно. Я еще полтора года назад заметил, что журнал "Новое время" стал потихонечку делаться антикоммунистическим. Пока не стал (и это еще до так называемого путча, потому что это, конечно, был никакой не путч) яро антикоммунистическим. Что это за загадка, учитывая, что журнал издавался под эгидой КГБ, всегда контролировался им? Да очень просто: там уже аналитики просчитали, к чему идет дело, что народный гнев обрушится на аппаратчиков-коммунистов, и стали выводить их из-под удара, растаскивать по другим структурам. И теперь уже их нет! И персональных виновников вы теперь не найдете. Да и трудно уже это вообще сделать по прошествии такого времени. Вон и Лазарь Моисеевич не дождался, ушел от суда, от нас... Какой контраст с "принципиальной непримиримостью" к просьбе о помиловании престарелого Гесса! А ведь Гесс перелетел в Англию 10 мая 1941 года и, следовательно, не имел отношения к преступлениям в войне против советского народа. Вся "принципиальность" объясняется легко: рота советских офицеров, охраняющих Гесса в Шпандау, находилась на содержании, правительства ФРГ и сдавала валюту в советское посольство. Таким образом самоубийство Гесса — его единственное преступление против нашего правительства (нарушение закона о валютных операциях).

### ПРОСВЕТЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОТУПЕНИЕ ИЛИ НЕ СЛИШКОМ ЛИ МНОГО МЫ ЗНАЕМ?

Вот сейчас много говорят, что у нас государство идет к диктатуре, авторитаризму. Это чувствуют многие политологи (А.Мигранян, И.Клямкин), но почему-то никому не известно, что на этот счет существует теорема Эрроу, который, кстати, получил за нее Нобелевскую премию. Я писал об этом в "Независимой газете" 11 сентября 1991 года. Теорема говорит о самоорганизующихся системах и о том, что в них происходит, если возникает, например, дефицит в

энергии. Ее внутренние части как бы выстраиваются в очередь на энергоснабжение и это можно истолковать как необходимость сосредоточить распределение энергии в одном центре, ибо при многих центрах система просто распадается. Это такая же четкая теорема, как, скажем, закон всемирного тяготения, и в применении к обществу позволяет думать о неизбежности авторитаризма.

Теорема Эрроу говорит, что если в системе было много автономных точек по распределению энергии по местным узлам, то начинается такая "тяжба" за энергию между этими центрами, каждый пытается переключить энергию на себя, оттянуть ее, обесточивая тем самым другие участки. Поскольку основные усилия системы переходят на уровень "кто больше перетянет энергии", такая система очень быстро "загибается". Кому-то удастся больше энергии переключить на себя, другие участки обесточиваются и отмирают, перестают функционировать, гибнут. И тогда в этой самоорганизующейся системе вырабатывается новая стратегия. Для того, чтобы система не погибла, в ней выделяется один центр распределения, в частности, энергии, и тогда эта система может еще протянуть на самом минимуме. Но если ниже минимума, то она все равно распадется. Вот вкратце о чем толкует эта теорема. Но поскольку все теоремы кибернетики применимы в социальной сфере, я сразу могу сказать, что у нас будет и что уже происходит в результате действия этой теоремы.

А происходит то, что мы видим: схватки между местными властями за ту же энергию, за тепло, за продукты. На общегосударственном уровне это проявляется в форме установления таможенных барьеров, в декларации выхода из Союза и ведения самостоятельной экономической политики: через таможенные ограничения, бартерные сделки — побольше получить, какую-нибудь ерунду отдать. На это накладываются различные политические требования типа "Если вы не сделаете то-то и то-то, то мы вам перекроем железную дорогу или газопровод" — и останавливаются железнодорожные составы, электростанции, заводы, и система гибнет из-за наличия множественности центров по распределению. А на более низком уровне это проявляется в виде склок между депутатами, когда каждый отстаивает интересы вроде бы своего избирательного участка, на себя их переключает, что-то обещает своим избирателям, а в пределах отстаивает свои собственные интересы: кто больше себе чего-нибудь добудет. Недавно была прекрасная сцена, когда российские депутаты делили раздаваемые бесплатно библии. По телевизору еще не все показали! Там раздавали эти библии, депутаты подбегали и хватали, а когда подбежали опоздавшие, книги кончились. Те, кому не досталось, злобно пинали пустые ящики из-под книг, вопили, что их опять обошли, они опять остались на баках, что это за Верховный Совет такой, где не удовлетворяются насущные потребности депутатов!

Поговорим обо всех, так сказать, предыдущих реформах, которые якобы происходили до сего времени, до нынешнего дня. Их очень много и все они имеют нечто общее: никакими реформами они не являются. Это попытка красить каюту на "Адмирале Нахимове" после того, как он уже близко познакомился с "Петром Васевым" — вот что это такое. Причем был поставлен мировой рекорд — корабли



такого водоизмещения, по справочникам Ллойда и различных страховых компаний, должны тонуть не менее 3 часов, а этот — за 7 минут. Посмотрим, сколько будет тонуть наш громадный корабль, являющийся одной шестой частью суши... В течение нескольких часов или нескольких дней — но это будет происходить очень быстро, внезапно обрушится. Во всяком случае, известно, что Европа готовится к "перебегу" миллионов. Я не знаю, что они там делают — рвы что ли роют, ловушки готовят, волчьи ямы. Меня могут обвинить в русофобстве, но, может быть, этот народ уже не заслуживает существования? Может быть такое? Он же отравленный! Это же чумной барак, отравленный идеологией, всеми деформациями, чудовищной злобой, ненавистью, я ведь на себе это чувствую и сам это чувствую, вот что! Это настолько не вяжется с западными нормами, с так называемыми общечеловеческими ценностями, о которых у нас столько толковали, что люди, которые перебегут на Запад, там не смогут жить, станут преступниками, которых будут отлавливать... Отравленный генофонд — тут и дебилизация, и какие-то психические сдвиги, с фрустрацией, какими-то фобиями... Тут, может быть, только Фрейд со всей его школой, с младофрейдистами и неофрейдистами могли бы помочь, потому что это уже полная патология, и я вынужден говорить в таких категориях.

Поэтому принципы выживаемости, о которых мы должны говорить, заключаются в первую очередь, наверное, в уяснении того, что происходит. Иначе как можно выжить, если мы не знаем, что происходит? Вот смотрите, человек, который понял, что сейчас будет происходить, когда он увидел "Петра Васева" еще до столкновения... Я читал много воспоминаний о случившемся на "Адмирале Нахимове". Один из пассажиров, будучи инженером, посчитал, что столкновение уже неотвратимо надвигается, и надо быстро что-то сделать. Он кинулся в каюту, успел оттуда вытащить двух своих детей, ринулся наверх в момент толчка, где-то схватил еще спасательный круг и бросился с ними за борт. И таким образом выжил. А минута промедления — и он бы уже из каюты не вышел, потому что в момент удара заклинило двери во всех каютах, и после этого их уже нельзя было открыть. Вообще свет погас, полная темнота, разберись пойдешь в этих коридорах и переходах, это же целый город! Кто бывал на таких кораблях, тот знает, что на них найти дорогу в темноте невозможно.

Я вспоминаю фильм Бергмана. Он называется, кажется, "Источник". Сюжет там такой. Идут три путника, три бродяги, в общем, "бомжи". С ними мальчик лет десяти. В лесу они встречают девушку, зверски ее насилуют и убивают, тоже зверски. Мальчик все это видит из-за дерева. Потом они приходят в избушку лесника, просят переночевать. Из разговора выясняется, что этот лесник — отец девушки. Он ее ждет, девушки все нет. Лесник начинает беспокоиться, путников устраивает на ночлег на сеновале. И когда он пришел проведать, как они там расположились, то случайно увидел, что из сумки одного из бродяг торчит кусок одежды. Он вытащил, и одежда оказалась окровавленным платьем его дочери. Бродяги ее еще и ограбили после убийства. Леснику становится все ясно, он уже ни о чем не спрашивает и убивает всех троих. А мальчик опять прячется, дрожа, за

копенку. Лесник его выволакивает оттуда и говорит: "После всего того, что ты видел — там, в лесу, и здесь, — ты уже не сможешь быть человеком, поэтому тебе лучше не жить", — и убивает мальчика. Вот такая притча. Все это очень похоже на нас, на нашу историю. Слишком много здесь было совершено, слишком много, чаша переполнилась...

Или другая — литературная — реминисценция. Родион Раскольников убил какую-то там гнусную бабушку-процентщицу, поступил, как настоящий большевик: классовый подход. Он мог бы вполне стать даже секретарем райкома после этого. А вместо этого он начинает каяться, терзаться: преступление требует наказания. Что-нибудь похожее есть у нас? Ничего подобного! Настолько закоснела эта оголтелая группа бывших партийных товарищей, что они уже совершенно не понимают, что творят. Они не только не терзаются всем содеянным в прошлом, но и наворачивают все новые и новые (экономические) преступления.

Это относится и к нынешним "демократам". Ведь Советы были созданы в 1905 году как деструктивная сила по разрушению муниципальной власти и по разрушению городской думы. Их создавали специально для этого и потому в Советы собирали "людей с улицы", из крикунов. Но этот же принцип выборов в Советы остался и поныне. Это же люди с улицы, то есть они не имеют специального образования, юридического, например, они не имеют никакой политической школы. Прежде чем попасть в Конгресс, человек проходит предшествующие этапы политической работы — например, на уровне городской легислатуры или в штатном правительстве, а тут с улицы сразу — раз! Вчера он сидел за баранкой такси, а сегодня он — депутат Верховного Совета. Это вздор! И как это ни странно, уровень управления прежнего ЦК был выше, чем уровень нынешних Советов, потому что парткомраты проходили сквозь частое "бюрократическое сито". Но, с другой стороны, это сито обдало "обратным знаком", обратной силой, поэтому трудно сказать, что выигрывало: в тоталитарной системе ведь происходит вырождение управленческого блока. Это происходит потому, что принцип фюрерства предполагает назначение в заместители людей более глупых и, как правило, более низких по нравственности, готовых на все, а те подбирают себе еще более низких. И потом, когда, допустим, главного отстреливают, то его зам на какое-то время занимает его место, и вся пирамида сдвигается вверх. По уровням власти она как бы сдвигается вверх, а по интеллектуальному уровню — вниз, то есть тупеет на голову сразу. Таким образом тоталитаризм приводит к вырождению управленческого блока. В результате управленцы перестают понимать то, что они делают. Более того, они вообще не понимают того, что происходит в стране, очень легко впадают в любое заблуждение и их очень легко настроить на любую глупость. Это полностью проявилось в деятельности новых, "перестроечных" правительств.

При Сталине этот процесс также шел, но он находился лишь в начале, а перестройка — это уже конец этого процесса, агония преступного коммунистического режима. Я не думаю, что Сталин пошел бы на такую акцию, как антиалкогольная кампания. Это явная, очевид-

ная, наглядная глупость. Да и все последующие указы Горбачева, какой ни возьми!.. Ведь кто готовит Горбачеву указы? Все тот же аппарат. Чиновники и министры этого аппарата беспрерывно вводили его в заблуждение, особенно Крючков. Они делали это путем каких-то фантазмагорийных дезинформаций, когда совсем недавно Крючков вопил о том, что Запад готовится к нападению, засылает шпионов, а Павлов публично заявлял о скупке сторублевок западными банками с тем, чтобы потом вбросить их опять в нашу страну. Шло такое, извините, фуфло на примитивнейшем уровне. А Михаил Сергеевич до последнего говорил, что у него полное взаимопонимание с Павловым... Это что значит, он уже перестал понимать на элементарном уровне, где объяснение, а где грубейшая примитивная подтасовка? Или это и называется "внутренней политикой"?

## ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

Сейчас у нас существуют следующие возможные пути развития событий. Предпочтительный – это установление авторитарной власти через формально кажущиеся нарушения права. Эти нарушения могут быть по нескольким основаниям. Например, президент издает указ, имеющий законодательную силу, поперек и в обход Верховного Совета, а Верховный Совет считается и вроде как является элементом правового государства: раз его избирали, он является как бы представительной властью, а президент берет на себя законодательные функции. Значит, он обходит закон и законодательный орган и тем самым нарушает принцип разделения власти. Внешне кажется, что это явное нарушение норм права, которые реализуются через законные, правовые институты. И еще большее есть основание обвинить президента в нарушении прав личности, поскольку он обходит Верховный Совет, а мы, граждане, при выборах отчуждали на условиях общественного договора свою политическую волю и передавали эту волю депутату, то есть представителю, он – наш представитель там... Вроде как по генеральной доверенности, депутат является частью нас, и когда обходят его, тем самым обходят всех его избирателей, нарушая их политическую волю, игнорируя народную волю, волю личностей, и кажется, что это более глубокое основание нарушения права.

Но делать это нужно ради спасения жизни, ради обеспечения права на жизнь, которое есть первое в ряду основных прав, и потому в конечном итоге интегрально такие авторитарные действия президента являются по совокупности правовыми, и хорошо, если этот путь реализуется и все обойдется.

Согласно вероятностной концепции истории, в каждой точке исторического процесса мы имеем набор возможных путей будущего. И сейчас заранее не известно, какой из них реализуется. Этого сейчас не знает никто. Один из возможных путей – это путь дальнейшего распада с помощью криков "демократов" о том, что происходят нарушения демократии, что правильно нас предупреждала Горячева об этом Ельцине, что он наконец выявил свои диктаторские замашки, "Долой Ельцина!", митинги, протесты...

И если этот крик, и не просто крик, а реальные действия, ибо

депутаты российского Верховного Совета также являются властью имущими, превозмогает необходимость просвещенного авторитаризма, то мы свалимся на этот путь, который будет означать дальнейшее дробление власти, противостояние исполкома Совету, внутри – Моссовет, скажем, распадается на свои противостоящие группировки, которые уже будут разваливать Моссовет, внутри этих группировок будут свои противостояния, и так вплоть до атомарного состояния. Этот процесс будет происходить не только во властных структурах, но и в любых других: в производственных коллективах, в жилищных – как говорится, сосед пойдет на соседа, что закончится в конечном итоге здесь чем-то похожим на "войну всех против всех" Гоббса.

А когда этот полный распад произойдет, возможны, в свою очередь, разные варианты. Первый вариант – полное самоуничтожение. Обезлюженная земля. Не только за счет того, что люди вырежут друг друга. Скорее всего будут происходить другие процессы: отсутствие продуктов, массовые голод, холод, дефицит лекарств, эпидемии, которые "вырежут" население. Маленькие прецеденты были. Например, во время гражданской войны с 1918 по 1921 год за три года исчезло 15 миллионов человек. 10 процентов населения – это цифра! Но из этих 15 только от 1 до 2 миллионов погибло на фронтах, а остальные – от дизентерии, тифа, голода плюс 3 миллиона эмиграции. А сейчас это будет гораздо хуже: плотность населения больше, население живет в основном в городах, а не в селах, и спастись, как тогда, с помощью автаркического и натурального хозяйства не получится, эпидемии тоже будут не в пример разрушительней – в 10-миллионной Москве крысы, правда, останутся, их больше, чем москвичей, я верю в крыс. А вы? Видимо, крысы и тараканы при этом станут коренным населением.

Кроме всего прочего, вся страна изъязвлена химическими заводами, которые строились в основном в 1930-1950 годы: а) эками, б) строились из подручных материалов запуганными вусмерть инженерами. Потому что если инженер говорил: "Вы знаете, из этого металла нельзя строить", – его обвиняли в саботаже. Поэтому строили из того, что валялось под ногами. Сейчас эти сооружения, конструкции, совершенно не пригодные для работы в агрессивной среде, напичканы где серой, где азотом, изменили структуру и внезапно рушатся, валятся сами по себе: газгольдеры, ректификационные колонны, трубопроводы, и этот процесс будет неизбежно продолжаться и усиливаться. Сейчас, когда газопроводы начинают протекать, газ просачивается, трубы рвутся, а потом взрываются поезда – это и есть тот процесс, о котором я говорю. Плюс атомные заводы и атомные электростанции.

Когда этот процесс пойдет и усилится, нас может просто настичь экологическая катастрофа и мы перестанем существовать, сгинем все (статистически все). Когда кто-то выживет, то эти "кто-то" будут двоюродными сестрами и братьями крыс – шариковыми, уж они-то точно выживут, возникнет новая цивилизация. Помните, у Зиновьева в "Зияющих высотах" в Ибанске описаны подземные крысо-монголы? Вот и здесь будет что-то в этом роде... Это будут такие недоумки, злобные дебилы, новая порода, это будет настоящий но-

вый советский человек, не заготовка, как сейчас, а уже выточенный, отшлифованный... И тогда не дай Бог, если им в руки попадутся кнопки пусковых устройств! На этот счет есть способы борьбы цивилизованного мира с ними. Эти способы отработаны, существует целая программа фирмы "Херитейдж Фаундейшн", что делать в этом случае, как наша страна будет окружена колючей проволокой, со рвами, с пулеметами, с предупреждением, что попытка перейти границу будет встречена огнем и каким образом будут ликвидированы наиболее воинственные генералы точным попаданием в темечко. Существует лазерное наведение, малые заряды, всего 5 килотонн, но самый бравадный генерал все равно не выдержит... Одним словом, вечный огонь по местам скопления боевых генералов.

Подобные планы на Западе давно отработаны. Они предполагают поддержку наиболее перспективных, еще не совсем выродившихся анклавов с помощью вертолетов, с которых будут сбрасываться продукты. Кто-то уцелеет, а впоследствии произойдет заселение, колонизация этой фактически все равно опустошенной территории. Это то, что ждет нас, если мы пойдем по второму пути. И не надо думать, будто народ вечен, что он не может погибнуть и у него впереди якобы бесконечность. В конце концов, многие народы и великие державы исчезали без следа.

Вот один пример. Мало кто уже помнит, как сгинула Шумеро-Аккадская держава. Великая держава по тому времени. Ей был равен только Древний Египет. Шумеры жили ничего себе более тысячи лет, пока их не осчастливила третья династия Ура. Она правила во втором тысячелетии до нашей эры, четыре тысячи лет назад. Правители третьей династии Ура, особенно последний, пятый царь этой династии, решили навести больший порядок, чем был. Чтоб никто ничего не украл, чтоб каждое зерно было на учете. Специально увеличили число учетчиков и контролеров. Они догадались об этом, ничего не зная об идее Ленина "контроль и учет — основа социализма". Дело дошло до того, что на продольных бороздах стояли одни учетчики, а на поперечных — другие. Над ними, чтобы они не вступали в преступный сговор, ставили контролеров, выше — ревизоров и т.д. Результаты контроля записывались в документах, а документы были на глиняных табличках, их надо было таскать в столицу Ур, в архивы. Вся страна заполнилась этими курьерами, больше чем у Хлестакова — 40 тысяч курьеров по стране бегают, носят глиняные таблички. А остальная часть населения учетом занимается. А кто пашет? А пахали государственные крестьяне-рабы — гуруши (в переводе "молодцы"). Наиболее молодецкие из молодых выбивались в контролеры, а остальные пахали, но их становилось все меньше, а кормить надо было все большее количество народу, потому что плодиться не перестали. Для того, чтобы с меньших участков прокормить больше народу, начали обводнять территорию, активно орошать, рыли арыки, каналы и за 25 лет засолили почву. Она засаливалась, урожайность падала, наступал голод. Но помогать шумерам было некому, Америку тогда еще не открыли, и вот почти весь народ разбежался от голода. Вторглись соседние кочевые племена амореев, дограбили то, что осталось. Но жить там было нельзя, ничего в почве не родилось. Ду-

маю, что не случайно именно при этой династии в Шумере впервые появились мавзолеи. И когда в XIX и в XX веке раскапывали Шумер, весьма удивились: шли тысячелетние культурные слои, потом 100 лет ничего нет – мертвая зона, метр ила, потом, когда земля излечилась, опять пошла культурные слои – это место Шумера занял Вавилон. И от третьей династии остался "Плач о гибели Ура": "Моя земля высохла как печь"...

Заметьте, что с ними произошло. Их настигла социально-экологическая катастрофа, похожая на ту, которая приближается к нам.

А ацтеки как погибли? По тем же двум причинам, что и у нас: первая – это повальная алкоголизация населения (там стар и млад жевал листья коки) и вторая – обильные жертвоприношения их божку Уицилопочтли. Кругом по стране "дороги, эх, дороги, пыль да туман". Деникеном в фильме "Воспоминание о будущем" они подавались как взлетные полосы инопланетчиков. Потому что вроде бы идет дорога в никуда, а это просто были дороги в глубь страны, по которым гнали жертвы. Впрочем, они себя жертвами не чувствовали, шли с ликованием, с радостью, торжественные шествия, праздничные. Наверное, дороги назывались "Шоссе энтузиастов". Они с нетерпением ждали: когда же, когда, скорей бы. Без этого культа не могла существовать жесткая иерархия жрецов. На этой идеологии стояла ацтекская империя, это был стержень всего социального устройства. А у нас – культ человеческих жертвоприношений божку под названием индустриализация и коммунизм. То же самое. Поэтому ацтеки и сгнули. Испанцы их добились, они и так уже "загибались".

А у нас действуют и те причины, что были у ацтеков, и те, что у шумеров. А еще мы и русские. На русских еще повесили обвинения со стороны других народов за то, что русские им принесли ЧК, НКВД, эту индустриализацию с коллективизацией... Нам будет в сто раз трудней, чем, например, армянам. Но надо попробовать. Вообще-то гибель страны не будет означать гибель всех людей, но как народ, как целое мы можем исчезнуть. Этот процесс уже сейчас идет: понижение уровня жизни, увеличение детской смертности, снижение продолжительности жизни...

Интересно, было ли что-либо подобное в русской истории раньше? Да, был, как говорится, прецедент. На память приходит (не только мне) Смутное время. Но я попробую применить к этой параллели идею больших волн истории французской школы "Анналов". Согласно этой школе в истории народов прослеживаются периодические как бы волны сходных состояний: взлетов, падений, воинственности, мирного процветания... Маленькие волны, рябь заметить легко – скажем, в том перечислении, что я уже приводил: 85-86 годы – ускорение, 87-88 – демократизация, 89-90 – правовое государство, 90-92 (?) – рынок. Видите, период между двумя пиками – два года. Но каждый раз мы возвращаемся не к исходной "впадине" между верхушками "волн", а как бы опускаемся в целом ниже. Возникает впечатление, что эта мелкая рябь проходит по склону большой волны, которая низвергает нас в бездну.

С чего началось Смутное время? С опричнины, с ее зверств и бесчинств. Наши историки до сих пор спорят о количестве жертв, но, на-

до думать, речь идет о многих десятках тысяч. Разрушение социальных связей шло полным ходом. Может быть, Иван Грозный что-то и почувствовал (в молодости вообще подавал надежды). Во всяком случае, в 1572 году он запретил опричнину, более того – за упоминание этого слова публично секли на площадях. Но процесс, как любит говаривать Михаил Сергеевич, пошел. Пошел процесс распада и пришел к нижней точке падения в 1612 году. Каковы же оказались результаты?

Разрушенные человеческие и экономические связи привели к голоду, холоду, болезням. Тут еще и холера подоспела вместе с поляками и казаками... Итого: из шести миллионов тогдашнего населения осталось четыре, то есть вымерло два миллиона, треть населения страны!

Итак, мы имеем из Смутного времени две реперные точки, одна временная и вторая, касающаяся числа жертв. Между 1572 годом и 1612 прошло сорок лет, то есть процесс распада после отмены зверств в явной форме еще шел с нарастанием сорок лет! И обошлось это, как я уже сказал, в треть населения. Если мы находимся сейчас на сходном склоне исторической волны, то давайте прикинем, сколько осталось до нижней точки. У нас зверства в явной форме были остановлены только после смерти Сталина, то есть с 1953 года. Предположим, что мы имеем право на параллельный перенос характера тех социальных процессов в наше время. Тогда, прибавив сорок лет к 1953 году, получаем нижнюю точку нашего падения в 1993 году. Любопытно, что эту же дату называет в своих экономических выкладках В.Селюнин, она же значится в повести А.Кабакова "Невозвращенец", написанной еще в 1988 году (предвидение художника?). Считается, что Смутное время Россия пережила, в целом, удачно – могла бы и вовсе исчезнуть. В случае такой же удачи наша плата "за все" будет равняться также трети нынешнего населения – то есть 200 миллионам человек! Что и говорить, сомнительный успех.

Но на всякий случай лучше заранее знать, что может случиться с нашим тонущим государственным кораблем, ибо это знание как раз сможет уменьшить количество жертв. Ведь почему так много погибло (около половины пассажиров) на "Титанике", хотя он был снабжен необходимым количеством шлюпок и катастрофа произошла при совершенно спокойном океане? Только потому, что "Титаник" рекламировался как абсолютно надежный, непотопляемый лайнер и после команды занимать шлюпки большинство посчитало команду чем-то несерьезным, вроде шутки, продолжая танцевать и веселиться. Шлюпки ушли на треть загруженными, а когда лайнер стал сильно крениться и поняли все, – было уже поздно.

### УЧУ ЖИТЬ (ОБ'ЯВЛЕНИЕ)

Попробую конспективно изложить, что надо предпринять, чтобы через тоннельный эффект, то есть через просвещенную авторитарную власть, "проскочить". Замечу, что экономическая область при авторитаризме свободна, а политическая жестко контролируется. Это – главное при авторитаризме. Что же конкретно требуется?

Первое — это немедленное увольнение всякого государственно-го чиновника, который сделал публичное нелояльное заявление, как то: подверг критике или не согласился с политикой президента.

Смотрите, что у нас было раньше? Макашов угрожает президенту страны народным побиванием камнями за то, что он изменил идеалам социализма, и после этого продолжает командовать важнейшим Уральским округом, где изготавливаются вообще все основные виды вооружений. Целый арсенал. Это совершенно исключено не только при авторитаризме, но и при сильной нормальной президентской власти. Вот попробовал бы какой-нибудь генерал сказать что-либо подобное в Соединенных Штатах Америки. Этот генерал был бы уволен в тот же день. Непременным условием является то, что чиновники государственного аппарата, в руках которых находятся властные функции исполнительной власти, должны немедленно увольняться за любое нелояльное высказывание — я оговариваюсь — публичное. Дома он может говорить все что угодно.

Второе. Роспуск Советов всех уровней, который я уже упоминал. Это следует сделать и по историческим соображениям, и по соображениям теоремы Эрроу, потому что это есть не что иное, как пусть плохо действующие, но все-таки местные центры по распределению всего. Это множественные центры управления, которые в такой системе не работают, не должны работать.

Третье. Запрет на профессию. Вот еще одна фраза, которая может заставить демократов вздрогнуть. Мы много писали с гневливым возмущением о запрете на профессии, скажем, в ФРГ раньше, но такой запрет является совершенно необходимой мерой. Что имеется в виду? Каждый человек, который прежде работал в прошлой системе на государственных, партийных, или, лучше сказать, государственно-партийных постах, то есть обладал властными функциями, не имеет права занимать подобные должности или сходные, аналогичные, теперь, в новой системе. Он может быть на пенсии, ради Бога, пусть ему платят, или он может выполнять какие-то другие виды работ, но он не должен находиться на государственных должностях.

Тут можно усмотреть ущемление, преследование за убеждения... Дело не в убеждениях, а в том, что он занимался этими видами работ. Этот человек — меченый, на нем уже стоит Каинова печать. На самом деле у такого человека другая психика. Он только будет делать вид.

Здесь мне вспоминается замечательная сказка Е.Шварца "Дракон". Помните, Дракон уже убит, и Ланселот укоряет жителей, особенно верхушку, бургомистра и его сына Генриха за то, что они прислуживали Дракону? Чего, мол, вы пресмыкались перед ним столько лет? Генрих отвечает: "Нас же с детства учили, что вот Дракон, что иначе нельзя". Что ему отвечает Ланселот? "Всех учили, но почему ты, скотина, был первым учеником?" Вот "лучших учеников", "первых учеников" теперь нельзя допускать к властным функциям. С очень формальной точки зрения это, может быть, некоторое нарушение прав, но в переходном периоде это просто неизбежно. Кстати, так было исторически.

Пожалуйста. Главнокомандующий оккупационными силами в Японии Дуглас Макартур имел цели и был также уполномочен произ-



водить некоторые социальные изменения в Японии, чтобы превратить ее из императорско-милитаристской в нормальную демократическую страну. Ему предложили использовать для этой цели старый чиновничий аппарат императорской Японии: дескать, опытные люди, у них масса человеческих контактов, связи, им только дайте новые – демократические – нормы, и они все сделают в лучшем виде... Макартур посоветовался со своими советниками и ответил: "Не надо. Найдем совершенно новых, не тронутых вот этой ржой, милитаристско-японской, с их кодексом бусидо. Не надо". И примерно 200 тысяч человек было уволено. Все они, правда, получили хорошие пенсии. То же самое было сделано в Германии: всех чиновников старого нацистского аппарата уволили с хорошими пенсиями. У нас по этому поводу все вопили в свое время: вот, мол, подыгрывают нацизму, платят им. А это было сделано для того, чтобы не создавать социального напряжения.

Теперь четвертое – изменить национально-территориальное деление этой страны, хотя это говорит и Жириновский. Пусть нас это не пугает, он из трех фраз одну может сказать правильную, а остальные – совершеннейшая дичь. Помните, когда у него спросили: "Какой вы национальности?" Первое, что он ответил, правильно: "Это не имеет значения!" А два других предложения дикие, но зато классика: "Мать у меня из западных славян. Отец – юрист!" Поэтому он первую мысль правильно говорит, что нужно отменить все эти деления и установить губернаторство, но дальше он несет вздор: "Я пройду железным кулаком по Прибалтике, я вас уничтожу..." Там, где в основу самоопределения положен плебисцит, то есть последняя онтологическая реальность народной воли, по Руссо, там делать нечего. Национально-территориальное деление – это горячая эманация марксизма-ленинизма. Это сюда привнесено прямо из мифологической теории, где считалось, что отдельные нации скоро сольются во всемирное человечество, поэтому можно, с одной стороны, понаобещать вам "самоопределение вплоть до отделения" (это определенная смазка), но скоро весь земной шар будет называться "всемирная республика Советов". Даже название было готово уже, как видите. А отделяться уже будет некуда! И перед тем, как империалистический мир рухнет, ослабить его фронт, потому что вот у нас самоопределение есть, а у вас нет, поэтому боритесь, разрушайте свое государство. А уже когда много понаговорили, предполагая, что это не более как временная прибауточная мера, и включили в конституцию, то самоопределение было объявлено как величайшее достижение национальной политики. Вот теперь эти мины замедленного действия и взрываются. Националисты ссылаются на этот пункт, и совершается страшная нелепость, когда 20 процентов татар определяют, что делать 80 процентам не-татар, которые живут в Татарстане. Когда 5 процентов якутов определяют, как жить всем остальным... и 2 процентам алтайцев! Этого национального принципа членения территории нет ни в одной цивилизованной западной стране. Ведь это все равно что давать право на убийство.

И последний пункт относительно того, что должна делать такая власть, – это немедленная остановка всех или почти всех заводов

ВПК. Нужно просто остановить большую часть заводов военно-промышленного комплекса, а рабочим продолжать платить зарплату, как если бы они продолжали работать, потому что с этими заводами происходит нечто катастрофическое... Они строились безо всякой экономической целесообразности, то есть вопросы экономики там просто не учитывались. Интересовались только тем, чтобы продукция имела характеристики "выше", "дальше", "мощнее", а сколько при этом завод жрет энергии, сырья и как отравляет окружающую среду, сколько эта продукция стоит, это никого не интересовало. И вот сейчас эта машина продолжает работать сама на себя, продолжает изготавливать, допустим, танки, которых у нас и так больше всех в мире, и не просто, а больше, чем во всем мире, вместе взятом! Давно известно, что танки как стратегическое оружие теперь ничего не стоят. Это известно стало не теперь, после войны в Персидском заливе, когда все стало наглядно, а давно, 20 лет назад я слышал от офицеров Генерального штаба: что, мол, такое вытворяют с этими танками? Когда появились самонаводящиеся ракеты: танк выползает из-за пригорка, а там, вдали, уже "висит" вертолет, который тут же выпускает ракету и быстро садится. Он уже сел, ракета летит, танкист еще едет, ничего не видит, а уже горит. То есть в стратегическом отношении танк — это бессмысленное оружие. Он, конечно, хорош, чтобы давить людей в городах, но как стратегическое оружие ничего не стоит, особенно при наличии нейтронной бомбы. 100 тысяч танков будут идти, но если взорвать 2-3 небольших нейтронных заряда, то через 2 часа во всех 100 тысячах танков будут мертвые экипажи. Танки целые, а экипажи — мертвые. Так зачем же эти танки плодить?

Сейчас в соответствии с очередным соглашением о разоружении происходит и ликвидация 19 тысяч советских танков. Наши представители говорят, мол, хорошо, давайте мы снимем башни, их уничтожим, а танки будем использовать как тягачи, с их помощью поднимем сельское хозяйство, мы накормим народ. Тягачи, трактора, бульдозеры... "Не надо, — говорят американцы. — Не надо. Мы знаем, как вы умеете пахать. Мы уже знаем, как вы перегоняли танки за Урал под видом разоружения в Европе. За Уралом-то уже Азия, а не Европа. Или как вы сокращали сухопутные вооруженные силы: вы сразу танки, танковые дивизии переводили в военно-морской флот, зачисляли их туда". ("А ведь что, — мог сказать какой-нибудь советский генерал, — ведь танк, брошенный в море, тонет? А! Вот поэтому мы можем его считать подводной лодкой".)

В общем, американцы сказали так: "Не нужно никаких ухищрений: мы вам не дадим ни башен снимать, ни двигателей. Не надо, потому что вы нашлепаете коробок, а двигатель — это самый сложный узел, и опять у вас будет много танков. Танк, конечно, не стратегическое оружие, но с его ликвидацией связано очень много хлопот, да к тому же это дорого стоит".

И сейчас взрывают 19 тысяч танков в полном комплекте, с башнями и моторами, а каждый танк стоит под миллион рублей. Так вот почему нам нечего кушать! И пока заводы ВПК работают, они будут выпускать именно такую продукцию, поэтому нужно немедленно их останавливать.

А в чем заключается просвещенность этой авторитарной власти? В том, что, во-первых, остается свобода слова. Как говорится, газеты не трожь, и радио, телевидение... Кстати, без этой свободы слова авторитаризм не может быть просвещенным, потому что откуда власть узнает о социальных последствиях своих шагов? Ведь все равно из прессы, из научных журналов — социологических и т.п. Если их закрыть, то власть перестанет быть просвещенной, то есть ее просвещенность — это почти что синоним свободы слова.

Теперь поговорим о кредитно-инвестиционной политике, которую нужно менять. Мы должны отказаться от кредитов. Это кажется странным и парадоксальным: почему? Нужно принять инвестиции. Разница между кредитом и инвестицией заключается в том, что кредит суммарно и огульно дается правительству, а оно уже распределяет денежные средства так, как считает нужным, а инвестиция — это вложение денег в совершенно конкретное предприятие, например, на строительство данного завода с контролем этапов его строительства инвестором. Это похоже на план Маршалла. Почему нужно отказаться от кредитов? Потому, почему отказался уже в начале этого года Вацлав Гавел. Он не дал согласия на кредиты западных банков потому, что он сказал, когда эти кредиты начинают распределяться местными властями, а в них "засело" много людей со старой ментальностью или просто отравленных победившим социализмом, получается, как сказал Гавел, хотя мы отрубили голову дракону, но шупальца его на местах остались, лапы, хвосты, они как бы всасывают эти средства и тем самым себя постоянно усиливают, поэтому Чехо-Словакия никак не может избавиться таким образом от тоталитаризма, избавились только от головы. И Чехо-Словакия также перешла на систему инвестиций. Мне кажется, что к этому подходят и у нас, переходят на инвестиции, то есть наметился правильный ход.

Затем — введение частной собственности на землю, в частности, для концессий. Четыре Курильских острова нужно отдать Японии (на то есть серьезные основания международного права). И, наконец, фермеры, которых надо охранять войсками, — при каждом фермере отделение солдат. Закупить на все имеющееся золото, металлолом, алмазы и т.д. — продовольствие, малогабаритную сельхозтехнику, раздать ее фермерам, силами армии провести грейдерные дороги, построить хранилища... Тогда еще можно будет спастись. А иначе — вот у меня даже есть фраза, чем я и закончу. Вообще-то фраза прошальная: "Поскольку не могу заработать на похороны, жизнь потеряла для меня всякий смысл..." Да, если этого не сделать, то вы прочтете в газете недалекого будущего: "Лишь там и сям валяющиеся трупы весело оживляли пейзаж..."

---

ЛЕБЕДЕВ Валерий Петрович родился в 1937 году в Санкт-Петербурге. Учился в Минске, кандидат философских наук. Преподавал философию в Московском физико-техническом институте. В начале 1984 года был обвинен в чтении и распространении антисоветских книг, изданных на Западе. Был лишен профессии на три года, после чего работал в цехе на заводе "Динамо". Однако продолжал писать. Публиковался в журналах "Перспективы", "Литературное обозрение", "Дружба народов", "Социум" и других. В последние три года читал лекции в ГИТИСе, МГУ, Доме ученых.

# ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Вацлав Белоградский

## И В СССР НАСТУПИЛ ПОСТКОММУНИЗМ

Я хочу здесь прокомментировать три суждения, которые случайно докатились до меня из сумятицы речей и лозунгов в полные волнений дни после 19 августа в СССР.

Первое – ответ Горбачева одному российскому депутату на вопрос, не следует ли изгнать социализм из России: социализм – это просто человеческое убеждение, и как таковое оно должно быть одним из гражданских прав.

Второе – слова Ельцина, сжато излагающего свою программу: поставить закон над идеологией, подчинить политическую власть закону.

И, наконец, третье – двадцатилетняя девушка на фоне поверженной статуи Дзержинского перед Лубянкой говорит репортерам итальянского телевидения: до сих пор партийный аппарат всегда был сильнее, чем граждане и народы Советского Союза, сегодня он впервые слабее, и с этого у нас начинается совершенно новая эпоха.

Что означает горбачевское определение социализма как "просто убеждения", а не аппарата, действующего на основе научного познания общественных законов? Статуи основателей марксизма-ленинизма сброшены с пьедесталов, улицы и города вновь получают имена, которыми назывались до советской эры, добольшевицкий российский флаг поднят над российским парламентом... – все выглядит так, будто коммунистическое государство было в истории тех народов, где оно поселилось, не чем иным, как незванным гостем. Оно не прижилось в истории ни одного из них: каждый народ в конечном счете отторгает его как чужеродное тело. Откуда оно пришло, каким путем втерлось в нашу историю, в самом ли деле оно в ней так чужеродно?

Я утверждаю, что коммунистическое государство порождено духом западной философии, что оно является естественным плодом метафизики – сей воли созидать человеческую жизнь не на простом убеждении или мнении, но на познании истины... У истоков европейской традиции стоит великий спор ритора с философом. Риторика изучает способы, которыми люди стремятся уговорить, увлечь, убедить друг друга. Все тут воспринимается с точки зрения выразительности, внушительных слов, которые придают нашим взглядам вес и

престиж. Философ же, наоборот, "познает истину" и подчиняет простое мнение этому объективному познанию. Философ вносит порядок в человеческую жизнь, подчиняя ее отношению к тому, что от людей никак не зависит, то есть к объективной реальности. Простое убеждение, все, что основано на красноречии отдельных людей, здесь подчинено инстанции объективной истины, вне зависимости от внушительных слов и личных человеческих убеждений.

Коммунистическая партия-государство — важнейший инструмент этого подчинения простого мнения объективному познанию: все традиции и привычки, любое убеждение, не подтвержденное диалектическим методом, — все это только "пережиток", который следует искоренить.

Суждение Горбачева означает, что долгий спор философии с мнением, убеждением, красноречием — с риторикой — закончился победой риторики.

В тот момент, когда генеральный секретарь определяет коммунизм как просто человеческое убеждение, — которое, следовательно, должно искать себе приверженцев, конкурируя с другими убеждениями и мнениями, — действительно началась посткоммунистическая эпоха.

Посткоммунизм означает реставрацию превосходства мнения и убеждения над познанием. Демократия представляет собой именно это: всякое познание, всякая позиция, всякий принцип обладают статусом просто "opinio", просто убеждения, мнения. Ни одна инстанция в обществе не имеет права стоять выше мнения людей, выше убеждения, которое обладает своей родословной и несет на себе следы наших смятений и противоречий. Данное Горбачевым определение социализма предвещает конец мыслителя как "чиновника человечества", ищущего истину, которой предстоит стать государственным аппаратом. Посткоммунистический мыслитель не добивается "руководящей роли в государстве", но напоминает о том, что есть "иное, нежели институты", "иное, нежели право", "иное, нежели государство", и что обнаруживает себя только как напряжение между разными инстанциями.

Что означает то превосходство закона над идеологией, которое Ельцин объявляет основной целью новой политики? Знаком западной традиции в целом и современного либерального общества в частности является непрестанная тревога и напряжение между легитимностью и легальностью. Это напряжение мы и называем "общественной жизнью": разные языки и инстанции здесь постоянно сталкиваются и мешаются, отталкивают и увлекают за собой группы людей. Идеология — это всякая доктрина, которая объявляет своей целью то или иное окончательное решение этого напряжения и планирует создание органического общества, где легальность в совершенстве воплощала бы легитимность.

Основная норма демократии состоит в следующем: то, что легитимно, никогда не может быть полностью легально, а то, что легально, — полностью легитимно. Оба эти полюса нашей жизни: легитимность и легальность — никогда нельзя окончательно примирить. Нельзя их и точно определить. Скажем так: "легитимное" — то, что возникает в живой речи, в диалоге с другими; "легальное" — наоборот, писанный и бюрократически гарантированный закон. Демократия не может обойтись без этого напряжения, без спора между обоими принципами. Гражданское общество — то место, где человек смиряется с тем, что общество не может быть единым в смысле достижения какого-то окончательного разрешения противоречий между точками зрения людей, конфликтующими инстанциями, разнородными убеждениями.

Следовательно, поставить закон над идеологией отнюдь не означает, что законы нейтральны, что в них не выражается некое фундаментальное убеждение. Под этим скорее подразумевается, что всякая перемена закона сама подчинена закону: легальность означает, что всякий закон должен соответствовать идее закона, которая устанавливает, кто, как и о чем может издать закон. Закон — это соглашение между людьми, договор, точка зрения большинства; его всегда можно изменить, но только в согласии с предварительно установленной процедурой. Таким образом, поставить закон над идеологией означает прийти к согласию об общих правилах, по которым те или иные точки зрения могут становиться законом, имеющим силу для всех.

Суждение неизвестной девушки в тени самой зловещей в мире тюрьмы включает в себя основной тезис одной из важнейших книг 70-х годов — "Краткого трактата по советологии" Алена Безансона. Советология, говорит Безансон, занимается особым типом общества, развитие которого на примере развития советского государства он описал как осцилляцию между военным коммунизмом и нэпом. Нэп представляет ту фазу коммунизма, когда после сурового, административно-централистского, казарменного военного коммунизма необходимо на время допустить, чтобы гражданское общество и вообще традиции страны восстанавливались, чтобы возникли автономные группы граждан и люди снова поверили в какие-то идеалы, способные их стимулировать. Однако рост гражданского общества имеет пределы, за которые не должно заходить, ибо тогда партия потеряет свою руководящую роль.

Все события советской истории надо воспринимать как признаки и моменты этого маятникового колебания между военным коммунизмом и нэпом. Советский Союз — узник этой осцилляции, поскольку его исток — не революция в марксистском смысле, а захват государственной власти партией, организованной по-военному. Марксистская схема революции, как известно, предусматривает, что про-

изводительные силы и производственные отношения изменились, политическая система и культура в самом широком понимании стали устарелой "надстройкой", которую класс, играющий решающую роль в экономике, сметает.

Французская "буржуазная" революция представляет собой модель революции как таковой: экономическая власть уже была в руках буржуазии, которая наконец революционным путем избавилась от прежней политической системы, устарелой надстройки.

Большевистская революция — другое дело: рабочий класс в России не существует, капитализм, который ему полагается ниспровергать, еще не наступил. Поэтому партия захватила центры всей власти в государстве и принялась сама, "сверху", строить "новое общество". Это и есть "руководящая роль партии".

Наступление посткоммунизма означает, что осцилляция "военный коммунизм — нэп" разорвана, поскольку в Советском Союзе наконец возникло такое сильное гражданское общество, что военный коммунизм уже не в силах опять его заглотать. К востоку от наших границ вновь существуют народы и гражданское общество. Разумеется, вместе с этим выйдет наружу не только то хорошее, но и то опасное и враждебное, что принадлежит ко всякой человеческой традиции, как, например, шовинизм или антисемитизм.

Посткоммунистическая эпоха в СССР означает, что "Всемирная революция" Т.Г.Масарика, где он предположил, что развитие России будет демократическим, наконец дописана.

Без демократической России, как показал 1938 год, и Чехословакия остается довольно обветшалой идеей.

Так демократия в России завершает — в политическом смысле — идею чехословацкого государства, которое ныне может стать чем-то большим, нежели шаткая конструкция держав-победительниц 1918 года.

*Перевела с чешского Н.Горбаневская*

Томаш М я н о в и ч

## ТЕНЬ КГБ В ОРЕОЛЕ ГОРБАЧЕВА

### Немецкая книга о перестройке

Все последние годы советологам приходится считаться с опасностью того, что любой объемный труд во многом потеряет актуальность еще до того, как попадет в руки читателя. События в Восточной Европе и особенно в СССР развиваются в таком темпе, что почти всякий анализ требует едва ли не ежедневных поправок, оценки подлежат пересмотру, а рискованней всего, само собой разумеется, прогнозировать.

В этих опасностях явно отдавала себе отчет немецкая исследовательница Астрид фон Борке, готовя новое издание своей книги о КГБ. (*Unsichtbare weltmacht KGB. Steht sie hinter Gorbatschows Perestroika?* Stuttgart, Hanssler Verl., 1989, S.389.) Поводом к выходу исправленного и дополненного издания была – как следует из подзаголовка (“Стоит ли КГБ за перестройкой?”) – политика Горбачева.

Три первые главы, сохранившиеся от предыдущего издания, представляют читателю историю советской политической полиции – от созданной в декабре 1917 года ВЧК до КГБ середины 80-х годов, а также роль “органов” как во внутренней, так и во внешней политике СССР. При этом следует подчеркнуть, что с самого начала советской власти эти области взаимосвязаны, ибо задачи ЧК и ее последовательных перевоплощений: ГПУ, ОГПУ, НКВД, МГБ и с 1954 года КГБ – выходили далеко за рамки классического шпионажа: “органы” должны были вести на “невидимом фронте” войну против врага, то есть внешнего мира, используя при этом любые методы, кроме открытой агрессии: терроризм, подрывную деятельность, провокацию, дезинформацию вплоть до скрытого воздействия (через агентов влияния).

Эта деятельность вытекала из телеологической природы системы, опирающейся на идеологию марксизма-ленинизма, которая обосновывала как внешнюю экспансию советской власти, так и постоянное ее укрепление внутри государства.

На этом основано одно из принципиальных различий между советскими “органами” и специальными службами в государствах парламентарной демократии. Другое различие – несравненно более высокая эффективность; ЦРУ в лучшем случае удавалось вербовать агентов в “кругах, близких к советскому ЦК”, что в сравнении с



успехами КГБ и "братских служб" не слишком внушительное достижение. Несомненно, одна из причин такого положения дел — открытость западных обществ, однако ею не объяснить скандальную небрежность в работе соответствующих служб. Достаточно напомнить так называемое дело морских пехотинцев 1987 года: охранники посольства США в Москве, поддавшись прелестьям русских девушек, работавших на КГБ, допустили чекистов к тайным системам электронной связи и шифров ЦРУ и Национального управления безопасности, в результате чего американская разведка лишилась всей своей агентурной сети в СССР.

О масштабах проникновения в ФРГ восточногерманской Штази, структуры которой после крушения ГДР перешли к КГБ, можно судить на основе бесконечной серии арестов чиновников политических партий, общественных организаций, всех секретных служб или же, наконец, офицеров бундесвера, которые работали на восточногерманскую разведку.

Труд д-ра фон Борке в своем первоначальном виде был попыткой заполнить пробел в области "восточных исследований" (Ostforschung), который составляла именно проблема советских спецслужб. Поэтому в книге анализируются вопросы методологии, перед которыми оказывается исследователь КГБ; уже сам предмет анализа, по природе своей, создает серьезные трудности, к этому прибавляется вопрос оценки источников, сводящихся в большинстве к признаниям бывших чекистов, что, в свою очередь, вызывает споры относительно их достоверности. Не случайно "из 299 статей на тему спецслужб, опубликованных в 1976-85 годах, только 33 были посвящены КГБ и его союзническим службам". При этом КГБ — не только самый крупный полицейский аппарат, но попросту самая могущественная тайная организация в истории (оценки автора, которая считает, что численность советских "органов" составляет примерно 500-700 тыс. человек, принадлежат — в сравнении с другими источниками — к скромным).

КГБ, правда, даже для западной общественности стал понятием с однозначно негативной окраской, а в то же время знания о нем весьма неполны. Как цели, так и методы КГБ и фактически зависящих от него МВД и ГРУ не изменились с 1917 года до 80-х годов. Менялась тактика — в зависимости от внешнеполитических обстоятельств и решений партийного руководства. При этом область деятельности советских секретных служб никогда не была определена законодательно, и приводимые автором примеры операций КГБ (и "братских служб") за пределами социалистического лагеря, последствий этих операций, а также связей, которыми коммунистические "органы" располагают во всем мире, — чтение ужасающее, хотя, казалось бы, они относятся только к прошлому. Приведем лишь несколько примеров: активная поддержка международного терроризма, возможное участие болгарской госбезопасности в подготовке покушения на жизнь Папы Иоанна-Павла II и в планировавшемся свержении президента Египта Садата, инфильтрация политических партий и создание на Западе своих организаций, служивших "крышей", дезинформация через агентов в средствах массовой информа-

ции западных стран и стран Третьего мира, психологическое воздействие, которое, например, сыграло большую роль в том, что президент Картер отказался от производства нейтронного оружия. Можно вспомнить и участие КГБ в иранской революции или попытку создать на Гренаде очередной плацдарм коммунистической экспансии в Латинской Америке.

Чтение книги затрудняют обширные подстрочные примечания, нередко превосходящие объемом основной текст, а при этом содержащие важную и мало известную информацию: самый знаменитый террорист последних десятилетий "Карлос" является агентом КГБ, выпускники московского Университета дружбы народов имени Лумумбы, руководимого КГБ, участвовали в португальской революции 1974 года, в 1979 году СССР начал тайное военное сотрудничество с Ираном. Многие сведения о деятельности КГБ, который является не чем иным, как инструментом советской политики, в западных средствах массовой информации замалчиваются, чтобы не повредить хорошим отношениям с Советским Союзом. Эта тенденция усилилась в эпоху "разрядки", особенно в ФРГ — государстве, которое в течение многих лет было главной в Европе мишенью советских "активных мер". Поэтому факты, которые следовало знать общественному мнению, были известны только узкому кругу специалистов. Во Франции несколько лет назад сенсацией стала книга Тьерри Вольтона "КГБ во Франции", хотя, кроме главы о Farewell'e (офицер КГБ, по собственной инициативе передавший французской разведке в начале 80-х годов около 4 тыс. сверхсекретных документов), книга содержала главным образом сведения, известные кругам посвященных с давних пор: однако читателям стало ясно, до какой степени КГБ проник в политику, прессу, армию или научные учреждения во Франции. Книга Астрид фон Борке не вызвала в Германии большого отклика, пресса же практически умолчала о ней; это относится и к ее первому изданию.

Второе издание, содержащее две новые главы: о перестройке и о новой религиозной политике, появилось в период необычайно положительных западногерманских откликов на Горбачева и на "новое мышление".

При чтении новых глав создается впечатление, что и Астрид фон Борке иногда поддается общей волне энтузиазма и не всегда обоснованных надежд, и у исследовательницы, выдвигающей на первый план научный подход и методологическую чистоту, это несколько удивляет. Не дает она также ясного ответа на поразительный вопрос, поставленный в подзаголовке книги, хотя такой ответ — в том числе и на основе материала, которым располагала г-жа фон Борке (до осени 1989 г.), — представляется возможным.

Несомненно, непосредственной причиной перестройки был кризис системы — неразрешимые хозяйственные и технологические проблемы, угрожавшие месту СССР в мире. Но перестройка, как, впрочем, и любой "новый курс" партийного руководства, имеет более глубокий генезис и служит определенным стратегическим целям. Инициативу и проведение реформ в пользу "либерализации" или "демократизации" советской системы, особенно после смерти Сталина,

как правило, брала на себя политическая полиция. Сразу после смерти "вождя человечества" либерализацию планировал Берия. Первые заметные начатки перестройки — дело рук Андропова, первого чекиста, который стал главой партии; процесс перемен застопорился только на период власти Черненко. Уже во времена Горбачева "можно пытаться истолковать перестройку как программу, в принципе вдохновенную КГБ; ее духовные вожди — люди, которые были связаны с КГБ или находились в близких отношениях с Андроповым" (A.Rahr. The KGB: Shield and Sword of Perestroika. RL 383/88, p.7).

Фон Борке несколько раз упоминает бывшего подполковника КГБ Анатолия Голицына, который в 1984 году выпустил в Нью-Йорке книгу "New Lies for Old"; тем не менее, автор не пытается использовать эту публикацию для того, чтобы ответить на поставленный в подзаголовке вопрос. Между тем, Голицын представил в своей книге план "стратегической дезинформации", разработанный в конце 50-х годов председателем КГБ Шелепиным и начальником Ленинградского УКГБ Мироновым: путем проведения подконтрольной либерализации и коренного изменения облика СССР на Западе этот план должен был в виде конечных результатов принести укрепление позиций Советского Союза, превращение Западной Европы в политически зависимую от СССР зону и обеспечение долгосрочной западной экономической помощи СССР. На основе сведений, которыми он располагал, Голицын предсказал события послебрежневской фазы: новый генсек ЦК КПСС зачинает демонстративную либерализацию и вводит элементы экономики свободного рынка, в значительной степени исчезает цензура, появляются свободные политические партии, наступает свержение в глобальном масштабе и подписание беспрецедентных соглашений о разоружении, советские войска выводятся из Афганистана, рушится Берлинская стена, в Польше власть берет "Солидарность", в Чехословакии на политическую сцену возвращается Дубчек, в СССР Андрей Сахаров играет официальную политическую роль — и все это в книге, которая была закончена в 1983 году. Ничего удивительного, что Ален Безансон, анализируя перестройку на основе работы Голицына, назвал свою статью "План обмана Запада".

Голицын предсказывал также "реформу" КГБ. В этом контексте обращают на себя внимание слова из приведенного в книге фон Борке выступления Чебрикова на совещании в МВД СССР в 1988 году: тогдашний шеф КГБ рекомендовал завладеть душами западных политиков. Автор относится к этому высказыванию с иронией. Чебриков с середины 70-х годов руководил советской дезинформацией, а в 1988 году возглавил комиссию по законодательству. До 1984 года ее возглавлял Горбачев, но его законодательной деятельности, в том числе и после того, как он получил верховную власть, Астрид фон Борке не уделяет большого внимания. Между тем, уголовное право в некоторых аспектах было ужесточено, в частности за счет неясных предписаний относительно "призывов к свержению государственного и общественного строя" (указ Горбачева от 8 апреля 1989 г.). Уже сам факт создания частей спецназа МВД ("черные береты") позволял предвидеть их применение, и действительно они прослави-

лись исключительной жестокостью в Тбилиси, Баку, а позднее — в Вильнюсе и Риге. Президент-генсек последовательно стремился легитимизировать свою абсолютную власть, которая значительно шире полномочий его предшественников (написано до августа 1991 г. — *Пер.*).

Все это совершенно не меняет того факта, что преобразования, которые совершаются в СССР, реальны и в значительной степени беспрецедентны, причем зачастую они выходят за рамки сценария советских планировщиков. Астрид фон Борке не учитывает, однако, стратегических целей нынешней советской политики и имманентно вписанного в нее элемента ленинской тактики. Автор чрезмерно концентрирует внимание на личности Горбачева, так же, как это делают западные политики, причем в посвященной ему части книги нередко встречаются ничем не подтверждаемые оценки, однозначно субъективные мнения или прямые спекуляции. Примечания в большой степени исчезают, зато появляются многочисленные восклицательные знаки, замечания об "эсхатологическом измерении перестройки", "миссии" и "героическом труде одинокого борца", которого-де уже в молодости мучили этические терзания. Положительная оценка Горбачева вытекает также из надежды, сопутствующей его действиям, хотя надежда вроде бы не является надежным исследовательским инструментом.

Астрид фон Борке называет Горбачева "специалистом по сельскому хозяйству" (*Landwirtschaftsfachmann*). Он заочно закончил Ставропольский сельскохозяйственный институт, когда был там секретарем крайкома. С 1978 года он был секретарем ЦК КПСС, ответственным за сельское хозяйство. В 1979 году урожай был катастрофически низким, в следующем году — еще хуже. Тем не менее, Горбачев становится в 1979 году кандидатом в члены, а через год — членом политбюро.

В 1981 году урожай рекордно низкий, СССР вынужден закупить 46 млн. тонн зерна за границей, Горбачев принимает решение приостановить публикацию статистических данных о советских урожаях. В следующие годы он отвечает за "Продовольственную программу СССР", которая до 1990 года должна была обеспечить снабжение населения основными продовольственными продуктами. И эта программа проваливается. (Вышеприведенные данные — по книге М.Я.Геллера "Седьмой секретарь".) В то же время, по некоторым источникам, Горбачев с 1979 года — заместитель заведующего, а с 1981-го — заведующий отделом ЦК по делам административных органов, а в подчинении этого отдела находятся также спецслужбы и милиция. Д-р фон Борке ищет в биографии Горбачева "KGB-connection", но усматривает ее только в том факте, что он был протеже Андропова.

На фоне событий 1990 — первой половины 1991 года довольно мрачно звучат приводимые автором слова генсека-президента о том, что каждый народ имеет право выбрать свой собственный путь. Что же касается приведенной в том же контексте цитаты "история решит", то в ней звучит не столько забота о свободе народов, сколько глубокая приверженность к марксизму-ленинизму. "Горбачев искренен,

он говорит то, что думает”, — пишет автор. После этого становится особенно важным выбор цитат, но он оставляет желать лучшего: напрасно искать в книге высказывания Горбачева о продолжении революции с помощью перестройки, о верности принципам марксизма-ленинизма и традициям большевиков. Угол зрения автора направлен на конфликт между “консерваторами” (так сегодня называют ортодоксальных коммунистов) и “обновителями” (Neuerer) и на неуточненные опасности, подстерегающие Горбачева. Символом угрозы и консервативных сил объявляется Егор Лигачев, хотя известно, что после смерти Черненко он заявил себя решительным сторонником реформ.

Конфликт между “консерваторами” и “либералами” (“догматиками” и “прагматиками”, “ястребами” и “голубями”) — это, можно сказать, канон восприятия советской политики, применяемой Западом от самых истоков советской власти. Можно обратиться к истории. В 1921 году находящийся в эмиграции Борис Савинков, который считается “врагом № 1” советской власти, тайно встречается с эмиссаром Ленина Красиным. После разговоров с ним Савинков убеждает представителей правительств Великобритании и Франции в необходимости поддержать “правую фракцию” большевиков (самый якобы “правый” — Ленин), признать Совнарком и оказать ему экономическую помощь. Это должно привести к либерализации России и ее восстановлению на капиталистических основах. Поддержка, признание и помощь следуют... На основании найденного в 80-е годы письма Савинкова к маршалу Пилсудскому и дальнейшей судьбы “врага большевиков № 1” обоснованным выглядит тезис о том, что он действовал как агент влияния (см. “Обозрение”, № 13, январь 1986, с. 40 и след.).

“Мозгом” перестройки г-жа фон Борке справедливо считает Александра Яковлева. Тем самым в дуалистическом подходе ему отведено место выдающегося представителя “обновителей”. Президента Рейгана яро атаковали “консерваторы”, подчеркивает автор. Между тем автором, пожалуй, самых яростных пропагандистских нападок на Рейгана является именно Яковлев — речь идет о книге “На краю пропасти”, английский перевод которой вышел в Москве уже во времена Горбачева.

Похоже, что в период “перехватывающих дыхание” перемен в СССР следует не забывать об историческом подходе и принципах, сформулированных Леопольдом фон Ранке (“установить, как было на самом деле”).

В достоинствах такого подхода убеждает рассматриваемая книга: часть, посвященная советским “органам” и написанная на основе источников и знания литературы предмета, остается практической энциклопедией знаний об этом уникальном в истории феномене; зато разделы о Горбачеве скорее свидетельствуют об успехах перестройки в среде немецких советологов.

*Перевод с польского Н.Г.*

Татьяна Янковская

## ”ЕДИНСТВО СЕРДЦА И СТРОКИ, ПОСТУПКА, ЖЕСТА...”

Но песня перехватит горло,  
И я опять с душою голой  
Стою открыта всем ветрам...

Е. Яровая, ”Венок сонетов”

В августе прошлого года нам принесли послушать пленку московского барда Кати Яровой. Имени этого никогда раньше не слышала, хотя продолжала интересоваться творчеством бардов и после отъезда из Союза в 1981 году. И вот мы слушаем пленку, сначала вполуха. И вдруг –

Память, словно кровь из вены,  
Хлещет – не остановить.  
Объявили рейс на Вену,  
Словно ”быть или не быть”.

И таможенник Хароном  
По ту сторону перил.  
Как по водам Ахерона,  
Ты поплыл, поплыл, поплыл...

Так защемило душу от этой знакомой картины, ставшей знаменем времени в России последнего десятилетия. Все мы через это прошли – одни уезжали, другие оставались. Но я никогда еще не слышала, чтобы так говорилось об эмиграции, о трагедии расставания – светло и печально.

Оказалось, что Катя в Америке и заинтересована в концертах. Возникла идея пригласить ее в Олбани. И вот я звоню ей по телефону – ”расскажите о себе”. ”Начала писать песни в 25 лет, сейчас их больше трехсот. До этого никогда ни песен, ни стихов не писала. Нормально человек проходит через периоды подражания, развития – у меня ничего этого не было”. Пытаюсь выудить что-нибудь еще, что могло бы привлечь слушателей на концерт. Она ничего значительного припомнить не может.

– Мне говорили, что о вас была передача по телевизору, что вы лауреат Всесоюзного конкурса бардов.

– Да, действительно, но если бы вы мне сейчас не напомнили, я

бы сама не вспомнила. Для меня это не так важно.

– У вас выходили пластинки?

– Нет. Мне предлагали выпустить пластинку, но только лирические песни, политические не хотели включать, и я отказалась.

– Но ведь лирические песни очень хорошие!

– Я считаю, что без политических песен мое творчество было бы представлено неполно, а я их ценю и считаю, что они не менее важны.

– Бывают у вас официальные концерты?

– Я бард и этим зарабатываю на жизнь. Я много езжу по стране. Меня приглашают спеть где-нибудь, но если я, например, спою песню про ЦК, то меня уже туда снова не пригласят.

– Но ведь у вас же гласность?!..

...Хорошо б залечь на дно и не колыхаться,  
Надо б эти все дела тихо переждать.  
Гласность – гласностью, но все ж не стоит забываться.  
Сегодня есть, а завтра нет, и всех начнут сажать...

.....

...Законы – для юриста,  
Лекарства – для врача,  
А для оптимиста –  
Заветы Ильича:  
Для народа – гласность,  
Для мира – безопасность,  
А все лучшее пока  
Только для ЦК...

За год, проведенный Катей в Соединенных Штатах, у нее было немало концертов. Она выступала в Йельском университете, Беркли, колледжах Амхерст, Вильямс, Юнион, Скидмор, Кольгейт и других. Было много домашних концертов, выступления в синагогах и еврейских центрах. Мы с Катей познакомились, и я узнала о ней больше. Но все-таки лучше всего помогли мне ее понять ее песни.

Так кто же такая Катя Яровая?

Не музыкант и не певец –  
Поэт бродячий,  
Властитель дум и душ ловец  
Поет и плачет.

И оценить нельзя его  
Души весомость,  
Когда не весят ничего  
Ум, честь и совесть.

Законы времени строги  
К единству места,  
Единству сердца и строки,  
Поступка, жеста...

В этих строках и толкование Яровой роли барда, и ее поэтическое кредо, которое, как видно, теснейшим образом связано с жизненным кредо. (Текст этой и некоторых других песен я не видела в рукописи, они записаны с пленки, и пунктуация может расходиться с авторской.)

Когда еще шла война в Афганистане, Катя написала об этом песню. Однажды она выступала в Узбекистане в госпитале перед ранеными "афганцами". Она совсем не должна была петь эту песню, это был риск – как-то они к этому отнесутся? – но она пошла на него, считая, что иначе это было бы трусостью.

...Бросают их в десант, как пушечное мясо.  
Кто выживет – тому награды и почет.  
Пока мы тут сидим, пьем чай и точим лясы,  
Сороковая армия идет вперед!

Идет обратно в цинковых гробах,  
В медалях, звездах, знаках, орденах.  
"Хотят ли русские войны?  
Спросите вы у тишины..."

Когда она кончила, на миг воцарилась тишина, а потом разразились аплодисменты – хлопали все, "кому было чем". Они думали и чувствовали то же, что и она. В Ташкенте ей запретили петь песню про хлопок, но она сказала со сцены: "Товарищи, мне запретили петь эту песню, но я ее исполню и предупреждаю, что администрация за это ответственности не несет. Отвечаю лично я".

Юнна Мориц была у нее одним из рецензентов на защите диплома в Литературном институте (Катя поступила туда в 26 лет). В рецензии она благодарила институт и Льва Ошанина, руководителя семинара, за то, что они не подавили Катину самобытность, не пытались причесать ее "вихрастые стихи". Конечно, спасибо Ошанину, но дело и в самой Кате – не укладывается она в прокрустово ложе, да и все!

Из интервью А.Рубенко ("Мастерская", Таллинн, 4/1989): "Ошанин убрал несколько стихотворений с резолюцией: "Это, конечно, одни из лучших твоих вещей, но мы их выкинем". Когда очередь дошла до послесловия к фильму "Покаяние" ("Бредем вслепую, в темноте, теряя ориентиры..."), я не выдержала. "Лев Иванович, – говорю, – вы сейчас находитесь в том возрасте и в том положении, когда бояться вам уже нечего и некого. Диплом – моя собственная судьба, и я несу полную ответственность".



Кстати, государственная комиссия вызвала ее на бис и поставила "отлично". А песня действительно замечательная. Это послесловие не только к "Покаянию", но и ко всему тому нескончаемому пути длиной в 70 с лишним лет, который, казалось, никогда не кончится.

...А кто надежды подавал – тот просит подаянья.  
А тот, кто в первых был рядах, – устал или отстал.  
Толпою к Ироду ведут младенцев на закланье.  
А тот, кто молотом не смог – тот наковальной стал.

.....

А в темноте мы все равны и все равно какие,  
А стать белей и чище стать и смысла вроде нет...  
Но не покинет вера нас, надежда не покинет –  
Ведь впереди там должен быть в конце тоннеля свет!..

Интересно, что пророчества ее сбываются. Кто бы мог подумать еще совсем недавно, что и эти строки станут правдой:

...Слышали, что партию собрались, ей-богу,  
Говорят, от государства вовсе отделить?!  
Будет наша партия, как храм и синагога,  
Сама собой командовать, сама себя кормить.

.....

И осталось только нам  
Переждать, пока  
Станут все, кто был в ЦК,  
Когда-нибудь "эка".

Хотя Катя не писала песен до 25 лет, весь ее опыт был подготовкой к этому. Хотела стать актрисой, не попала в театральное училище, работала натурщицей – там больше платят. (Наверное, страшновато обнажать свое тело перед толпой, даже если это твоя работа. А обнажать душу – не страшно?) Потом работала костюмершей и театральным администратором. Говорит, что у нее нет любимых поэтов, хотя ей близки Некрасов, Цветаева. Преклоняется перед Бродским. Очень любит Салтыкова-Щедрина, Набокова и Платонова. Три книги в русской литературе и три в зарубежной, по выражению Кати, перевернули ее сознание. Это "Слово о полку Игореве", "Житие протопопа Аввакума", "Горе от ума" и "Фиеста" Хэмингуэя, "Сто лет одиночества" Маркеса, "Иосиф и его братья" Т.Манна. Поэтов любимых нет, а вот бардов очень любит. Это Галич, Вертинский и Высоцкий, Окуджава и Н.Матвеева, Ким и Долина.

Литературные пристрастия Яровой помогают понять истоки ее творчества. Ее темы: потерянное поколение, избавление от рабства,

эпос и мифология, одиночество и скитания, судьбы России и маленького человека, язычество по соседству с монотеизмом. Жанр ее песен весьма разнообразен: любовная и философская лирика, политическая сатира, гротеск, фантазия. Ее стиль отличаются лаконизм, точность, фольклорная простота языка. Интересно, что в жизни для Кати характерны приподнятые интонации, она восклицает и восхищается, не опасаясь высокопарных слов в выражении дружеских чувств и благодарности. А в поэзии она скупа в выборе выразительных средств, мерит эмоции точной мерой. При этом она свободна и раскованна, совершенно лишена фальши, для нее нет запретных тем. Ее стихи — это концентрат мыслей, чувств, затронувших душу поэта, которая отзывается то одной, то другой струной, то мощным аккордом.

Настанет день — и в воздухе растает  
Твое лицо.  
Настанет день — тебя со мной не станет  
В конце концов.  
Растает тень — рука моя наткнется  
На пустоту.  
Настанет день — и голос мой споткнется  
О немоту...

Эта песня — лучшее, что я знаю в женской лирике, написанное за последние двадцать пять лет. Так внешне просто передана трагедия предчувствия разлуки, когда внутри — крик, когда отрывают от живого.

Скупость поэтической палитры отнюдь не сковывает воображения, не ограничивает выбора тем. Тут она дает волю своему мятежному темпераменту. Ей привычно и надежно среди стихий.

...Я снова вхожу в это море  
Со старым названием Жизнь,  
Где волнами счастье и горе  
Так хлещут, что только держись.  
Я бьющую руку целую  
И к ней припадаю щекой.  
От боли пою аллилуйю,  
Мне в буре есть высший покой.  
Пред этой жестокой стихией  
В немом восхищеньи стою.  
И я посвящаю стихи ей,  
Все жертвы иные плохие,  
И песни восторга пою...

Она приносит жертву стихиям, язычница Катя, стихами ("а между нашими плечами рифмую я полет стихий"). Она говорит от имени стихий ("ведь я земля, богиня Гейя, прекрасна, вечна, молода!") и

сама стихия ("Ты меня узнаешь? Я стихия твоя.")

Такое отождествление себя со стихиями, наделение их человеческими чертами характерно для эпоса. Катя переносит эти приемы из глубины веков в нашу повседневность, в весеннюю Москву, изменив лексику и интонацию.

Я вымою стволы и тени простирну,  
Я причешу траву и лужи подотру,  
Подвешу облака, чтоб с них стекла вода,  
А птицы, как прищелки, сидят на проводах.

В ее песнях полет над сонной Москвой не менее реален, чем прогулка по Сигулде.

В интервью, данном А.Рубенко, Яровая говорит о "генеалогическом древе" русской авторской песни, которое представляет себе/так: Вертинский, Галич, Высоцкий – ствол, остальные барды – ветви. "Даже Окуджава, который мне очень нравится". Каждый волен предлагать свою классификацию, для поэта это всегда связано еще и с поиском своего пути и осознанием собственного места в поэтической иерархии, но мне такая точка зрения кажется правомерной. Это напоминает мне цветаевское деление на поэтов с историей и поэтов без истории (чистых лириков). "Над первыми (стрела) – поступательный закон самооткрывания. Они открывают себя через все явления, которые встречают на пути... Поэты с историей прежде всего – поэты темы... Они редко бывают чистыми лириками. Они слишком велики по объему и размаху, им тесно в своем "я" – даже в самом большом; они так расширяют это "я", что ничего от него не оставляют, оно просто сливается с краем горизонта. (Помните, у Высоцкого: мой финиш – горизонт, а лента – край Земли, я должен первым быть на горизонте! – Т.Я.) Человеческое "я" становится "я" страны – народа – данного континента – столетия – тысячелетия – небесного свода... Весь их земной путь – череда перевоплощений... Для поэтов с историей нет посторонних тем, они сознательные участники мира... Чистая лирика живет чувствами. Чувства всегда – одни. У чувств нет развития, нет логики... Чувство... всегда начинается с максимума, а у великих людей и поэтов на этом максимуме остается. Чувству не нужен повод, оно само повод для всего... Чувству нечего искать на дорогах, оно знает, что придет – и приведет – в себя. Зачарованный круг... Итак, еще раз: Мысль – стрела. Чувство – круг".

Итак – ствол и ветви у "генеалогического древа" русских бардов. Стрела, ствол – это то, что можно продолжать, развивать. Ветвь, круг – замыкает себя, себя исчерпывает. Нельзя "продолжать" Окуджаву, можно пытаться ему подражать, хотя это бесполезно – им нужно родиться. Другой бард – чистый лирик, это новая ветвь, свой неповторимый круг изобразительных средств. Это ничуть не умаляет

их значения. У Цветаевой пример поэта без истории – Пастернак, которым она так восхищается.

То, что делали Галич или Высоцкий, можно развивать и продолжать. Их песни стали энциклопедией жизни советского общества 60–70-х годов. Песни Кати Яровой позволяют нам увидеть и услышать Россию 80-х. Афганистан, Сумгаит, Прибалтика, падение нравов, рост дефицита и цен, перестройка – при этом мы слышим живой язык и интонацию нового поколения. “Поэты – ловцы интонаций”, – замечательно сказала Ахматова. Окуджава, Матвеева, Долина – у каждого из них своя неповторимая интонация, подкупающая искренностью и лиризмом. Яровая, как Галич и Высоцкий, удивительно верно передает интонацию своего времени.

Еще Салтыков-Щедрин писал об утверждении в русской литературе “особенной рабской манеры писать, которая может быть названа эзоповскою”, и о развитии искусства понимать аллегории, читать между строк. Эта “рабская манера писать”, так же как и искусство понимать ее, достигли вершин при советской власти. Галич первым отказался от эзоповского языка, Высоцкий писал: “Во мне Эзоп не воскресал. В кармане фиги нет, не суетитесь!” У Яровой много песен на политические темы. Ее оценки остры и бескомпромиссны, порой провидчески. И всегда открытым текстом.

Язык эзопов, словно бес,  
Попутал нас – вот наказание!  
Я правду-матку режу без  
Наркоза – без иносказания.

Нередко приходится слышать, что политические песни “не идут”, быстро устаревают и т.п. Стоит ли ей писать их – ведь у нее прекрасные лирические песни. Но она не может их не писать! Ее интерес к миру глобален, и многогранность ее творчества вызвана многогранностью самой жизни. Нельзя пытаться задушить в себе песню – есть опасность замолчать навсегда, ибо “умирают стихи от насилья”.

Зачем так страшна и прекрасна  
Заветная песня души?  
В ней нотой сфальшивить опасно,  
Ее заглушить – труд напрасный,  
Как пламя рукой потушить.

Такие попытки принизить политические песни (не только Яровой, но и, к примеру, Галича) напоминают извечный спор о том, что выше – поэзия или проза, поэзия лирическая или гражданская. Е.Эткинд в “Материи стиха”, говоря об отношении Блока к спору о литературной иерархии, комментирует цитату из его последней статьи: “Нет чисто литературных вопросов – настоящие писатели должны думать не о них, а о единственно ценном, о душе, – они должны ста-

раться быть "больше похожими на свою родную, искалеченную, сожженную смутой, развороченную разрухой страну!"

Яровая ясно ощущает, что "по стране бродит призраком смута", и то состояние безысходности, предчувствия физической гибели, которое присутствует в настроении сегодняшней России. В настоящий момент доминирует эйфория послепереворотных событий, но немало еще предстоит пережить.

В каких мирах пристанище отыщет  
И обретет неведомый от века  
Покой, как сирота или калека,  
Влачившая судьбу, как Божий нищий.

Грехами, как поклажею, навьючена,  
Пройдя свой путь от святых дней до лагерей,  
Издранная проволокой колючей,  
Душа России, бедной родины моей?..

Некоторые политические песни Кати по стилистике близки к анекдоту. Я не знаю подобных песен у других бардов. Она расширяет рамки жанра авторской песни, используя эту неотъемлемую часть городского фольклора с его грубоватым юмором, порой некоторым цинизмом, безошибочной политической ориентацией. Роль политического анекдота в советском обществе неопределима. Не зря же В.Буковский считает, что анекдот достоин памятника.

В своей книге "И возвращается ветер..." он пишет: "И уж раз зашла речь о памятниках, то нужно еще поставить монумент человеку с гитарой. Где, в какой стране скверные любительские магнитофонные записи песенок под гитару будут тайно, под угрозой ареста распространяться в миллионах экземпляров?.. Чем дальше, тем больше возникло этих незримых фигур с гитарами. Им не давали залов для выступлений, за каждую их песню могли намотать срок... Их предшественникам на заре человечества было легче: никто не сажал в тюрьму менестрелей, не тащил в сумасшедший дом Гомера, не обвинял его в слепоте и односторонности. Для нас же Галич никак не меньше Гомера. Каждая его песня — это одиссея, путешествие по лабиринтам души советского человека."

...А он идет из дома в дом,  
Поет на кухне,  
Пока с последней звездой  
Сам не потухнет.

Устанут гости за столом —  
Им не под силу,  
И он идет из дома в дом  
За "спасибо".

А он идет из века в век,  
 Поэт бродячий,  
 Идет, не опуская век,  
 Гомер незрячий.  
 И сколько правды не ищи,  
 Но будут правы  
 Все те же белые плащи —  
 Подбой кровавый.  
 Он на пиру незванный гость,  
 Где званых орды.  
 Бельмо в глазу и в горле кость  
 Его аккорды.  
 А соль земли им ни к чему —  
 Полно селедки.  
 Он вам споет — еще ему  
 Налейте водки!  
 Он вам споет, еще споет  
 Поэт бродячий.  
 И он поет, и водку пьет,  
 И плачет...

Это продолжение уже цитированной песни о бродячем поэте. Эта песня не только поэтическое кредо поэта-барда, но и памятник им всем, от Гомера до Высоцкого, и будущим, которых мы еще не знаем. Мне хотелось бы, чтобы Буковский услышал эту песню.

Ну, а Вертинский? По-моему, очень важно, что Катя не забыла его. Он начал свой путь еще перед Первой мировой войной своими новаторскими по форме песнями-ариетками. Их сюжетность и особая интимная интонация подкупали слушателей, были лишены официально-патриотического духа. На протяжении десятилетий его песни отражали историю его поколения, продолжая завоевывать сердца слушателей. Он сочинял музыку на слова других поэтов, но в основном пел свое, оставаясь собой и в песнях на чужие стихи, тем более что выбор был не случаен, а зачастую он выступал соавтором слов. Но и его собственные стихи были талантливы. Ю.Олеша, мастер метафоры и большой ценитель ее в творчестве других, восхищался строчками Вертинского "и две ласточки, как гимназистки, провожают меня на концерт". Главное же, он не боялся открыто говорить о сокровенном, "в песнях душу разбазаривать".

Он населяет свои песни многочисленными персонажами, наделяя их речевыми характеристиками, точно передает интонацию своих современников: "а вам какое дело!", "ты, отец, ужасно устарел!". К.Рудницкий сравнивает его песни с новеллами. Песни Галича называли романами, пародиями, спектаклями, сценариями, полифоничес-

кими поэмами. А песни-монологи, диалоги Высоцкого – целая галерея персонажей! Театр – вот что объединяет всех троих. Не случайно Вертинский, как и Яровая, пытался стать актером (а после возвращения в Россию успел сняться в кино), а Высоцкий и Галич актерами были. Театрализованный мир их песен вызван тягой к мифологии, полифоничностью тем, особенностью дарования.

В "театре" Вертинского немало экзотической бутафории: гавайская гитара, попугай по имени Флобер, синий далекий океан и розовое море. Но ведь он пришел из десятых годов, из тех времен, когда были живы маски ахматовской "Поэмы без героя". У Галича и Высоцкого нет романтических атрибутов – другое время, другие песни.

"Театр" Екатерины Яровой имеет свои неповторимые черты. Как и у ее предшественников в этом жанре, у нее тоже есть песни, написанные в виде диалога или от имени персонажей (например, "Галя, к тебе ведь сватается Лешка"), но в основном такие песни написаны для спектаклей. В большинстве же ее песен выбор лексики и интонации диктуются выбором темы и жанра, а написаны они от первого лица – я, мы – от лица нашего современника.

Есть два типа актеров. Одни полностью перевоплощаются от роли к роли, другие во всех ролях прежде всего играют самих себя. В каждой они находят что-то близкое, созвучное своему внутреннему миру и живут жизнью этого персонажа, оставаясь собой. Так "играет" роли в своем театре Катя Яровая. Она живет в том же пространстве и времени, что и мы, только глаз у ней острее, да кожа тоньше, да еще дан ей песенный дар. Многие признаются, что плачут, слушая ее песни. При этом ее никак нельзя упрекнуть в сентиментальности, нет в ее песнях никаких расхожих приемов, рассчитанных на выживание слез у слушателей. Но каждый может найти в них что-то, что его глубоко волнует. Люди любили, переставали любить, прощались, прощали, переживали ссоры родителей в детстве, хлестали водку из граненых стаканов или пили с подружкой кофе из чашечек саксонского фарфора, так не гармонирующих с атмосферой коммунальной квартиры; не хотели, чтобы кончалось лето, испытывали одиночество и тяжело болели.

Отец мой, ты меня недолюбил.  
Недоиграл со мной, недоласкал.  
И на плечах меня недоносил,  
Как будто детство у меня украл.

.....

А мне любовь нужна, как витамин.  
Ищу похожих на отца мужчин.  
Но кто же мне излечит – вот вопрос –  
Любви отцовской авитаминоз...

Порой у нее появляется тот безмятежно-радостный тон, которым все бы должны говорить в "особой стране оптимистов-профессионалов". Так Салтыков-Щедрин в "Истории одного города" прятал иронию за наивной манерой летописца-обывателя и притворной солидарностью с противником. При этом он придумывал фантастические сюжеты для усиления сатирического эффекта. Сто лет спустя советская действительность сама преподносит нам сюжеты один фантастичней другого. Например, когда Кате негде было жить, она целый год жила с семьей в красном уголке общежития.

...На подъезде нету кода,  
Но решетка на окне.  
И прибит Моральный Кодекс  
В изголовье на стене.

Не страшны мне катаклизмы,  
Что хочу себе пою.  
В уголке социализма  
Проживаю как в раю.

.....

На меня глядит с портрета  
Ленин с кепочкой в руке...  
Если жить в стране Советов,  
То уж в красном уголке.

Не хочу я жить в квартире,  
Мне теперь все нипочем!  
Я пожить могла бы в тире,  
Впрочем, все мы в нем живем...

Эту песню несколько раз хотели напечатать, но каждый раз срывалось: то смущал Ленин с кепочкой в руке, то строчки о тире. Как-то включили в телевизионную передачу, но в последний момент передача показалась кому-то слишком длинной. Что же выкинули? Угадали! Яровую с "Красным уголком".

Кого-то это может удивить — да ведь теперь там такое печатают... Да, но вспомните, было время — и Солженицына печатали, и Абрамова, и Тендрякова, и "Наследников Сталина", и "Бабий Яр"... А вот ни Галича (я имею в виду Галича-барда), ни Высоцкого, которых знала и любила вся страна, при жизни не печатали.

Вскоре после попытки переворота Яровая, выступая в Москве в АПН, устроила "публичные похороны" своих политических песен, многие из которых внезапно устарели. Она сказала, что с удовольствием сдаст их в Музей Революции. Да, такова участь театра: спектакли злободневны и быстро сходят со сцены — но лучшие пьесы возвра-



щаются вновь и вновь, по-новому осмысленные грядущими поколениями. Так же наши потомки будут снова и снова обращаться к творчеству лучших наших бардов.

Я уже упоминала, что для песен Яровой характерно одушевление стихий. Так она очеловечивает и важные для нее эмоции и понятия, наделяя их собственными именами.

По свету бродит одинокая  
Самоубийцею под окнами  
Моя Любовь

неутоленная,

Как головешка обоженная,  
По свету бродит обнаженная  
Моя Душа

испеленная.

Течет в сосудах заточенная  
Со мной на веки обрученная  
Моя Печаль

неосветленная...

(В этой "неосветленной печали" эхо пушкинского "мне грустно, но печаль моя светла").

Душа – излюбленный персонаж Катиных песен. Голая душа, открытая миру, взваливающая на себя его горести и радости. Это нелегкая ноша – поэтому мы узнаем, что "душа устала от порывов. Устала и жива едва". Или читаем: "на перекрестке дел моих и дней меня продуло так, что ломит душу". И все же душа стремится воплотиться в песне, пусть и дорогой ценой.

Если песня от губ отлетает,  
Как душа отлетает от тела,  
Песня тает, но не исчезает,  
Даже если душа отлетела.

Как и бродячий поэт, душа бездомна. Но душа живет вечно, а поэт смертен. Если поэт выбирает высшую "свободу быть только самим собой", то за это приходится платить.

...Я ношу себя по свету  
И не знаю я при том,  
Что, живя на свете этом,  
Я сама себе свой дом.  
А во мне душа бездомна,  
Погостит – и сгинет след...  
По счетам плачу огромным  
За ее тепло и свет.

В Америке родилась еще одна песня, посвященная теме скитаний.

...И, видно, недостаточна была  
Мне та земля для тяжелых испытаний,  
Чтоб чашу до конца испытать смогла  
Бездомности, сиротства и скитаний.

И выбор, самый тяжкий в мире груз,  
Не облегчен гоненьем и изгнанием.  
Чужбина! Слово пробую на вкус.  
Разлуки горечь в нем и соль познания...

Дело, конечно, не в Америке. Не случайно сюда перекочевала слегка видоизмененная строфа из ее более ранних стихов. Истинный поэт введом призванием и провидением, ему целый мир чужбина, и не у каждого есть свое Царское Село – отечество выбранное, а не данное, тот источник, у которого можно исцелиться душой в трудную минуту. Однако поэт знает, "как трудно не свершить того, что суждено", и приемлет свою судьбу. Быть может, без испытания бездомностью невозможно испытать ощущение полета?

Закружим, полетим с тобой однажды утром сонным,  
Как страшно, как прекрасно быть бездомным  
И ничего у Бога не просить.

Больше, чем бездомность, ее страшит возможность неосуществления – безрадостная участь ее поколения.

...Достались нам одни обноски:  
Вставная челюсть на присоске,  
Пятидесятых отголоски,  
Шестидесятых подголоски.

Обозначены сроком  
Между "Битлз" и роком,  
Между шейком и брейком,  
Между Кеннеди и Рейганом,  
Между ложью и правдой,  
Меж Кабулом и Прагой,  
Между хиппи и панками,  
И всегда между танками...

.....  
Тридцатилетние подростки,  
У нас лишь планы да наброски.  
На нас взирает как на взрослых  
Поколение девяностых...

Эволюция образа несостоявшейся личности проходит через песни "Про Родину-мать" ("Жить в рабстве так же сладко, как спать ребенку в мокрых пеленках") о пребывании людей вечными детьми в коммунистическом рае, и в "Послесловии...", где метафора доведена до предела – "бредут толпою эмбрионы, кому родиться не дано во тьме кромешных дней". Но нет, во что бы то ни стало – родиться, осуществиться!

Прогрызаю я плаценту,  
Рву зубами пуповину,  
Жить хочу на сто процентов,  
Не хочу на половину!

Ее одолевают сомнения – а по плечу ли это ей? Но призвание обязывает, и другого пути нет.

...Все же я грызу плаценту,  
Пуповину рву зубами,  
Я хочу идти по центру,  
Хоть по лезвию – по центру,  
Хоть порежусь – но по центру,  
Каждый рвется ближе к центру,  
Кто последний? Я за вами!

Но очередности здесь нет, она в другом месте – там, где получают пайки, льготные путевки, членские билеты... А "резать в кровь свои босые души" дано лишь тем, у кого талант сильнее инстинкта самосохранения. Это они обречены пророчить кассандрами, писать "непроходимые" стихи, оставаться собой до последнего дыхания. Но именно они помогли пережить "тьму кромешных дней" и сохранить души для грядущих перемен.

В. Буковский не случайно пишет о значении "человека с гитарой", барда для нашей культуры. Их песни получили воистину всенародное распространение и признание в послесталинские годы. Возрождение бардовской песни имеет несколько причин. Одна из них та, что в эпоху стремительно развивающейся системы коммуникаций все мы, хотим мы этого или нет, все больше становимся слушателями и зрителями, чем читателями. Радио, телевидение, магнитофоны, концерты перед огромными аудиториями во всех уголках Земного шара... Ведь авторская песня популярна не только в Союзе, но и в Америке, и во Франции, например (с поправкой на национальные культурные традиции). В Союзе есть еще одна причина: возможность распространения минуя цензуру.

Так или иначе, авторская песня живет и развивается. И тут мне хотелось бы поговорить о мелодии в авторской песне. Часто значение мелодии в ней принижается и даже отрицается. Кате иногда говорят: зачем тебе музыка, у тебя же прекрасные стихи сами по себе. Вот что

писала на эту тему Нозелла Матвеева: "Иногда говорят, будто я "исполняю свои стихи под гитару". Мне кажется, что под гитару я исполняю все-таки песни, а не стихи. Тем более, что я вообще очень резко отделяю стихи от песен... Откуда же это выражение: "Стихи под гитару"? Может быть, таким образом утверждается главенство слов над мелодией? Может быть, чтобы уравнивать в правах свои слова и мелодию, надо быть непременно композитором-профессионалом? Но при таком взгляде пришлось бы отрицать очевидное: стариннейшую, всеевропейскую, прочно существующую "менестрельскую" песню. Ту как раз песню, мелодия которой не может быть хуже или лучше слов. ибо слова и музыка в ней неразрывны. Недаром и возникают они чаще всего одновременно".

Бард является одновременно и автором, и интерпретатором, и исполнителем своих песен. Мелодия дает стиху новое измерение, которое помогает песне "в душу к нам проникнуть и зажечь" и воспринять ее именно так, как задумал автор. Она несет и структурную, и смысловую, и эмоциональную нагрузку, проясняя ритмический рисунок, оттачивая фразировку, создавая особую атмосферу, которая облегчает наше восприятие.

Но при том что Катя Яровая прежде всего бард, нельзя не отметить ее поэтическое мастерство. У нее свой почерк, свои излюбленные поэтические приемы.

Я уже говорила об определении, данном Юнной Мориц Катиной поэзии, — вихрастые стихи. Это относится, в частности, к ее порою синтаксически неприглаженному стилю, передающему современный разговорный язык, что придает большую живость и аутентичность ее стихам, как ее речи — уральская скороговорка, просвечивающая сквозь ее московский говор (Катя родилась в Свердловске и до седьмого класса жила на Урале). Иногда она предпочитает просторечие, шероховатость принятому стандарту литературной речи. Выбор этот никогда не случаен, он ассоциативно расширяет рамки смысла.

Зачем трубить в ржавеющие трубы,  
Зачем трудить надтреснувшие губы,  
Зачем так примитивны мы и грубы,  
И на ночь совесть запираем на засов?

В слове "надтреснувшие" — и потрескавшиеся губы, и надтреснутый звук ржавой трубы.

Надоело петь мне песни  
С видом кротким и печальным,  
Меланхольным и прощальным —  
Лучше быть глухонемой.

"Меланхоличный" — это одновременно и меланхолический и малахоличный.

Многоплановость образов может быть проиллюстрирована следующим примером.

Я снова вхожу в это небо  
Со старым названьем: Душа.  
С вином и горбушкой хлеба  
Туда я войду не спеша.  
И это святое причастье  
Дает ощущение мне  
Причастности к жизни, и счастья.  
И света в промытом окне.

"Света в промытом окне" – удивительно емкий образ. Это и освещенное в ночи окно, которое дает нам надежду в пути, и ощущение уюта "в чистом и прибранном доме", покойного размеренного быта, и – "свет в окошке", то есть кто-то, кто нам дорог, чье присутствие наполняет жизнь смыслом и счастьем.

Таких примеров можно привести множество, но эта тема требует отдельной статьи. Кстати, в этом же отрывке можно наблюдать и еще одну особенность поэзии Яровой: звуковые повторы в словах, несущих основную смысловую нагрузку, обычно в двух-трех соседних строчках. Здесь это причастье – причастности – счастья.

К сожалению, так повелось на Руси, что многие талантливые ее люди, особенно поэты и художники, находят официальное признание после смерти. Многие из нас страдают странной дальнорочностью: мы боимся разглядеть поэта в человеке, живущем среди нас. Мы готовы им восхищаться, но потом, когда он, безопасно отдаленный временем, пылится на полке рядом с классиками. А как насчет того, чтобы издать книжку стихов сейчас? Выпустить пленку? Помочь организовать концерты? Сейчас есть возможность организовать совместное предприятие и продавать книжку и пленки и там, и здесь. В Союзе они бы быстро разошлись. Еще в 1989 году А.Руденко назвал ее восходящей звездой, и интерес к ее творчеству растет.

В Англии и Франции она могла бы выступать не только перед русскоязычной аудиторией. Существуют переводы на английский язык, сделанные Джейн Таубман и Элейн Ульман. Мне известно, что есть и французские переводы. Во время Катиного пребывания в США я неизменно наблюдала огромный интерес к ней американцев.

Я не сомневаюсь, что время работает на Катю. Ее песни несут нашим душам очищение, и если "не услышит имеющий уши", то "имеющий душу услышит". Пусть же и поэт услышит нашу признательность и пусть это произойдет сейчас. Пока мы живы.

Пока мы живы, зазвучат слова пускай,  
... слова любви ...

*Апрель – сентябрь 1991. Скенектади, Нью-Йорк*

Виктор Малкин

## БОРИС СЛУЦКИЙ, КАКИМ ЕГО ПОМНЮ

С Борисом Слуцким я познакомился осенью 1946 года у Давида Самойлова. В те годы, с 1946 по 1953, Давид Самойлов – друзья называли его Дезик – с женой Лялей жили на улице Мархлевского в доме № 4, фасадом почти выходящим на улицу Кирова. Они занимали в большой коммунальной квартире одну – просторную – комнату. Здесь собирались молодые поэты: Борис Слуцкий, Сергей Наровчатов, Николай Глазков; бывали Семен Гудзенко, Александр Межиров, Наум Коржавин. Приходили сюда и актеры, ученые, среди них физик Лев Ландау, доктор экономических наук Яков Кронрод...

Начал перечень с Бориса Слуцкого потому, что он чаще других, почти ежедневно, бывал в этом доме. У него в Москве не было ни близких родственников, ни жилплощади – он периодически где-нибудь снимал комнату, поменьше, подешевле. В доме Самойлова Борис, как говорится, дневал и ночевал, чувствовал себя свободно – хорошо. Он был очень дружен с Давидом Самойловым. Их дружба была настоящей – полностью равноправной и творческой. Они часто спорили, всегда сохраняя при этом доброжелательное, я бы сказал, любовное, братское отношение друг к другу.

У Самойлова я бывал часто и почти каждый раз встречал Слуцкого. Сначала у меня сложилось мнение о Слуцком как о суровом, гордом, даже надменном и замкнутом человеке. Вспоминалась известная строка Блока: "...недоступный, гордый, чистый, злой..." Убеденный член партии, он был безоговорочно предан коммунистическим идеалам и великому вождю. Гордый непосредственной причастностью к Великой Освободительной и к исторической победе Слуцкий казался мне похожим на прославленных легендарных комиссаров гражданской войны, с которыми он, комиссар Отчественной, был как бы в кровном родстве.

Худой, несколько выше среднего роста, хорошо и сильно сложенный, широкоплечий, всегда подтянутый, с офицерской выправкой; неизменно одетый в военную форму – таким помнится мне Борис в те годы. Черты лица Бориса были рельефны, четко очерчены: крупный с горбинкой нос, мощный лоб с крутыми надбровьями, немного навывкате бледно-голубые глаза. К этому следует прибавить густые светлые с рыжеватым оттенком волосы и пшеничные усы. Вот портрет Бориса Слуцкого послевоенных лет.

Во время первых встреч Борис внимательно вслушивался и всматривался в меня. Постепенно мы все больше и больше сближались. Этому, мне кажется, способствовало несколько разной значимости обстоятельств. Выяснилось, что мы родились "под одними звездами", то есть в один и тот же день — 7 мая. Вскоре он убедился, что я серьезно занимаюсь наукой и искренне увлечен русской и советской поэзией; почувствовал он и доброе отношение к себе. Он доверительно рассказал мне, как врачу, что страдает приступами сильных головных болей и бессонницей.

Я понял, что первое впечатление о Борисе, как о сильном, жестком человеке было ошибочно: позу я принял за характер. Понял, что за суровостью скрыта доброта, мягкость, духовная ранимость.

Ничего вдохновенно-поэтического в облике Бориса Слуцкого я не замечал, божественность ему была чужда. По складу характера, поведению, интересам, отношению к людям Слуцкий был серьезным, деловым, любознательным человеком, склонным к глубокому анализу всех явлений (сторон жизни), которые его интересовали. Он был энциклопедически начитан, умел обстоятельно собирать и анализировать факты. Интересы его были прежде всего сосредоточены на русской поэзии, истории, политике, экономике.

О повседневных, бытовых делах Борис беседовать избегал.

С женщинами Борис был неизменно предупредителен и любезен. Я ни разу не замечал, чтобы он какой-нибудь отдавал предпочтение. Некоторые завсегдатаи салона Самойловых пытались порою пошутить над столь холодным, аскетическим отношением Слуцкого к прекрасному полу, но Борис был остроумен и легко пресекал всякие попытки розыгрыша. Я помню Бориса Слуцкого поэтом без пылких романов и без любовной лирики.

Рассказы, как я уже упоминал, на мелкие бытовые, особенно сексуальные темы, вызывали у Слуцкого брезгливое чувство, он их не слушал, а когда во время застолья бывал вынужден все же слушать, то относился к ним осуждающе. При этом свое мнение выражал без слов, каким-то одним насмешливым укоризненным взглядом или жестом. В то же время юмор он любил, сам был остроумен.

Значительный интерес он проявлял к истории Отечественной войны. Помню, как с большим вниманием слушал он рассказ Льва Безыменского о допросе попавшего в плен в Сталинграде немецкого фельдмаршала Паулюса. Лев был военным переводчиком во время допроса и очень непосредственно, как очевидец, рассказывал о поведении фельдмаршала и о содержании самого допроса. После того, как Безыменский уже завершил свой рассказ, Борис подсел к нему и еще долго расспрашивал о деталях этого события. Помню, как во время одного из праздничных застолий Лев Ландау, приходивший эпизодически в гости к Самойловым, был атакован Лялей и ее подружками. Они спрашивали знаменитого физика, впоследствии ставшего

лауреатом Нобелевской премии, о том, что все же будет в случае возникновения атомной войны. Ландау пояснял, что будет очень плохо и Земле, и живой природе и, конечно, людям. Этот ответ некоторых, в их числе и Бориса Слуцкого, не удовлетворил. Они просили ясно ответить на основной вопрос: сохранится ли жизнь на Земле и останется ли хоть немного людей после такой катастрофы. Немного подумав, Ландау, а это было в 1948 или 1949 году, сказал, что, по-видимому, небольшие оазисы жизни сохранятся, где-нибудь в горах, где в связи с местными метеорологическими особенностями нет или почти нет воздухообмена с прилегающими к ним районами, которые окажутся загрязненными радиоактивными частицами. После этого заключения Ландау улыбнулся и сказал: "Вероятно, это так, но наше начальство и их начальство должно твердо знать, что спастись никому не удастся — все погибнут и жизнь будет уничтожена". Дальнейшие разъяснения по этой проблеме Ландау уже давал персонально Борису, которому не все было ясно, он задавал все новые и новые вопросы.

Среди завсегдаев дома Самойловых был доктор экономических наук, умный, красивый и хорошо осведомленный о всех текущих государственных делах Яков Кронрод. Он в те годы был ортодоксальным марксистом — автором книги "Деньги при социализме". Кронрод восторженно отзывался о новых научных трудах Сталина по вопросам экономики и языкознания. Яков часто бывал собеседником Бориса. Они уединялись и подолгу беседовали. От Кронрода мы все узнавали многие политические новости, иногда задолго до того, как они становились официально известны. Часто Борис обсуждал различные злободневные вопросы с Петром Гареликом, школьным другом, офицером-майором, в те годы бывавшим у Самойловых.

Я был аспирантом и работал над диссертацией. Она была посвящена изучению механизма внезапной сердечной смерти. О работе я рассказывал Борису. Его искренне интересовало все, чем занимаются знакомые и друзья. Он, как и многие, полагал, что внезапное прекращение сердечной деятельности обусловлено разрывом сердца или же просто его остановкой. Я же ему рассказал, что это случается редко; в большинстве же случаев "мгновенная" сердечная смерть обусловлена возникновением фибрилляции, трепетанием сердца. При этом кровяное давление падает, в мозг не поступает кровь и быстро, в течение 2-3 минут, наступает смерть. Сердце же еще многие минуты трепещет и трепещет. Поразительно то, что, пропустив через трепещущее сердце мощный электрический разряд (этим я и занимался), можно прекратить фибрилляцию.

Борис серьезно расспрашивал меня о научной работе, задавал весьма содержательные вопросы. Интерес к медицине у Бориса был связан еще и с тем, что он хотел разобраться в собственной болезни.

Однажды Борис рассказал мне, что страдает приступами сильных головных болей и бессонницей. Головная боль бывает столь му-



чительной, что не дает работать. Это действует на него угнетающе, вызывает депрессию, так как способность работать – писать – суть его жизни. Я посоветовал Борису обратиться не просто к врачу, рядовых врачей он уже посещал, а попасть на консультацию к высококвалифицированному невропатологу и назвал при этом профессора 2-го Московского медицинского института Александра Михайловича Гринштейна. Пока я искал пути к Гринштейну, все решилось просто: кто-то из харьковских знакомых Бориса помог попасть ему на консультацию к профессору. Заключение Гринштейна было удивительно простым: "У вас ничего опасного нет". При встрече Борис попросил разъяснить этот диагноз. Я старательно растолковал ему: "Ничего опасного" означает, что нет серьезных патологических изменений, таких, например, как опухоль, нет и глубоких поврежденных мозговых сосудов. Это значит, что твое заболевание вполне обратимо и, следовательно, ты должен выздороветь. Профессор Гринштейн оказался в общем прав. Все же, возможно, тяжелое душевное заболевание, омрачившее финал жизни Бориса Слуцкого, в какой-то степени было связано с болезнью, которой он страдал в молодости.

Поэту, конечно, очень хочется быть услышанным. Поэт почти всегда стремится к разговору с читателем. Глухота самого времени, по-видимому, умеряла это стремление. Я не помню, чтобы Слуцкий или Самойлов пытались, как теперь говорят, пробивать свои стихи в печать. Главным была работа, и они упорно, никогда не сомневаясь в своем профессиональном призвании, писали и писали. Рождались стихи: всякие – и очень хорошие и слабые; трудились они и над переводами. Печатать их стали после смерти Сталина.

Борис Слуцкий в отличие от Самойлова свои стихи в те годы читал сравнительно редко: скопление слушателей не вдохновляло, а скорее настораживало его. Читал он свои стихи всегда наизусть, память у него была хорошая. Творчество было для Бориса тяжелой повседневной работой и одновременно священным таинством. Первый раз, когда я услышал чтение Бориса, стихи его мною не были восприняты, я не был подготовлен к такой поэзии.

Стихи поэты читают по-разному, некоторые самозабвенно, полностью отрешенно (от тех, кто их слушает). Так читает свои, да и чужие стихи Алик Есенин-Вольпин. Некоторые, несмотря на полное самоуглубление, отдаваясь ритму – песне стиха, все же контролируют свое эмоциональное состояние и сохраняют контакт с аудиторией. Так читает Александр Межиров – абсолютный чемпион по чтению чужих стихов. Рассудочно, с редкими отключениями читает стихи Давид Самойлов. Артистически, с отключениями, порою имитируя их, читают стихи Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский. Борис Слуцкий читал свои стихи просто, доходчиво, но торжественно.

Лучшие стихи Слуцкого сделаны из мужественных, железных, жестких, ударных слов. Ни одного нежного, ласкового слова; ни од-

ной сентиментально звучащей строки; и в то же время стихи добрые, до боли милосердные, полные искреннего сердечного сочувствия к тем, кто изголодался, измаялся и умирает, сохраняя достоинство и честь в "Кельнской яме", к тем, кто, до конца исполнив патриотический солдатский долг, покоится под фанерными монументами в русской земле и "в пяти соседних странах".

В стихах Слуцкого всегда доминирует, главенствует мысль. Акцент на мысли; акцент – ярко эмоционально окрашенный – был и в чеканном чтении Бориса Слуцкого. Каждое слово – удар, то в сердце, то в мозг. Так воспринимал я мощные стихи Слуцкого, поражающие своими самобытными, неповторимыми образами и эмоционально напряженным звучанием.

Борис ни разу при мне не читал стихов, возвеличивавших Сталина (не знаю, были ли они?), чем промышляли многие поэты, систематически публиковавшие стихи в годы культа. Это сейчас мне кажется даже удивительным, так как в 1946-1949 годах он относился к Сталину весьма уважительно, с признанием его большой и безусловно положительной роли в победоносно закончившейся войне и в повседневной жизни страны. Через много лет о своем отношении в те годы к официальной пропаганде, о вере в Сталина Слуцкий писал:

Всем лозунгам я верил до конца  
И молчаливо следовал за ними,  
Как шли в огонь во Сына, во Отца,  
Во голубя Святого Духа имя.

В компании Слуцкий вел себя просто, непосредственно и независимо. Когда все пели, а Давид играл на аккордеоне, он тоже пел. Вспоминаю, что наиболее популярной была "Бригантина". Автор гордых слов этой песни – Павел Коган – был другом Самойлова, Наровчатова и Слуцкого. Пели и часто добрым словом вспоминали поэта-солдата, погибшего на Великой войне. Память о погибших друзьях-поэтах Михаиле Кульчицком, Павле Когане для Слуцкого была частью его бытия, о них он говорил редко, но всегда значительно.

Более всего Слуцкого в те годы привлекала история русской и советской литературы, и прежде всего поэзия. Он стремился установить подлинную ценность творчества каждого поэта, его место на крутых склонах священного Парнаса. Кто в XX веке, кто в XIX веке на самой вершине, кто чуть ниже. В эту игру он играл многократно, и она не была бесплодной, так как каждый раз он и его оппоненты должны были аргументировать свое мнение: вспоминать и оценивать стихи каждого поэта. Примечательно, что эта игра существует очень давно и ранжировали поэтов не только русские, но и немецкие литераторы еще в XIX веке. Борис Слуцкий к этому "сомнительному" занятию относился весьма серьезно.

Я был знаком с Борисом всего месяц-два, когда он впервые во-влек меня в эту игру. Помнится его обращение-вопрос: "Кого ты считаешь первым поэтом XIX века?" Я ответил тривиально: Александра Сергеевича Пушкина. Последовал второй вопрос: "А кого XX века?" Я без раздумий сразу назвал Александра Блока. Ответ не удовлетворил Бориса и он попросил меня пояснить – почему именно Блока. Я, как мне казалось, разъяснил, привел серьезные соображения, но они не удовлетворили Бориса, и он тогда попросил прочесть ему какое-нибудь стихотворение Блока, которое я особенно высоко ценю.

Я стал читать "Осенний день", стараясь передать музыкально-ритмический строй этого высокого стихотворения. Прочитал нежно-печальное начало:

Идем по жнивью, не спеша,  
С тобою, друг мой скромный,  
И изливается душа.  
Как в сельской церкви темной.

До конца дочитать стихотворение не удалось. Когда я только перешел к финалу, к прекрасным строкам "Летят, летят косым углом, вожак звенит и плачет", Борис прервал чтение и твердо, убежденно заявил, что этот Блок не из XX века. После чего Борис решил пояснить, какие стихи относятся к XX веку. Он четко, чеканно прочел "Кельнскую яму". Стихотворение на меня произвело огромное впечатление. Он это понял. И неожиданно, тогда впервые, потом он этот вопрос повторял несколько раз, спросил: кого я считаю более значительным поэтом, его или Дезика? На что, как и в других случаях, я ответил: "Вы очень разные". Ответ его не удовлетворил. При "ранжировании" поэтов Борис высказывал свое мнение, прослушав других после того, как завязывалась дискуссия. Помню, что в те годы Борис, "отвергавший Бога с самого порога", не считал А.С.Пушкина первым поэтом XIX века; он называл то А.Н.Некрасова, то М.Ю.Лермонтова. Оценка не была постоянной, она периодически менялась. Это относится в меньшей степени к XX веку; здесь все же он выделял В.В.Маяковского. Сейчас, по известной причине, пытаюсь вспомнить, как он оценивал творчество Б.Л.Пастернака, вспомнить точно не могу, наверное, высоко, но не очень. Как-то Давид Самойлов, привлеченный к этой игре, указал на М.И.Цветаеву, как на одну из первых поэтов XIX века. Борис не согласился, возникла дискуссия.

Во время экскурсов в историю поэзии возникали различные мысли о психологии творчества.

Как-то я заметил, что у многих самых выдающихся поэтов, да и писателей, был весьма сильно развит "игровой инстинкт". А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, А.Н.Некрасов, Л.Н.Толстой, В.В.Маяковский увлеченно, азартно играли в карты; Ф.М.Достоевский иступленно и безуспешно отдавал дань рулетке... Борис признал этот факт, заслу-

живающий внимания, и рассказал, что Н.Асеев, в доме которого он бывал, также подвержен страсти к игре.

Однажды и для Слуцкого сложилась игровая ситуация.

В конце 1947 года было официально объявлено о предстоящем обмене денег. Условий обмена никто не знал. Возникла альтернатива: как поступать с деньгами? Класть ли их в сберкассу, покупать ли облигации или же тратить, но на что?

Борис в один из этих смутных дней появился у Самойлова и когда увидел меня, спросил, чем собираюсь я заниматься. Узнав, что свободен, попросил пойти с ним в букинистический магазин.

Мы быстро дошли до ближайшего букинистического. Он с чемоданом, а я с мешком, который в спешном порядке Ляля освободила от картошки. По пути Борис сообщил, что у него есть небольшие сбережения, которые он решил потратить на приобретение книг. С большим знанием дела Борис отбирал книги и при этом задавал мне вопросы. Например, как я отношусь к Дос Пассосу, его книге "42-параллель". Я ответил, что не читал книги. Он ее купил. Приобрел Борис полное собрание сочинений Некрасова издания прошлого века; купил несколько томов избранных стихотворений Пушкина, Лермонтова, Некрасова; приобрел различные сборники, в их числе много разрозненных выпусков "Аполлона", "Гиперборея".

В память об этом походе Борис подарил мне том стихов А.Н.Некрасова и "42-параллель" Дос Пассоса.

Борис осуществил мечту – приобрел книги, которые любил и высоко ценил. Позже выяснилось, что покупка букинистических книг с деловой точки зрения была блестящей коммерческой операцией – лучшим вкладом уже обесцененных денег. Борис, разумеется, об этом не думал.

В 1948 в стране появилось новое социально остро и зловеще звучащее слово "космополит". Началась борьба с космополитизмом, возобновились аресты. Террор снова набирал силу. Борис сначала не замечал, либо не хотел замечать это опасное веяние времени. Темные страсти эпохи культа с начала пятидесятых годов стали круто нарастать. "Охота на ведьм" – борьба с космополитизмом стала все больше и больше окрашиваться в красный цвет террора.

Начались аресты. Сперва стали исчезать ранее репрессированные – в 1935-1939 годах, а затем, после истечения срока наказания, освобожденные люди, а затем уже члены антифашистского еврейского комитета и некоторые из тех, кого обвиняли в "космополитизме".

Иллюзия всеобщего коммунистического праведного рая исчезла, и Борис, как и многие другие, стал все более и более реально оценивать действительность.

Настороженность, тревожность, страх, неуверенность в завтрашнем дне нарастали неодолимо. И все же я не помню, чтобы кто-нибудь в доме Самойлова открыто выражал протест, высказывал кри-

тические замечания о Сталине, призывал бороться против произвола.

Все индивидуально, по-разному переживали гнет времени, чувствовали надвигающуюся катастрофу, ощущали ее неизбежность. Это относится и к Борису Слуцкому, который об этих годах через много лет писал:

Конец сороковых годов –  
Сорок восьмой, сорок девятый –  
Был весь какой-то смутный, смятый.  
Его я вспомнить не готов.  
Не отличался год от года,  
Как гунн от гунна, гот от гота  
Во вшивой сумрачной орде.  
Не вспомню, Что, Когда и Где.  
В том веке я не помню вех,  
Но вся эпоха в слове "плохо",  
Чертополох переполоха  
Проткнул забвенья белый снег.

Почему же, спрашивается, только сорок восьмой, только сорок девятый, а сорок шестой – разве хорошо?.. Ведь "правительственный указ" об А.Ахматовой и М.Зощенко, выдержанный в отчетливо погромном стиле, уже был опубликован. Его программная сущность еще не была понята Слуцким, послепобедная эйфория и связанные с ней радужные надежды были столь велики, что затеняли осмысление "партийно-руководящего" вмешательства в Литературу. Ну, а к 1950 году Борису Слуцкому, а многим и раньше, все стало ясно. Иллюзии и связанные с ними светлые мечты развеялись.

В это время он пишет одно из лучших, если не лучшее стихотворение – "Ответ". Стихотворение – памятник друзьям, не вернувшимся с войны. Стихотворение-реквием.

Давайте после драки  
Помашем кулаками:  
Не только пиво-раки  
Мы ели и лакали.  
Сейчас все это странно.  
Звучит все это глупо.  
В пяти соседних странах  
Зарыты наши трупы.  
Не назначались сроки,  
Готовились бои.  
Готовились в пророки  
Товарищи мои...

И мрамор лейтенантов —  
Фанерный монумент —  
Венчанье тех талантов,  
Развязка тех легенд...

.....

Есть версия, что Слуцкий еще в годы культа писал стихи, обличавшие Сталина: "Бог", "Хозяин". Она представляется мне неправдоподобной. Он был слишком осторожен, партийно дисциплинирован и по характеру не способен к опасному противоборству. Это, в конечном счете, в дальнейшем и определило инспирированное "сильными мира сего" выступление его на собрании Союза писателей против Бориса Леонидовича Пастернака.

Бесстрашные стихи, разоблачавшие Сталина, в те годы писали лишь сидевшие в лагерях и тюрьмах поэты да маленький, губастый и неосознанно отчаянно храбрый Эммануил Мандель, позднее ставший известным поэтом Наумом Коржавиным.

И все же изменения климата общественной жизни — рост бесправия, двуличия и репрессий — находил резонанс среди творческой интеллигенции. У Самойлова часто бывали подруги Ляли — сестры Агда и Геда Шор.

Младшая — Геда — талантливо импровизировала, в том числе и на разные злободневные темы. Герои ее устных рассказов — маленькие люди — доверчиво обсуждали повседневные события. При этом наивно высказывали абсурдные идеи и умозаключения, многие из которых были заимствованы из фельетонов, опубликованных в центральной печати. Эти, далеко не безопасные для автора и всех слушавших рассказы рождали смех и комментарии. Борис любил импровизации Геды, и когда она появлялась, часто просил ее "почрево вещать", то есть начать творить — сочинять очередной рассказ.

Да и поэты: Глазков, Самойлов — читали "не проходные" стихи (а следовательно, вообще опасные), некоторые из которых до сих пор не опубликованы. Такие, например, как многовариантное четверостишие Николая Глазкова: "Вы говорите: Окна ТАСС моих стихов полезнее, полезен также унитаз, но это не поэзия!" В другой редакции, которую Глазков, по-видимому, считал уже цензурной, это стихотворение звучит так: "Работать в Окнах ТАСС моих стихов полезнее, полезен также унитаз, но это не поэзия".

"Железная скворешня" Самойлова звучала так: "Я вырос в железной скворешне, а был я веселый скворец". Это начало, а финал:

Железом окуйте мне руки,  
В броню заключите до пят —

Не то уже странные звуки  
С утра в моем горле кипят!"

Так что вырывавшиеся из-под контроля запуганного сознания стихи были в это время у многих поэтов.

В 1952 году начались многочисленные аресты врачей – видных профессоров. Отец Ляли – выдающийся кардиолог – профессор Лазарь Израилевич Фогельсон каждодневно ожидал ареста. Его друзья – профессора Владимир Никитович Виноградов и Владимир Филиппович Зеленин, как и он, ученики профессора Дмитрия Дмитриевича Плетнева, осужденного в 1938 году, были арестованы; еще раньше приехали за его ближайшим другом профессором Яковом Гиляровичем Этингером и за соседом по дому доктором Мироном Григорьевичем Шнейдеровичем, непосредственно курировавшим Сталина. Борис все это знал; ему сообщили и об аресте Александра Михайловича Гринштейна. Эти события угнетающе влияли на всех нас и, разумеется, на Бориса. Он старательно скрывал тревогу и страх, но на открытый протест как в беседах, так и в стихах не решался.

Особенно быстро черные дела стали разворачиваться в начале 1953 года. Каждодневные черносотенные фельетоны с откровенным антисемитским содержанием были лишь артподготовкой перед решительным штурмом.

Статья о врачах "Убийцы в белых халатах", опубликованная в центральной печати 13 января 1953 г., явилась кульминацией периода "космополитизма". Всем стало ясно, что вскоре должны начаться массовые репрессии, прежде всего против "безродных космополитов".

На следующий день после выхода в свет статьи о врачах, 14 января, я встретил Бориса Слуцкого на Сретенском бульваре.

Борис был неузнаваем: растерян, удручен, подавлен. Обычно не склонный к многословию, он непрерывно, безостановочно говорил. Он был, вероятно, уже информирован о предстоящих репрессиях, о которых мне и рассказывал. Сообщил, что вскоре после суда над врачами, которых казнят, не исключено даже публично, начнется очищение Москвы, а затем и других городов от безродных космополитов. Их сгонят в эшелоны и отправят в отдаленные районы страны: на Дальний Восток и Крайний Север. Тяжелая, страшная участь ожидает интеллигенцию, особенно людей с гуманитарным образованием. Это для них с Давидом означает гражданскую смерть – унижительное, жалкое существование в полном бесправии. Так, беседуя, не спеша шли мы по заснеженному Сретенскому бульвару. Неожиданно Борис как бы спохватился и начал меня утешать, сказал, что "твое положение лучше, чем наше, врачи всегда и всюду нужны и ты еще сможешь быть полезен людям..." Более всего меня удивляло то (об этом я думал и много лет спустя), что Борис не выражал никакого протеста, не осуждал Сталина, не помышлял ни о каком сопротивлении, хотя и не верил сообщению о злодеяниях врачей – "убийц в белых халатах".

Со мною шел обреченный человек, смирившийся со своей участью. Так мы дошли до дома Самойлова, поднялись на второй этаж, позвонили... Дверь открыл Давид. Не помню, о чем говорили, что делали, но только безысходность исчезла; думаю, под влиянием природного оптимизма Дезика. Да, пророчески писал великий поэт: "Чему бы жизнь нас ни учила, а сердце верит в чудеса".

Пятого марта 1953 года умер Сталин... С этого светлого, чудотворного дня однонаправленный куда-то в бездну поток событий как бы остановился. А затем течение их пошло вспять.

"И покамест не поймешь – смерть для жизни новой, Хмурым гостем проживешь на земле суровой" – ясновидяще писал другой гениальный поэт...\*

Девятого марта 1953 года хоронили бессмертного Сталина. Мы с женой Люсей решили попасть в Колонный зал Дома союзов, где покоилось тело великого вождя. Вышли из дома в полдень и направились к Кировской улице. Дошли до конца Сретенского бульвара, вышли к Кировским воротам и увидели массу мечущихся, почти обезумевших от горя людей. Из радиоустановок, размещенных в окнах верхних этажей почтамта, лилась траурная музыка. Большие скопища людей собрались в ожидании правительственного сообщения на площади возле входа в метро "Кировская". Все взволнованно стремились узнать: кто же будет возглавлять правительство? Кто заменит Сталина в партийном руководстве? Кто станет генсеком?

В это же время к метро "Кировская" стали стекаться группы людей, пытавшихся пройти по Кировской улице к площади Дзержинского, от которой до Дома союзов было уже рукой подать. От них мы узнали, что путь к центру закрыт грузовиками. Трезво оценив эту информацию, мы изменили маршрут: решили вместо похорон отметить "крестины". У Самойловых родился сын, которого мы еще не видели. Нам удалось без препятствий дойти до их дома. Когда мы вошли в хорошо знакомую комнату, то обнаружили, что обстановка в ней изменилась. В затененной части комнаты, почти в углу, стояла большая белая коляска. В ней безмятежно спал мальчик. В комнате было уже много людей. У стола и за столом расположились Дезик, Борис Грибанов, Яков Кронрод и, кажется, Борис Слуцкий, точно не помню... Может быть, он пришел позже... Дезик организовал застолье – поминки, и его друзья и кто-то из Лялиных подруг беспечно пили водку и оживленно обсуждали, гадали о том, что еще случится на нашем суровом и загадочном веку. Настроение было хорошим, приподнятым. Все интуитивно чувствовали, что худшее позади.

Помню, как Ляля сообщила нам о маленьком, но знаменательном происшествии, случившемся в квартире ее отца – профессора Фогельсона. Он жил на Можайском шоссе, ныне Кутузовском прос-

---

\* Гете



пекте в кооперативном доме. В нем почти все квартиры принадлежали видным врачам, многие из которых были уже арестованы. Услышав о смерти Сталина, Зинаида Лазаревна Зеленина – жена арестованного “врача-убийцы” Владимира Филипповича Зеленина с плачем появилась у своих друзей Фогельсонов.

Она была убеждена, что после смерти “народного заступника – родного Сталина” уже никто не сможет спасти обреченных на смерть невинных врачей. Анна Львовна – мудрая жена Фогельсона – успокаивала ее и убеждала в том, что ей надо не плакать, а радоваться, так как Владимира Филипповича скоро освободят и он вернется домой. Вернется непременно, так как в России больше нет человека, который мог бы на себя взять тяжкий грех – осудить и казнить невинных.

Эта история была воспринята нами с воодушевлением.

24 июля 1953 года в день рождения Ляли на даче у Самойловых было многолюдное, очень щедрое застолье.

На большой террасе, за импровизированным столом собралось человек 25-30. На столе стоял длинный ряд бутылок. Среди гостей были сильно пьющие, просто любящие выпить и умеренно и мало пьющие, среди них и Борис Слуцкий. Было шумно и весело. Расселись так: родственники во главе с отцом Ляли и его женой заняли левый ряд табуреток и стульев, во главе стола сидели Ляля с Давидом, рядом с ними Борис Слуцкий, далее подруги Ляли; мы с Люсей оказались в самом начале стола, напротив Давида и Бориса.

Рядом с Борисом сидел ослепительно красивый – статный, высокий, ясноокий – синеглазый с правильными мужественными чертами лица Сережа Наровчатов – автор нескольких очень хороших стихотворений и отличной прозы.

Сергей пил по-белому и по-черному, пил и очень, очень долго не пьянел. В связи с чем ему было посвящено такое четверостишие Н.Глазкова:

От Эльбы до Саратова,  
От Волги до Курил  
Сережу Наровчатова  
Никто не перепил.

Если бы в те годы кто-нибудь сказал, что Сергею Наровчатову предстоит стать крупным литературным начальником – одним из секретарей Союза писателей, то такое предсказание оценили бы не как “научную” фантазию, а просто как бред.

Наровчатов не пропускал ни одного тоста и даже полутоста. За ним тянулся его друг – малопьющий Борис Слуцкий. Вскоре он захмелел и уснул, но неглубоко – часто пробуждался, включался снова в застолье и, заметив меня, обращался с просьбой: “Витя, ты опыты про-

водишь, оживляешь! Прошу тебя, не оживляй товарища Сталина!" Я его заверял, что этого делать не буду... Он же через некоторое время снова засыпал и после того, как просыпался, эта сцена повторялась.

В середине 50-х годов Борис Слуцкий вошел в ряды писательской элиты – стал широко известным поэтом. Его гражданская поэзия – знаменитые антисталинские стихи: "Хозяин" и "Бог" были весьма популярны, так как оказались созвучны времени оттепели, началу официального разоблачения культа Сталина. Люди, освобожденные от первобытного страха, читали и читали эти стихи и повторяли: "Мы все ходили под богом. У Бога под самым боком. Он жил не в небесной дали, его иногда видели живого. Однажды я шел Арбатом, Бог ехал в пяти машинах. От страха почти горбата в своих пальтишках мышинных рядом дрожала охрана".

Личная жизнь Бориса Слуцкого вошла в размеренную колею, наладилась. У него появилась собственная квартира и горячо любимая жена Таня.

Я продолжал систематически бывать у Ляли, и она меня несколько раз удивляла и огорчала тем, что осуждала Бориса за невнимательное отношение к старым друзьям. Говорила, что Борис стал тщеславен – звон литавр и пенье медных труб оглушили его. Этого я не замечал: во время редких, случайных встреч он был неизменно доброжелателен, прост – в общем, оставался таким же, как и раньше. Да и Ляля в последние годы, когда их дороги с Давидом разошлись, и многие старые знакомые (как-то слово "друзья" не пишется) забыли ее, говорила: "Борис – друг, настоящий друг; он не оставил меня, хотя и бывает редко".

За славу, за успех, за официальное признание приходится платить. Плата, выпавшая на долю Бориса Слуцкого, оказалась чрезмерно высокой, морально непосильной: одним словом – Пастернак.

Александр Галич в стихотворении "Памяти Пастернака", обличая всех, кто поднял руку на великого поэта, пророчески писал: "Мы не забудем этот смех, и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, Кто поднял руку". Чаще других вспоминают Бориса Слуцкого, он поднял не только руку, но и взошел на трибуну.

Да:

В тяжкие годы безгласья,  
Когда все без согласия  
Руку тянули вверх.  
Мы себя не винули,  
Мы себя хоронили,  
Спишется, думали, грех. \*

Грех остался, и этот тяжкий грех омрачал жизнь Слуцкого до последнего дня.

---

\* Стихи автора

Известно, что все мы в разной степени айсберги: снизу "Я" – сокровенное, спрятанное в подсознании; сверху "Я" – открытое всем, хитрое, контролируемое сознанием. Великий врач и мыслитель начала XX века Зигмунд Фрейд открыл и доказал, что сновидения, оговорки, неожиданные повороты речи – окна в подсознание, в тайники души. Я пишу об этом потому, что в 1976 году в одну из последних встреч с Борисом Слуцким, когда мы вспоминали какие-то события далекой молодости, он вдруг, как говорится, "ни к селу ни к городу", сказал: "Знаешь, ко мне на семинар ходит сын Пастернака". Недавно, вспомнив об этом, я позвонил Евгению Борисовичу Пастернаку, с которым много лет знаком, и рассказал об этом разговоре. Он ответил, что, по-видимому, речь идет о его умершем брате – Леониде, и потом добавил: "Жаль, очень жаль. Отец, конечно, простил бы Слуцкого".

Да, Пастернак простил бы "заблудшего брата", но Борис Слуцкий этого себе не простил...

Почему же Слуцкий все же согласился выступить, что заставило его подняться на трибуну? Борис Слуцкий был только человеком, человеком трагически запутанного времени. Ему – провинциалу, одаренному и одновременно обремененному огромным поэтическим талантом, было не чуждо тщеславие: он дорожил высоким местом в официальной писательской иерархии, в которую пробился честно, с большим трудом. Выступление его было одновременно платой за страх и платой за успех.

Выступил Слуцкий в состоянии крайнего нервного напряжения, а потом не знал, куда деться. Знаяшая Бориса Татьяна И. рассказывала, что непосредственно перед собранием она попросила Слуцкого сообщить ей, чем все кончилось... Борис выполнил просьбу: позвонил, оповестил... Исключили. Во время телефонного разговора Слуцкий вел себя странно: неожиданно попросил не называть его по имени и учесть, что звонит он из автомата. Да, Борис нервничал, более чем нервничал, с ума сходил.

В жаркий летний день 1960 года хоронили опального поэта. Открылась возможность покаяния всем, кто поднял руку... Таких оказалось мало, из знакомых лично мне поэтов на похоронах Б.Пастернака я встретил лишь Наума Коржавина. Слуцкого не было. Прийти не решился. Леонид Мартынов, которого по дороге в Переделкино мы с приятелем встретили на улице Горького, отказался с нами поехать (в машине было свободное место), сказал нечто невнятное.

Последняя, точнее, предпоследняя, встреча с Борисом Слуцким была 24 декабря 1976 года. В этот день мы традиционно отмечали день рождения Ляли. На этот раз она пригласила нас для того, чтобы попрощаться. Прощаться навсегда. Пришли близкие ее друзья: Борис Слуцкий, Яков Кронрод, сестры Шор, Нина Дубовицкая, пришли и мы с Люсей. Печально и растерянно встретил нас сын Ляли –

высокий, красивый, похожий на Иисуса Христа Саша.\* Он не мог смириться, поверить в то, что мать умирает. Когда я вошел в комнату, Борис сидел за столом, освещенным лампой. У противоположной стены, на тахте, в полумраке лежала Ляля, укрытая меховым пальто. Борис был непроницаемо спокоен. Я и не подозревал, что он переживает последний акт большой личной трагедии. У него в течение многих лет тяжело и безнадежно болела жена. Он делал все возможное, чтобы продлить ее жизнь. Осенью наступило новое обострение, и Борис, по-видимому, знал, чем оно закончится.

Это была теплая, хотя и грустная беседа. Время как-то исчезло, так, как оно исчезает, когда встречаются через много — двадцать-тридцать лет — одноклассники. Мы снова как бы стали молодыми и оказались в старой привычной обстановке тех далеких лет, когда часто виделись и многое обсуждали. Вспоминали о чем-то добром, смешном — пытались хоть немного приободрить Лялю.

Борис рассказывал о том, что увлекается живописью и даже начал коллекционировать; сумел приобрести картину Фалька, которого считает выдающимся художником. Рассказывал о том, что ведет поэтический семинар, назвал фамилии нескольких талантливых молодых поэтов. Я их не запомнил. Спросил меня, как живу, чем занимаюсь. Я ответил, что очень много работаю, рассказал о своем участии в издании "Советско-американского труда по космической биологии и медицине". Настала пора расходиться. Я передал Борису книгу стихов "Доброта дня" и он подписал ее. Я же шутя сказал, что раньше встречался с безвестным поэтом, а теперь встретился с великим. Борис неожиданно рассердился и назидательно заметил: "Я не великий поэт, если хочешь увидеть великого, садись в метро, доедь до "Красных ворот", выйди и посмотри на Лермонтова". Он быстро остыл и мы еще вполне мирно посидели возле Ляли, а она тихо, как-то застенчиво порою включалась в беседу.

27 февраля 1977 года Ляля умерла, двумя неделями раньше умерла Таня. Ляля хотела поехать на ее похороны. Сын и друзья отговаривали ее. Когда я просил ее остаться дома, она возразила: "Это мой долг. Знаю: Борис на мои похороны придет".

О смерти Ляли Бориса известили по телефону. Он сказал, что присутствовать на похоронах не сможет.

Много людей собралось на похоронах, уже готовились к отъезду, садились в автобус; перед тем как войти в него, я оглянулся и увидел Бориса Слуцкого. Он стоял возле Саши Межирова и готовился сесть в машину. Да, Борис был человеком долга.

Вскоре после смерти жены Слуцкий тяжело заболел. Душевный

---

\* Сейчас он под фамилией А.Давыдов редактирует сборник "Весть" и печатается в нем.

недуг – депрессия была глубокой. Слуцкий утратил жажду жизни. Общение для него стало крайне трудным. Когда он выходил на время из больницы и встречал на улице знакомых, то предпочитал их не замечать. Подавленный, Слуцкий очень страдал, вполне ясно оценивал собственное состояние, его трагизм.

О его болезни я эпизодически получал сведения от врача, Тамары Ю., работавшей в клинике, где лежал Борис. Она с большим состраданием относилась к Борису, считала, что Слуцкий психически полностью сохранен, отлично все помнит; понимает все, может быть, даже глубже, чем раньше, но эмоциональная сфера разрушена, поэтому он тяготится жизнью.

Некоторые больные, страдающие депрессией, накладывают на себя руки. Это хорошо известно психиатрам, но Слуцкий терпел, и в клинике попыток к самоубийству не делал. Мысли же о самоубийстве преследовали Слуцкого. Они неоднократно возникали во время приступов депрессии. Об этом можно судить по весьма выразительному, трагически звучащему стихотворению:

Самоубийство – храбрость труса,  
а может быть – и просто храбрость,  
когда ломается от груза  
сухих костей пустая дряблость.

Самоубийство – это бегство,  
но из тюрьмы в освобожденье,  
всех клятв – и юности и детства –  
одним ударом – исполненье.

Одним рывком – бросок в свободу,  
минуя месяцы и годы,  
минуя все огни и воды  
и медные трубопроводы.

Самоубийства или войны,  
на мостовой или в больнице –  
у мертвецов всегда спокойны,  
достойны и довольны лица.

Тамара рассказывала, что Бориса в больнице посещал его брат – Ефим, которого он очень любил. О нем Борис еще в молодости вспоминал с гордостью – офицер, прошел всю войну. Изредка Бориса навещали и поэты. Тамара видела Константина Симонова, Булата Окуджаву. Симонов появился в клинике незадолго перед своей смертью. Он умирал и это знал. Пришел попрощаться... Посещал его и Давид Самойлов. Борис сказал: "Знаешь, у меня мозги кончились".

23 февраля 1986 года днем мы с Тамарой были в гостях. Я вдруг спросил ее: "Жив ли Борис?" Она ответила: "Жив, конечно, жив, он у брата в Туле. Там ему хорошо". Позже я узнал, что в этот день, примерно в то время, когда я вспомнил о нем, Борис умер.

# РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ.

---

Протоиерей Владислав Свешников

## РАБОТА АДОВА ДЕЛАЕТСЯ УЖЕ

О. Георгий Флоровский на последних страницах своего основного, хотя и не безупречного в смысле многих предпосылок и оценок труда "Пути русского богословия" дает беглую характеристику наступающего богословия XX века и между прочим замечает, что существенной его чертой будет заметно усиливающийся эсхатологизм.

Более 3/4 века минуло, и некоторые предварительные итоги можно уже подвести, и в частности — оправдался ли этот полупрогноз-полуоценка о. Г. Флоровского, в каком отношении и самое главное — как эта богословская струя соотносится с реальной жизнью.

Это последнее — действительно самое главное; подлинное богословие — инструмент очень чуткий; в нем всегда содержится живой и точный ответ на духовный запрос текущего дня (положительный или отрицательный — как при борьбе с ересями). Если такого ответа нет, значит, мы имеем дело с богословием схоластическим, составленным по некоему школьному заданию, или "самостным", фантазийным, видом самовыражения. И в том и в другом случае Дух Святой не наполняет его, то есть в нем нет жизни. И подобное, к сожалению, в истории бывало.

Что же сейчас? Никогда прежде в истории человечества эсхатологические ожидания не были такими напряженными, как в наши дни. Но параллельно росту эсхатологических чаяний катастрофически убывает вера; противухристианское сознание разрастается. И здесь нет ничего удивительного, это все нормально, предсказано и вполне в русле христианской эсхатологии. Удивительно другое — та уверенность и легкость, с которой люди, сознательно порвавшие с Церковью и с верой, — как, например, иные советские граждане — говорят о конце света, несомненном и исторически близком. Конечно, в их суждениях, особенно о причинах и формах конца мира, много детски-наивного и прямо неразумного, но здесь гораздо более важен сам факт, чем форма его осознания и выражения.

Люди верят, они не могут не видеть, что слишком много фактов современности — духовно-нравственных, экологических, социальных, политических, научных и проч. — не только свидетельствуют, но и неотвратимо приближают вселенскую катастрофу.

В нашу задачу не входит разбор этих фактов, тем более — времен и сроков, и мы упоминаем о них лишь для того, чтобы сказать, что сознание — "близ есть, при дверех", вполне устойчиво даже в заурядной советской среде и опирается на вполне реальную основу.

Как же отзывается такому сознанию русское богословие?

Богословие "Журнала Московской Патриархии" и издающегося

в Москве сборника "Богословские труды" не отзывается никак. Эсхатология, как тема, исключена или, вернее сказать, "закрыта" в этих органах, что вполне объяснимо. Председатель совета по делам религий при Совете Министров СССР Куроедов однажды в "Известиях" прямо и недвусмысленно указал, что "пропаганда идеи конца света" в стране победившего социализма запрещена. Да и может ли быть иначе? Ведь некогда лишь мерещившееся светлое будущее уже достигнуто, стало настоящим, впереди мерцает начало еще более светлого, и вдруг вместо начала света — его конец. Конечно, это ужасно и необходимо запретить. И наша клерикальная пресса с привычной послушностью покоряется запрету. Разве что иногда на страницах названных органов стыдливо промелькнет — скорее нечто вроде термина, что ли. Но такая "молчаливость" в нынешних условиях — не есть ли сильнейшее эсхатологическое свидетельство и аргумент в ведущемся богословском разговоре?

А разговор ведется — и в религиозном "самиздате", и на страницах издающихся на Западе журналов, и в народном религиозном сознании. Причем в последнем — наиболее активно, но как тому и подобает быть — на вполне наивном уровне и практически на единственную тему — "при дверях".

В нашу задачу не входит также разбор современной эсхатологической литературы. Отметим лишь, что главное ее достижение состоит не в постановке и глубоком разрешении наиболее актуальных проблем, но в тревожном и трезвом ее настрое, который подвигает к готовности, бестрепетности и работе.

И слава Богу. Потому что задача готовности ставилась Спасителем для своих учеников всегда (см. Мф. 24,42; 25,13 и др.), особенно она актуальна теперь, ибо отступление ускоряется и экстенсивно и интенсивно, и все меньшее число верных остается в чистоте правой веры и жизни (православия).

К сожалению, у некоторых "самиздатских" авторов, особенно ныне популярных в России\*, при подходе к этой теме наблюдается явная хилиастическая закваска, уводящая душу с рельсов трезвения.

Отметим еще, что в некоторых западных органах, особенно силающихся быть актуальными и объективными, поразительна бывает благодушная академичность в тематике и тоне печатаемых там материалов. Это в мирное время позволительно спокойно рассуждать, например, о некоторых проблемах древнехристианской символики, а теперь, когда весь мир на передовой, только успевай различать, где враг, и — обороняясь — наступай!

"Самый" советский поэт В.Маяковский однажды, сам того не ожидая, предельно точно выразил смысл и направление современных мировых процессов: "Работа адава будет сделана — и делается уже".

Теперь, когда адава работа делается так открыто и бесстыдно, с

---

\* Их популярность во многом объясняется почти полной христианской безграмотностью современного русского народа, а также тем, что эти авторы льстят (в современном и древнем значении этого слова) легкостью понимания христианства и вхождения в его жизнь.

такой поспешностью, большей частью — необдуманно, но в некоторых пунктах — вполне планомерно; теперь, когда ведется подготовка к заключительному действию "тайны беззакония", к приходу антихриста, — теперь центральная, можно сказать, богословская задача доведена силою обстоятельств до крайне простого вида: устремлять в современность внимательный взор, чтобы видеть в ней действия "адовой работы", производимые или подготавливаемые, и оповещать о них христианский мир: читающий да разумеет, трезвится и бодрствует. Необходимо притом выделять особо важные или особо соблазнительные проявления "адовой работы", потому что обыденное сознание склонно заострять внимание на сравнительно второстепенных фактах — отцеживают комара, — главное же упускают из виду. (Род прелести.)

Конечно, дело это горькое — по слову Премудрого, "есть способность, умножающая горечь" (Сир. 21,15), и опасное, особенно, когда речь идет о неясных фактах — "не терпит бо тайна испытания", — сказал преп. Иоанн Дамаскин.

Некие великие мужи, имея в виду пользу и предупреждение людей, все же осмеливались приступать во дни оны к одной из самых страшных тайн — "тайне беззакония". Ныне — как свидетельствовал еще в прошлом веке еп. Игнатий Брянчанинов — время духоносных мужей прошло, и если мы осмеливаемся вслед за великими мужами, видимыми Духом Святым, тоже приступать к сей тайне своими недостойными умами, то лишь потому, что "ветки смоковницы стали мягкими" (Мф. 24,32), и следовательно, мы все должны проявлять особую ответственность и зоркость. Если что откроется нашим взорам, нам следует оповещать присных; если окажется, что углядели не совсем точно — без пустого стыда поправиться; во всяком случае, теперь, пожалуй, лучше слегка пересолить, чем недосолить: большинство христиан — практически беспечны.

В "тайне беззакония" особое место занимает тайна "беззаконника, человека греха, сына погибели, противящегося и превозносящегося выше всего, называемого Богом" (2 Фес. 2,3-4).

Христианская мысль относилась всегда к личности антихриста с настороженным вниманием, так как ему предстоит сыграть чрезвычайную роль в финальных судьбах мира. Эсхатологическое размышление усматривало нечто почти непостижимое в его противлении Богу и Христу особенно, по причине чего он и назван антихристом.

Духоносные писатели отмечали следующие его особенности: во-первых, необыкновенное и как бы автономное развитие различных способностей, таких, как ум в самых разнообразных его проявлениях, сила воли, всякого рода умения; во-вторых, необыкновенное тоже развитие всех пороков, прежде всего таких, как злоба, гордость, зависть и проч.; наконец, в-третьих, — необыкновенная тоже ложь, фальшь, нарочитость, актерство, доходящее до полного самообмана — ничего существенного.

Здесь рассуждение останавливается в недоумении. Людям обычно нравятся развитие талантов, способностей, даже если плоды их не имеют видимой практической пользы. Но когда такая, можно сказать, не человеческая степень гениальности — во всех отноше-



ниях, и — ничего существенного! — непостижимо.

Или актерство. Людям вообще свойственно лицедействовать. Что только ни играет: и любовь, и ненависть, и счастье, и печаль, и так по мелочи всякое; и не только перед другими, но и перед собой. Что уж за странное такое стремление к обману и самообману (к "лести" и "прелести") — Бог весть! "Всяк человек ложь", — сказал Псалмопевец. Истинно так! Но опять все же — когда уже до такой степени, когда все — актерство, все — фальшь, все — мишура и форма, — разум не вмещает.

И, наконец, — грехопадение наложило на человека печать не только стремления к автономному развитию, не только лжи и формы, но и печать всякого порока и греха. "Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас" (№ Ис. 1,8). Но когда т а к а я уже дикая злоба, как у сего ненавистника, т а к а я зависть, т а к а я гордость — и ум и сердце отказываются принять, что ч е л о в е к, имеющий образ Божий, и раскрывающий подобие Божие, мог бы попрасть эти образ и подобие так, чтобы не осталось н и - ч е - г о.

Да, наше время показало некоторых замечательных предтеч антихриста — и с гениальностью (особенно политической), и с актерством ("добренькие"!), и с дикой злобой прежде всего к Богу и людям Божиим, но во всех них виделось все-таки нечто наше, обычное, греховное, человеческое, хотя и с сильной примесью зверя. А тут — просто — з в е р ь !

И тогда возникает предположение, что Св. Иоанн в Откровении называет его зверем не в смысле образном, метафорическом, а в каком-то более существенном, актуальном; в том смысле, что звериность — не форма количественного различия от человека, а совсем иное качество. Говоря попросту, зверь, антихрист — это уже не совсем человек, а... что же? А неизвестно что. Нам не открыто. Открыто одно — зверь. Остается или пытаться открыть тайну, или просто ждать, цепenea в немом ужасе перед чудовищной тайной главного действующего лица последнего акта человеческой истории.

Прежние толкования Откровения на этой теме почти не останавливались; да, пожалуй, прежде и невозможно было; теперь же появились некоторые новые данные, которые позволяют кое-что если не с абсолютной уверенностью понять, то с некоторой достоверностью предполагать.

Апокалиптическая мысль Отцов почти не пыталась раскрыть причины н е ч е л о в е с к и х особенностей антихриста и не выходила за пределы вполне доступного рассуждения, что и власть и способности свои он получил от диавола. "И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть" (Апок., 13,2).

Но и все равно остается непостижимым: как сатана дал ему такую власть и силу и н е ч е л о в е с к о е развитие способностей? Откуда такая ложь, когда все превращается в мираж, в мечту, в дым, в н е ч е л о в е с к и й обман и самообман? Как может сатана вытравить в нем все человеческое и Божье, так что останется одно н е ч е л о в е с к о е зло и грех? Вопросы остаются, ответов пока нет.

И еще одно обстоятельство отметим. Назван он антихристом не потому, что он противник Христу только как враг, но и противник как полная противоположность, имеющий и в некотором смысле актуализирующее стремление быть подобным Ему. Именно в этом отношении и проявляется главным образом его обман и актерство, так что он, несмотря на все свои действия и силы, представляется не реальным, а каким-то кажущимся. Он — некая обратная симметрия Высшей реальности. Он противоположен существу жизни. Он — страшный и жалкий кривляка, стоящий по ту сторону зеркала.

Его антисуществование, противление Христу чрез подобие проявляется во всем — и в большом, и в малом. У Христа Иисуса было покорявшее людей обаяние власти (Мф. 7, 29; Лк. 5, 24; Мр. 2, 10), за этим тоже многие пойдут добровольно, покорные его власти.\* Но там — власть Истины, здесь — лжи. Иисус Христос принес разделение в мир и даже в семьи (Лк. 12, 52-53), такое же разделение внесет и этот. Христос истинно исцелял и воскрешал, и этот совершит, но обманные воскрешения и исцеления. Христос совершал чудеса по Своему Божественному естеству: ходил по водам, претворял воду в вино, укрощал волнения на воде, умножал хлебы и проч.; этот также — но различными ухищрениями человеческими, основанными на обильном знании наук и магии, совершит, чтобы обмануть людей, многие никчемные знаменья.\*\*

Нет необходимости приводить все параллельные линии мнимого подобия антихриста Христу; довольно будет сказать, что подобие будет настолько полным, что души, непросвещенные светом подлинно православного благочестия и вероучения (а таковых к тому времени будет подавляющее большинство), окажутся вполне обманутыми.

Кульминацией этого жалкого всеобщего обмана, этой игры в подобие с полным противлением на деле явится — хотя и на краткий исторический миг — заседание антихриста в Церкви со всемирным поклонением ему, яко Христу.

Из сказанного следуют два вывода. Первый, не имеющий отношения к теме данных заметок, состоит в том, что противление посредством подобия оказывается более опасным, чем прямое противление. Здесь для многих серьезный, существенный урок.

Второй, хотя и предположительный, но достаточно вероятный и имеющий немаловажное значение для дальнейшего: обратное подо-

---

\* Тем будет исполнено пророчество Спасителя: "Аз придох во имя Отца Моего и не приемлете Мене; еще ин придет во имя свое, того приемлете" (Ио. 5, 43.).

\*\* "...Ходити убо имать по Христу проходя жительство, и чудеса совершит, елика убо и Христос действова, и мертвыя воскресит. Обаче по мечтанию вся содеет: и рождение, и плоть и прочая вся... Угодит людям, и божественная Писания пройдет и посту навькнет и прочая". (Синаксарь недели мясопустной.)

бие будет стремиться к осуществлению по всем пунктам, с самых первых лет, по-видимому, даже с рождения антихриста\*.

Тайна рождения антихриста занимала почти всех христианских писателей, которые входили в круг апокалиптических тем. Свод различных мнениям, имевшим место до XVIII века, дает митрополит Стефан Яворский в книге "О знамениях пришествия антихристова"; дает в несколько вольном пересказе и со своим комментарием. Переписываем весь этот свод в нашем переводе на русский язык.

"Некоторые считают, что он будет от колена Данова, о чем еще изначала пророчествовал ветхозаветный патриарх Иаков, говоря к сыну своему Дану: "И да будет Дан змия на распутии".

Некоторые говорят, что он родится от девицы действием диавольским, как Христос Спаситель наш рожден от Пресвятыя Девы Марии действием Святаго Духа. Это мнение неверное. Какое причастие света с тьмою! Какое общение велиара со Христом! Кто в небесах уравнился Господу, уподобится Господу в сынах Божиих! И можно ли так действовать диаволу, как действует Дух Святыи? Как может быть равным действие Создателя и создания?

Некоторые считают, что он родится от женщины, имеющей смешение с диаволом. Но и это мнение не сильное. Ибо как может бесплотный ангел иметь с женщиной естественное смешение? Как может изливаться для рождения человеческого семя, сам не имея его, будучи бесплотным?

Однако диавол может — говорят — сначала преобразиться в женщину, иметь сношение с мужчиной и, от него взяв семя, может потом преобразиться в мужчину и сойтись с женщиной и излить семя, взятое прежде от мужчины. И таким образом демон может родить человека, а не сам от себя своей силой. И если бы такое рождение произошло, тогда рожденный был бы подлинным человеком, не сыном диавольским по естеству, но сыном того, от которого взято семя от рождения. Как если бы орлиное яйцо подложили сидящей на яйцах курице, вылупившееся из яйца орлиного не было бы цыпленком, но орлиным птенцом.

Некоторые говорят, что антихрист будет настоящий по существу диавол, имея только воображаемое, а не настоящее человеческое тело. И это тоже ложно, ибо Ап. Павел называет антихриста человеком (2 Сол. 2).

Во всяком случае очевидно, что антихрист родится не от законного супружества, но от блудницы, будучи человеком, потому что как Христос Родился от Пречистой Девы, так противник Христа, ан-

---

\* Это предположение подтверждается и некоторыми духоносными писателями. Так еп. Феофан Затворник в своем толковании послания ап. Павла к солунянам пишет: "Если возьмем во внимание тайну благочестия, о которой говорит тот же апостол в другом месте, то по противоположности можем навести, и в чем тайна беззакония. Тайна благочестия в воплощении Бога: "Бог явился во плоти" (1 Тим. 3, 16). — то, что Иисус глаголемый Христос есть Бог Слово, принявший на Себя человеческое естество... Губитель человек (сатана) подражает вочеловечиванию Бога и Спасителя нашего..."

тихрист, в противовес сему, родится от скверной женщины, мнимой девицы.

Так считают святые Отцы: св. Ипполит, папа римский, св. Дамаскин, св. Феодорит, св. Феофилакт; они все единодушно полагают, что он по естеству будет человек и родится от блудницы колена Данова, и утверждают свое мнение на свящ. Писании”.

Определенных, безусловных сведений приводится здесь все же немного. Первое, что определено (и подчеркивается всеми): мать его будет еврейка из колена Дана, одного из двенадцати сыновей ветхозаветного патриарха Иакова. Второе: родится неким непонятным блудным образом. Третье: мать его — женщина скверная и девица мнимая.

Сразу же бросается в глаза: малочисленные эти сведения имеют отношение к одному лишь лицу — к матери. Об отце же ни слова! Обращается далее внимание на то, что антихрист будет рожден не от законного брачного сожителства, а неким блудным образом. Но кого теперь этим удивишь?! — возможно, что скоро уже в виде редкого исключения будут рожденные от брака, благословленного Церковью. И уж раз это обстоятельство подчеркивается, значит, речь идет не об ”обычном” блудном зачатии, а о каком-то уж совсем чрезвычайном... Каком же? И кто же все-таки отец? Молчание. Тайна.

Возможность раскрытия райны резко актуализируется в одном из позднейших святоотеческих источников — в ”Посмертных откровениях” преподобного Нила Мироточивого (нач. XIX века, в которых содержатся некоторые откровения о ”воплощении” антихриста, несомненно внушенные преподобному Духом Святым\*. Приведем отрывки из книги.

”От нечистой блудной девы\*\* (!) родится антихрист. В сей деве совокупятся распутства, она будет сокровищница прелюбодейства; всякое зло мира, всякая нечистота, всякое беззаконие воплотятся в ней, то есть в зачатом ею от тайного блуда, совокупятся воедино во чреве нечистом и с обнищанием мира оживотворятся. Когда обнищает мир от благодати Всесвятаго Духа, тогда сей оживотворится во чреве нечистоты от самой сквернейшей и злобной мнимой девы, худшей из всех когда-либо бывших, зачнетя от тайного противоестественного блуда (!) плод, который будет вместилищем всякого зла, в противоположность тому, как Христос был совершенством всякой добродетели, а Пречистая Его Матерь была совершенством в женах... (Снова ”обратная симметрия”).

...Тогда оживится (то есть зачнетя, родится) зло мира в нечистом чреве девы зла, которая даст плоть антихристу. Тогда за беззаконные деяния мира и нечистоту его отступит от беззаконного мира благодать Духа Святого, которая поныне содержит мир. Тогда воплотится дух антихриста, ныне действующий в миру, то есть народит-

\* Категорическая дерзновенность и сила суждений преподобного Нила свидетельствуют о том, что они не могут быть ”придуманными”.

\*\* Здесь следует отметить, что святые писатели прошлого делали вполне квалифицированное различие между понятиями ”дева” и ”жена”.

ся человек, который будет прескверен и сделается совершеннейшим сосудом дьявольским еще в утробе матери своей (!): родится он от девы зла и в деве блуда, хотя по наружным признакам и девственницы (!).

...Ей, воплотится зло безо всякого мужняго семени. Ей, с семенем родится, но не сеянием человеческим..."

Отсюда следует, что хотя мнение "родится от девицы действием дьявольским (то есть, без семени), как Христос Спаситель наш рожден от Пресвятыя Девы Марии действием Святого Духа", — справедливо отвергнуто Стефаном Яворским, — в нем, по-видимому, скрывается зерно разгадки чудовищной тайны, по принципу "обратного подобия". На деле, конечно, нет, невозможно, а если... "по мечтанию содеет рождение..."?\*

Прежде чем перейти к существу дела, отметим, что разрешение многих апокалиптических образов, мало понятных ранее, становится все более, по-видимому, адекватным и реалистическим, и на это обстоятельство некоторые писатели обращают внимание\*\*. Таковы, например, изображенные тайновидцем страшные картины, относящиеся к временам, близким к кончине века.

"Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.

Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.

Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третья часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь, и третья часть вод сделалась полынью и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки...

Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма кладезя. И из дыма вышла саранча на землю и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. А дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее будет подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека." (Апок. 8, 7-11; 9, 1-5).

Для тех, кто бывал в зонах действия крупных леспромхозов в Карелии, например, или в Архангельской области, вполне прозаическим воспоминанием является грозная и торжественная апокалиптическая картина сожжения третьей части дерев и зеленой травы.

А, например, — "Второй ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море"

\* Синаксарь недели мясопустной.

\*\* Например, епископ Нафанаил, в "Православном обозрении".

(Апок. 16,3) — не похоже ли это на картины крушения супертанкеров, уже почти не ужасающие сегодня?

Да и все приведенные здесь стихи Апокалипсиса могут современному читателю показаться нетривиальными образами совершенно уже набивших оскомину экологических рассуждений с живыми примерами отрицательного воздействия на окружающую среду или, может быть, реалистическим изображением войны, в которой применяются современные средства массового уничтожения.

Если же попытку разобраться в апокалиптических образах перевести с поверхностной очевидности в более глубокий план, то и тогда окажется, что именно современная жизнь подсказывает наиболее адекватные решения. Так, некоторые рассматривают Апок. 9, 1-5 следующим образом. Сатана, упав с неба в бездну, выпустил дым богоненавистнической идеологии, которую подхватила саранча — художники, литераторы, ученые, и — во времена особого душевного ослепления (помрачилось солнце и воздух) — безбожием и безнравственностью жалят и отравляют людей, духовно непросвещенных. Конечно, оно так было всегда, но такой массивный характер отравление приобрело сравнительно недавно.

Примеры можно существенно умножить, но в этом нет нужды: здесь иной сюжет. И не в том даже дело, насколько такие толкования точны. Более важно, что прежняя действительность не давала для них жизненного материала; теперь дает. Точно также нынешняя действительность может дать материал для раскрытия иных апокалиптических тайн: сроки подходят.

Теперь, если до сих пор не было ясно, мы объявляем прямо, к чему здесь все клонится: к созданию человека искусственным, точнее полусинтетическим путем. Но предварительно еще несколько кратких замечаний.

Едва ли достаточно корректно здесь приводить доводы из сферы конкретных достижений науки и техники XX века, еще недавно бывших уделом фантастики, а еще прежде — легенд, снабжая их комментариями в духе самой дешевой научно-популярной пропаганды: "так совершаются самые дерзновенные устремления человечества", — разумеется, в несколько более изящных терминах. Не следует — как это нынче обычно делается — слишком преувеличивать факты подобных достижений; тем не менее, эти факты в некоторой степени являются аргументом в пользу вероятности еще более тонких технологических достижений, в том числе и в биологии.

Не слишком здесь уместны и доводы формальной логики, которыми пользовалась апологетика для доказательства бытия Божия, типа: "нет ничего в представлениях субъекта, чему бы не соответствовала объективная реальность"; или, говоря попроще, — выдумать, нафантазировать можно только форму (феномен), но никак не сущность (ноумен) явления. Бога выдумать невозможно. Хотя, конечно, подобный силлогизм отчасти может являться априорным аргументом в пользу сделанного предположения.

Обратив внимание на другое: с какой настойчивостью человечество — и в "научных" поисках, и в художественных актах, и просто в бреднях — обращалось к идее искусственного человека, особенно в

духовно напряженные эпохи, как, например, средневековье.

Эти гомункулусы, эти *deus ex machina*, эти алхимические замысловатости, которые нередко на уровне школярской грамотности преподаются, как чудачества детской науки, — все это суть знаменательные свидетельства стремления людей к соперничеству с Богом в творении, причем в высшем акте творения — творения человека. В глубинах человеческого сознания, отделившего себя от путей Божиих, всегда жила мрачная цель: создать существо себе адекватное, не в образе только, а на деле, причем путем, не указанным Богом ("плодитесь и размножайтесь"), и тем, радикально противопоставив себя Богу, получить нового вождя. Но до сих пор реализация подобного намерения, во всяком случае, естественно научным путем, была невозможна.

До сих пор...

До сих пор — как в человеческой истории, так и в прочитанных страницах, шла присказка, и только "с сих пор" начинается собственно сказка...

Жалковато выглядит историософия, пытающаяся выделить как главную и чуть ли не единственную движущую силу истории — борьбу классов; жаль и то, что все еще многие ею обманываются; так очевидно, что вся эта борьба — дым, туман; и политическое противостояние кланов различных государств, и всякая там борьба за мир, свободы и проч. — все это дымовые завесы, за которыми таинственные силы ведут грозную, не до конца пока открытую игру.

Но кое-что постепенно обнажается. "Нет ничего тайного, что не было бы узно." (Мф. 10, 26).

Действительно особое время — XX век. Какой-то роковой чертой отделяется он от всей предшествующей истории, хотя она и произвела к нему некоторые существенные заготовки. Туман рассеивается; все яснее проступают контуры основной исторической задачи, поставленной дьяволом к выполнению с помощью ослепленного человечества: победить Бога. На что он рассчитывает? — трудно сказать; знает же он и апокалиптические предсказания; "разум" и "опыт" (говоря человеческим языком) тоже должны ему подсказать безумность сего предприятия, но... безумие; и роковым образом поспешает он, а за ним семенит ножками одряхлевшее человечество — к последней черте. Важную роль в финальном акте грандиозного вселенского спектакля играет наука. Наука XX века.

В ней тоже немало дымовых завес. Вся ее история (почти до наших дней) — дымовая завеса. Ее прикладные достижения, широко используемые цивилизацией, — дымовая завеса. Престижность — дымовая завеса. "Расстыковки" и "состыковки" наук — дымовая завеса. Попытки разглядеть за открытыми фундаментальными законами материального мира нечто еще кроме факта — дымовая завеса. Гипотезы — особенно космологические и философские — все сплошь дым, если не открытая намеренная ложь. Наконец, до самого недавнего времени густым дымом был покрыт самый существенный научно-исторический факт — что все нити стягиваются безусловно к биологии, а в биологии, как тому и подобало быть, встал на пешеде-

стал – и одновременно лег под микроскоп – человек.

Тогда-то, при слегка рассеявшейся дымовой завесе – или даже несколько раньше – стало видно, что наука как область деятельности очень небезотнositельна к нравственным проблемам и совсем иначе, чем все прочие области деятельности. Гордый разум – главный инструмент ученых – почти всегда стремился освободить себя от смиренной структуры религиозного сознания: в этом нравственный корень дела.

Соотношение веры и научного ведения вовсе не обязательно выросло в нравственный конфликт. "Я знаю много и потому верую, как бретонец. Если бы я знал больше, я бы веровал, как бретонские женщины", – сказал Луи Пастер. Но и в этом апологетическом афоризме скрыт горький намек на то, что обычно положение вещей не таково.

Во всяком случае научное видение всегда раскрывается как духовно-нравственная проблема, ибо – говоря попросту – вера нравственна, а неверие безнравственно. Из русских духовных писателей XIX века многие обращали внимание на эту сторону дела, особенно епископ Феофан Затворник и епископ Игнатий (Брянчанинов).

"Истина Божия проста; гордому ли уму заниматься ею? Он лучше свое выдумает. Это эффектно, хоть пусто и слабо, как сеть паутиная. Что это так, просмотрите нынешние теории мироздания: они походят на бред сонного или опьянелого" – подобных картинок много разбросано в "Мыслях на каждый день года", да и в других сочинениях еп. Феофана. В еще более отточенном нравственном виде представляет соотношение веры и естественного знания ("противоестественного", как остроумно называет его еп. Феофан) в одном из писем еп. Игнатий: "Науки – плод нашего падения, произведение падшего разума. Ученость – приобретение и хранение впечатлений и познаний, накопленных человеками во время жизни падшего мира... Познание Истины, которая открыта человеком Господом, к которой доступ только верой, которая непрístupна для падшего разума человеческого, – заменяется в учености гаданиями, предположениями. Мудрость этого мира, в которой почетное место занимают многие язычники и безбожники, прямо противоположна, по самым началам своим, мудрости духовной, божественной. Нельзя быть последователем той и другой вместе; одной непременно должно отречься. Падший человек – "ложь", и из умствований его составилась "лжеименный разум", то есть образ мыслей, собрание понятий и познаний ложных, имеющее только наружность разума, а в сущности своей – шатание, бред, беснование ума, пораженного смертною язвою греха и падения. Этот недуг ума особенно в полноте открывается в науках философских"\*.

---

\* Собр. соч. т. 4, с. 500-501.



Нравственное противостояние веры и научных претензий акцентировалось особенно со второй половины XIX века, когда в "естественных" науках стали все чаще возникать фантастические гипотезы (вроде дарвинской), содержащие постулаты, не согласующиеся с фактами откровения, что позволило адептам — в основном, мелким — автономной науки прямо противопоставить ее религиозному знанию. Обратим внимание на то, что нравственная коллизия — хотя и обострившаяся — и здесь проходила на общемировоззренческом уровне. И широкие слои нечуткого секуляризированного общества нравственной проблемы здесь не видели.

И вдруг все изменилось. Заговорили — причем на самом бульварном уровне — все, и именно о нравственной ситуации некоторых достижений биологии и медицины. Кажется, первой, широко в этом отношении дебатировавшейся проблемой, была пересадка сердца. Общественное мнение и прежде иногда проявляло небезразличие к нравственной стороне некоторых научных разработок, но не самих по себе, а лишь их результатов; например, к использованию отдельных открытий для создания сверхмощного оружия. Но чаще всего в подобных случаях "общественное мнение" имело лицемерно-политическую подоплеку. Здесь же — сам научный сюжет вызвал оживленную дискуссию, причем центральным в ней был именно нравственный аспект: насколько пересадка сердца допустима с нравственной точки зрения.

Вполне возможно, что пересадка сердца была тем пробным камнем, с помощью которого духи злобы поднебесной проверяли нравственное состояние человечества. Это был довольно остроумный тест, запустив который, они развели то, что им было нужно: человечество почти "дозрело". И та чрезвычайная энергия, с которой кто-то ринулся в бой, пытаясь доказывать, что пересадка сердца — только технологически-медицинская задача, в высшей степени гуманная, доказала то, что требовалось: во-первых, голос совести все еще слышится (чует кошка, чье мясо съела); а во-вторых, совесть стала прокаженной, извращенной. Да, то, что надо: им ведь не бесчувственность нужна, а наоборот — тонкая чувствительность, но перевернутая.

С другой стороны — приучать людей к практическим научным безнравственностям надо постепенно из тактических соображений, а то как бы все дело не лопнуло.

Вообще тема дискуссии была выбрана замечательно удачно: в нравственном отношении она представляет дело крайней важности, ибо речь в ней идет о границах личности. В то же время с точки зрения научно-практической, она вовсе не лежит в русле центральной магистральной. Где-то близко, но все же не там.

Ведущая же линия современной науки оказалась, вне всякого сомнения, там, где с изумительной решительностью действуют раз-

ные виды генетики с близкими ей научными дисциплинами и практическими исследованиями.

Научники наивно полагают, что они приближаются к раскрытию главной загадки жизни. Они заблуждаются: их умами и руками манипулируют некие силы, приближающие к выходу на всемирную арену "тайны беззакония". И "беззаконника".

Центральные нервы современной науки, как линии в прямой перспективе, стягиваются к одной точке: к тайне воплощения "беззаконника".

Вновь вернемся к пророчеству преп. Нила Мироточивого: "...зачнется от тайного противоестественного блуда плод... сделается совершеннейшим сосудом дьявольским еще в утробе матери своей... родится от злой блудницы, хотя по наружным признакам и девственницы... воплотится безо всякого мужнего семени... с семенем родится, но не с сеянием человеческим..."

Что бы это могло означать, если перевести на язык представлений современной биологии?

Во-первых, "зачнется от тайного противоестественного блуда... в той, кто по наружным признакам девственница". Это, можно сказать, уже решенная проблема науки и практической медицины. В августе 1978 года мировую прессу обошло сообщение о том, что в английском городе Олдхэме родился ребенок, зародыш которого был получен от оплодотворения яйцеклетки мужским семенем в лабораторных условиях; пройдя "в пробирке" некоторое количество циклов делений, зародыш был пересажен в организм будущей матери, где и благополучно возрастал в течение положенных месяцев, а затем ребенок был рожден\*.

"Дитя века" — необыкновенно удачно окрестили его газеты. Впрочем, нет. Дитя века, кажется, еще не народилось. Ему еще предстоит быть. И вполне возможно, что англичанка Лесли Браун, родившая "дитя века", вместе с учеными, осуществившими этот сложный эксперимент, прокладывает путь для блудницы-девственницы из рода Данова, потому что если она зачнет "безо всякого мужнего семени", — одно это будет, конечно, делом чрезвычайно "противоестественного тайного блуда".

Кстати же — случай с Лесли Браун, кажется, был одновременно еще одним пробным камнем испытания человечества на нравственность. Ничего, прошло без особенных нравственных сенсаций и пересудов. А ведь всего два с небольшим десятка лет назад исследования итальянца Петруччи, сумевшего в течение месяца взращивать плод

---

\* Год 1980-й принес еще одну пикантную новость. Несколько американских женщин с целью получения "гениального потомства" были искусственно оплодотворены семенем некоторых нобелевских лауреатов. Правда, имена этих "ученых мужей" пока еще не были опубликованы.

"в пробирке", вызвали такую сильную нравственную реакцию, что он вынужден был прекратить в дальнейшем свои исследования. Быстро, быстро "дозреваем".

Да, но как же возможно "безо всякого мужнего семени"? Эта проблема представляется более сложной и в теоретическом и в практическом отношениях. Но с другой стороны – ни одна научная проблема, точнее – узел проблем, так быстро не движется к возможности своего практического осуществления, и здесь есть материал для рассуждения.

Во-первых, очевидно, некие силы озабочены тем, чтобы дело двигалось в намеченные – не просто сжатые – немислимые сроки. Замечательно еще и то, что дело, кажется, идет без существенных срывов и неточностей, очень планомерно по всему миру.

Во-вторых, на определенных этапах, как и в случае "ребенка в пробирке", осуществляются бульварные испытания на нравственность, и в общем все проходит удачно. Особенно замечателен в этом отношении спектакль с мораторием, который пытались, было, наложить в США на некоторые виды исследований. Замечательно, что дебатировавшаяся на этом спектакле тема (грубо говоря, опасность новых возможных эпидемий, так сказать, проблема всемирного здравоохранения) в нравственном отношении совершенно ничтожна по сравнению с той проблемой, которая скрылась "за спину" здравоохранительной тематики.

Гораздо более знаменателен тот факт, что некоторые ученые из чувства ужаса и отвращения отказались от дальнейшего проведения работ в отдельных направлениях молекулярной биологии и генной инженерии.

Теперь рассмотрим наиболее вероятный с позиций современных научных представлений путь решения заданной (если она действительно "задана" определенными силами\*) проблемы.

По-видимому, одним из необходимых этапов на этом пути является синтез ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты), того материала, на котором "записывается", "кодируется" наследственная информация в виде хромосом. То, что вообще такая задача ставится, – не секрет; о ее постановке постоянно проговариваются именитые генетики даже на уровне самых примитивных научно-популярных изданий. Вот, например, говорит академик А.Баев: "В генетической инженерии ставится задача получить искусственно наследственное вещество – носитель генетической информации, а уже от него идти к созданию организмов"\*\*. И если к созданию даже простейших ДНК чисто

---

\* Вполне допустимо вообразить, что современная биология "стихийно" движется к данной цели, не ставя перед собой преднамеренно демонических задач.

\*\* "Эврика 78", с. 145; ниже будет представлено, как подобные задачи формулируются в более фундаментальных изданиях.

химическими способами еще только приступают, то, применяя биохимические (ферментативные) методы, эту задачу можно решить в существенно более сжатые сроки; очевидно, это немаловажно для сил зла; мы видим их торопливость.

Строго рассуждая, уже одного этого довольно. Потому что, если будет синтезировано мужское семя с двойной спиралью ДНК (а это задача теоретически решаемая); если далее этим семенем будет искусственно оплодотворена женская яйцеклетка, а затем плод пересажен в организм девицы-реципиента (а эту задачу медицина с Лесли Браун решили уже и практически), то что может в результате родиться?

Человек ли? Нет. Потому что Господь дарует бессмертную душу человека тому, кто зачинается образом, установленным в природе Божественным законом. А что же родится тогда? Поскольку строгих аналогов такому человекоподобному существу в истории не имелось, допустимо назвать его как угодно. Например, зверем.

К сему можно добавить некоторые дополнительные соображения. Прежде всего о "мнимой девице". Она может быть одновременно как "мнимой девицей" (как повторяют многие писатели со слов св. Ипполита), так и подлинной девицей (по словам св. Нила). Оставаясь в собственно физиологическом отношении девицей, она может быть настолько растленной, так преисполненной всякой порочности, в том числе и блудом неосуществимым, что видно из слов того же св. Нила, что в духовно-нравственном отношении она, конечно, будет мнимой девицей; нравственное же содержание понятия "девица", конечно, более существенно, чем физиологическое; и если дело будет обстоять именно таким образом, термин "мнимая девица" представляется весьма удачным.

Предание предполагает, что антихрист будет внешне похож на Спасителя.

Теоретически вполне представимо расшифровать ДНК мужчины, по фенотипу похожего на Христа, к тому же обладающего очевидными волевыми, интеллектуальными и мистическими способностями по образу павшего естества, а затем реплицировать его в синтезированном мужском семени. Впрочем, последнее необязательно. Здесь, кстати, можно отметить некоторые научные предположения, которые отчасти могли бы иметь значение в "незаконном" происхождении зверя.

Важную часть современной генетики представляет так называемая "евгеника", то есть наука об "улучшении природы" человека биохимическими методами. Нечего, разумеется, говорить о том, что генетическое "улучшение природы" человека есть такое же точно сонное мечтание, как утопия достичь человеческого счастья путем

социально-экономических преобразований\*. Можно, кстати, предполагать, что едва ли кто из этих "евгениев" думает об "улучшении" собственной природы. Жаль! Можно также представить, какого сорта "улучшенная" природа бредится в замыслах сих материалистических гуманистов.

Следует еще добавить, что несмотря на самоуверенные официальные заявления некоторых именитых ученых о возможности генетического создания живых организмов с заранее заданными свойствами (в отношении к простейшим организмам подобные задачи уже решаются), рекомбинантные операции на ДНК находятся в самом зачаточном эмпирическом состоянии, и многие серьезные ученые полагают, что решение подобных задач по отношению к достаточно сложным биологическим формам непредставимо в обозримом будущем, а то и принципиально невозможно. (Так что, может быть, мы встречаемся здесь с очередной дымовой завесой.)

Кроме того, возможно допустить, что уже на завершающем этапе, особенно, если будет создано искусственное биоэлектронное сердце и решена проблема отторжения, совершат пересадку сердца. Это могло бы иметь некоторое значение, так как и по общему суждению святых отцов, и по довольно аргументированному сочинению доктора медицинских наук архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) "Дух, душа и тело", сердце является не только биологическим органом для перекачки крови, но и органом души, в котором зарождаются помышления (см. Мф. 15, 19 и другие места Священного Писания, также у многих св. Отцов). Это немаловажно и в мировоззренческом отношении, так как при пересадках сердца существенным представляется вопрос о границах личности.

В последние годы в специальной, а гораздо более — в научно-популярной печати все чаще ведутся разговоры о создании "модели" человека на основе математического формализованного языка и при помощи эвристических методов с широким использованием основных кибернетических идей. Предположим, что такая модель в некоторой перспективе могла бы быть "сотворена". Вероятно, ее "создатели" стремились бы главное внимание уделить "интеллектуальным" способностям такой модели, понимаемым, безусловно, с рационалистических позиций, способности "проникать" в состояние людей как в социальном, так и в индивидуальном отношениях; затем, поскольку оптимальная организация предмета в пространстве (форма, объем,

---

\* Кстати говоря, трагизм "удавшихся" в этом отношении исторических опытов состоит даже не только в тех прямых социальных, национальных, нравственных, экономических и т.п. последствиях, о которых обыкновенно громко кричат на европейских, а в последнее время и на некоторых российских перекрестках, сколько почти в полной потере способности к здравому человеческому рассуждению.

композиция, цвет) и во времени (высота, длительность и сочетание звуков, монтаж) может быть выражена в математических символах, "модель" принципиально могла бы иметь значительные "художественные" способности, понимая "искусство" в широком смысле. С другой стороны, следует учесть, что добродетели человека, понимаемые правильно, то есть с христианских позиций, как, например, кротость, смирение, самоотвержение и проч. и тем более – вера, надежда, любовь – суть высшие свойства души, даруемые Богом каждому человеческому существу, зачатому законным способом. Кроме того, нравственное состояние человечества, порвавшего с христианством, не имеет объективной основы. Отсюда следует, что этот сюжет может найти в модели только отрицательное отражение.

Конечно, наиболее здравомыслящие и достаточно профессионально подготовленные люди прекрасно понимают, что предположение о создании такой модели, а тем более ее влиянии на предполагаемый нами эксперимент есть не более, чем очередная химера суверенного секуляризованного сознания. Правда, некоторые эксперименты или, по крайней мере, рассуждения по биологическому аспекту такой модели ведутся – таков, например, смысл некоторых туманных и одновременно декларативных заявлений киевского профессора Н.П.Амосова.

Замечательно, что один из ведущих советских кибернетиков акад. В.Глушков в одном интервью довольно бодро воскликнул: "Модель человека у нас в принципе уже сделана. Правда, пока в упрощенном варианте".

Конечно, к таким полуанекдотическим заявлениям никто серьезно не относится. Но с другой стороны, если принять современные компьютеры за подобную модель в самом первом приближении, то во всяком случае одна ее сторона – способность выдавать оптимальные решения логических, эвристических задач – развивается заметно за счет совершенствования компьютеров и их программ, математического и информационного обеспечения, особенно в США. Но дело не только и не столько в стремительном развитии компьютерной техники и технологии. Еще перед восходом кибернетики один из ее предтеч английский логик А.Тьюринг в своей работе "Может ли машина мыслить?" ставил задачу о моделировании машины естественного мышления человека. Для нас наиболее важны мировоззренческие установки автора. Он приводит следующую цитату из Фомы Аквинского: "Мышление есть свойство бессмертной души человека. Бог дал бессмертную душу каждому мужчине и каждой женщине, но не дал души никакому другому животному или машинам. Следовательно, ни животное, ни машина не могут мыслить", – и добавляет: "Я не могу согласиться ни с чем из того, что было только что сказано... Пытаясь построить мыслящие машины, мы поступаем по отношению к Богу не более непочтительно, чем мы делаем это, производя потом-

ство; в обоих случаях мы являемся лишь орудиями Его воли и производим лишь убежища для душ, которые творит опять-таки Бог". Даже если бы в приведенных словах не было безбожия, кощунства и иронии, от этого не меняется существо дела: создание мировоззренческой базы для математической модели оптимального человека.

Годом позже знаменитый математик Дж. фон Нейман в статье "Общая и логическая теория автоматов" сравнивал вычислительные автоматы с живыми организмами, причем сравнение являлось не простой аналогией. В частности он пишет: "Живые организмы являются очень сложными – частично цифровыми, а частично моделирующими – организмами. Вычислительные же машины, по крайней мере, в том виде, какой они имели до настоящего времени, являются чисто цифровыми"\*.

Статья написана в 1951 году, с тех пор компьютерная технология сделала несколько шагов вперед и не только в мысле увеличения быстродействия машин, и многие кибернетики склонны видеть принципиальное различие между компьютерами и живыми организмами только в степени сложности (см. например, цикл бесед с акад. Глушковым об искусственном интеллекте в "Литературной газете" за 1976 год).

Последние страницы могут показаться дурным сном, странной и страшной фантазией. Но перед нами фундаментальный труд одного из ведущих советских генетиков, директора Института генетики АН СССР академика Н.П.Дубинина "Общая генетика" (М., Наука, 1976).

Позволим себе сделать оттуда некоторые выписки.

"Наступил кибернетический этап развития генетики, внесший, кроме нового языка, современные идеи о взаимозависимости и системности явлений мира. Наступает эпоха геной инженерии... Достижения генетики человека, общей и молекулярной генетики выдвинули проблему вмешательства в наследственность человека. Грядущая революция в генетике потребует решительного поворота от ранее господствовавшего взгляда о примате естественной природы. Генетика окажется в состоянии преодолеть естественную историю жизни и создать органические формы, немислимые в свете законов естественной эволюции... Встанет вопрос об осмыслении новых, совершенно непривычных представлений. Для генетики настанет время, когда с особой силой будут звучать слова В.И.Ленина: "Ум человека открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая свою власть над ней..." Генетика одаренности, способностей и склонностей научно рационализировать проблемы воспитания и профессиональной ориентации людей... Молекулярной генетике и молекулярной биологии XXI века предстоит создание клетки как единственно саморегулирующейся открытой живой системы, что будет связано с

---

\* Цит. по книге А.Тьюринг "Может ли машина мыслить?", Гос. изд. физ.-мат. литературы, М., 1960, с. 33-34, 71.

пониманием сущности жизни; будет осуществлен обмен жизненными формами между землей и другими мирами... Родилась молекулярная генетика и молекулярная биология – новые основы для нового подхода в свете основных категорий диалектического материализма... Новое направление в области генетики, методы которого обеспечивают целенаправленное изменение генетических программ, живых организмов, получило название генетической или геной инженерии... Целью генетической инженерии является создание организмов по заданной модели, наследственная программа которых образуется путем введения реципиенту новой генетической информации. Эта информация может быть искусственно синтезирована или выделена в виду природных генетических структур от разных организмов. Таким путем создается экспериментально новая единая генетическая система, которая не может возникнуть путем естественной эволюции... Различные манипуляции с молекулами ДНК могут привести к непредвиденному созданию биологически опасных гибридных форм... Методы геной инженерии помогут в борьбе против биологических дефектов у людей, и его власть над органическим миром будет небывалой..."

Как легко можно видеть, здесь обозначены как вполне реальные и во взаимосвязи почти все проблемы, которые нами представлены выше. Итак, все ясно: работа адова делается уже.

Еще одно обстоятельство бросается в глаза при обозрении всех приведенных нами научных сюжетов (даже если их рассматривать безотносительно к предполагаемой нами цели) – их чрезвычайная безнравственность. Аргументировать это утверждение едва ли целесообразно. Для православного сознания оно и так очевидно: для иногo – все равно ничем не докажешь, ибо нет у них объективных понятий о нравственности. Православному же – даже просто читать цитаты, подобные дубининским, – большая скорбь.

И здесь в нашей теме вырисовывается неожиданный поворот. Сформулировать его можно таким образом. Даже если наши предположения о воплощении антихриста (а необходимо сознаться, что они не более чем предположения, хотя и довольно вероятные; тем не менее поверить в их безусловность – род прелести) окажутся несоответствующими действительности, все равно следует признать, что современная наука готовит почву для прихода антихриста.

Прежде всего в силу безнравственности, которая все более и более становится свойственной "естественным" методам ведения; настолько свойственной, что, как уже было сказано выше, проявляется как функция науки.

Что крайне безнравственное состояние человечества должно непосредственно предшествовать приходу антихриста – мы имеем достаточно свидетельств в Свящ. Писании и в Свящ. Предании.

Что антихристу необходимо такое состояние – это понятно:



будь нравственность выше, ему невозможно было бы одержать такую всеобщую победу.

Но что свой весомый вклад в заметно ускорившееся нравственное падение человечества вносит наука — необходимо сознавать тоже.

Выше было также упомянуто, что все большее число ученых заявляют об автономии знания от веры. Притом мы даже не говорим о таких очевидных случаях, когда религиозное сознание просто очеркивается. В наше время в научной среде достаточно распространена идеология, которая принимает, например, христианство и даже церковность, но как одну из "форм" "духовной" жизни, наряду, положим, с той же наукой, искусством и даже с очевидно неприемлемыми, — наркотиками, спортом, йогой и проч. Различие между видами такого повсеместного среди ученых сознания — только в степени и формах интеллигентности и нетривиальности. Например, встречается такой вариант: встав в позу Рамакришны, с некоей высоты весомо заявлять: "Я изучил все религии мира и во всех их нахожу истину". Чаще всего за подобными фразами нет ничего, кроме пошлой позы. Но порою действительно так — он "изучил" все религии мира и во всех находит истину.

Подобное сознание очень выгодно антихристу: ему не нужен прямой атеизм, ему нужно именно такое смутное религиозное сознание, на почве которого и вырастет поклонение ему яко Богу. Значит, и в этом отношении наука выполняет свою функцию, воспитывая психологию ученого, в недрах которой возрастает подобная идеология.

Но наука и непосредственно готовит приход антихриста. Прежде всего стремлением "затуманить мозги", выражающимся в попытках объяснить мир. "Этот недуг ума особенно заметен в науках философских", — сказал еп. Игнатий (Брянчанинов). Истинно так! Добавить только можно, что недуг неизлечимый. Он излечим, когда дело касается отдельных лиц, но в отношении науки в целом — он неизлечим.

Причем, если говорить о науках философских, то в марксистском, вообще в материалистическом направлении эта болезнь явно заметна (так неправдоподобный бред легко и быстро различается в сравнении с более правдоподобным, хотя и тот, и другой — бред) и потому сравнительно меньше опасна.

Но по теперешним временам более сильное развитие недугов замечается в естественных науках, особенно же, как только они пытаются перейти от факта к более или менее серьезному обобщению. И здесь дело даже не в намеренных ошибках или искренних заблуждениях, хотя и они, разумеется, выполняют свою относительную роль сбивания людей с толку.

Дело именно в претензии, декларируемой на каждой углу, — претензии объяснить сущность всех мировых процессов. Когда повсюду так уверенно заявляют, что именно наука объясняет мир, мас-

совое сознание, не способное к самостоятельному анализу, принимает это на веру. Таким образом наука фетишизируется и становится предметом религиозной веры. В дополнение к сему – свою претензию правильно объяснить сущность мировых процессов наука, разумеется, выполнить не в состоянии; мир оказывается окутанным прочной сетью двойственной лжи. Отцу лжи, сатане, того и требуется. Там, где истина как-то живет, антихристу не удержаться. Он приходит тогда, когда все обмануты. Система обмана и самообмана – вот почва для антихриста. И в разработку этой почвы наука вносит свой посильный вклад.

Но наука имеет претензию не только объяснить мир, но и изменить его. Впервые эту претензию по отношению к наукам философским самоуверенно выразил Маркс. Что же касается естественных наук, то задачи некоторых частных изменений ставились более или менее всегда, но с течением времени, особенно к концу XIX века, даже сама постановка задач приобрела характер нагловатых афоризмов типа: "Природа не храм, а мастерская...", "Мы не можем ждать милостей от природы..." и проч. Чрезвычайные экологические последствия же "взятия" некоторых "милостей" от природы заставили быть осторожней в оценках, по крайней мере, во избежание иронии, и отчасти в действиях. Впрочем, не всегда. Высказывания Н.П.Дубинина, вроде "генетика окажется в состоянии преодолеть естественную историю жизни" – не в том ли русле?

Как бы то ни было, наука не отказалась и по самой природе своей не может отказаться от претензии менять лицо земли. Эту претензию свою она постоянно и осуществляет в некоторой мере. На первый взгляд безобидные, пока речь идет о достаточно простых, традиционных, технических областях действия науки становятся очевидно безбожными там, где создаются новые вещества и организмы, не предусмотренные божественным планом творения, то есть прежде всего в химии и в биологии.

Нас здесь интересует мировоззренческий аспект проблемы, но, между прочим, экологический аспект ныне вполне приобретает тоже мировоззренческий и даже богословский вид.

Не останавливаясь далее на этом, примем во внимание, что стремление изменить лицо земли также разрыхляет почву для антихриста, ибо уверенность, хотя и ложная, во всемогущем человеческом разуме растет вместе со стремлением менять Божественный план творения, растет вера во имя свое, потому и примут того, кто придет во имя свое, а Того, Кто пришел во имя Отца Своего, не приняли (Ио. 5,43).

Наконец, надо еще иметь в виду и то, что наука – один из самых увлекательных видов деятельности. Все большее число людей оказывается вовлеченным в его орбиту. Обычно в этом процессе видят экономическую предопределенность; говорят: наука стала непо-

средственной производительной силой общества; но predeterminedность здесь прежде всего психологическая. Желание вкушать плодов с древа познания добра и зла, послужившее началом грехопадения праотцов; ненасытное это желание, генетически перешедшее в весь человеческий род, получает наиболее сильное удовлетворение в научной деятельности. Есть и другие, психологически менее важные мотивы привлекательности науки. Своей привлекательностью наука выполняет двойную роль в деле подготовки прихода антихриста. Во-первых, ум и сердце целиком прилепляются к любознательно научной деятельности и не в силах воспарять ни в молитве, ни в богомыслии, ни в чем духовном вообще, то есть таким образом душа делается несвободной. Душой свободной антихрист не завладеет, поработанной же — как раз.

Во-вторых, будучи поработанной наукой вообще, душа поработается и тем образом мыслей, тем строем сознания, который несет автономная наука, и тем самым приобретает сродность с духом антихриста. Епископ Игнатий (Брянчанинов) пишет: "В самом настроении человеческого духа возникает требование, приглашение антихриста, сочувствие ему, как в состоянии сильного недуга возникает жажда к убийственному напитку"\*.

Антихриста приглашают, и он приходит. Так — в плане объективном; в субъективном же — здесь смерть души, о чем так трогательно свидетельствует святитель Тихон Задонский: "Тако бедный человек, потерявши живыя воды источник, Бога, копает мутные кладязи в созданиях, и от них ищет своей душе прохладения! но копай, копай, сколько хочешь, бедная душа, кладязей сих, жажды твоя от них не утолишь, еще и еще будешь жаждать. Знаешь ли, где сыскать живую воду? Слыши! вот призывает к Себе живой Источник: "аще кто жаждет, да грядет ко мне и да пьет... (Ио. 7, 37)""\*\*.

Более сказать нечего. Итак: наука готовит приход антихриста, если не прямо, будучи инструментом его воплощения, что весьма вероятно, то в духе и мировоззрении — что безусловно.

Православное воинство ждет выступления сильного врага, и потому трезвится и бодрствует. Страшиться нам нечего: мы верим в непостижимое милосердие Божие, мы верим в Его святое обетование, что врата ада не одолеют Церковь Божию (Мф. 16, 18). Мы только молимся о том, и стремимся к тому, чтобы поменьше своих нам потерять в последнем страшном сражении.

И если нашим разведчикам удастся выведать, когда примерно собирается враг выступить, какими порядками и в каком месте нанести удар, — они идут и возвещают своим: готовьтесь.

\* Собр. соч. т. 4, с. 319.

\*\* Собр. соч. т. 15, с. 60.

## КОЛОНКА РЕДАКТОРА

---

### В ПРЕДДВЕРИИ НАШЕГО ЗАВТРА

Мне – человеку, сделавшему все от себя зависящее, чтобы Россия в конце концов освободилась от непосильного для нее имперского груза и занялась нравственным, экономическим и культурным самоизлечением, казалось бы, надо только радоваться тому, что происходит сегодня в нашей стране. И я вместе со всеми искренне радовался обретению независимости бывшими республиками, входившими в состав так называемого Советского Союза. Но, увы, радость эта продержалась во мне недолго.

Неожиданно для себя я вдруг обнаружил, что многие из тех на Западе и Востоке, кого я считал своими союзниками и единомышленниками в борьбе против тоталитарной системы, жаждут не столько суверенитета, свободы и демократии, сколько, и прежде всего, крушения России как таковой. К моему ужасу, их ничем не мотивированная, почти патологическая ненависть к этой стране, к ее народу, к ее культуре и истории постепенно становится повседневной нормой в самых влиятельных интеллектуальных и политических кругах и в самых что ни на есть либеральных средствах массовой информации.

С недавних пор я начал коллекционировать публикации и высказывания подобного рода. Предлагаю вам из своей коллекции цитаты наугад:

“Я желаю России краха”. Это откровенничает известный грузинский правозащитник Тенгиз Гудава на страницах американской русскоязычной газеты “Новое русское слово”. По иронии судьбы “крах” во всех отношениях потерпела сегодня именно Грузия. Вот уж, воистину, не рой другому яму!

“Россия должна быть уничтожена... Россия – утопия, страна, населенная призраками и мифами”. Вторит ему другая правозащитница в сверхпрогрессивном литературном журнале “Даугава”, выходящем в Риге.

Как видите, не стесняются наши нынешние поборники прав человека почти буквально повторять фашистский бред Геббельса и Розенберга.

А вот два пассажа из рецензии на роман, опубликованный в высшей степени демократическом еженедельнике “Панорама”, выпускаемом в Лос-Анджелесе:

“Вселенная (то есть Россия – *В.М.*), в которой обитают герои... нравственно индифферентна. В ней нет никакой этической структуры. Жертва здесь так же гадка, как и палач.”

Хотелось бы поинтересоваться у автора, о ком это? О Сахарове, Мандельштаме, Пастернаке, Марченко, бастующих шахтерах или погибших защитниках "Белого дома" на Москве-реке?

Но дальше еще гаже:

"Автор соскребает хрестоматийный глянec с портретов классиков. Гоголь и Достоевский у нее — такие же негодяи и антисемиты, как и все окружающие."

Предлагаю вам поплодировать автору!

А вот из "Независимой газеты":

"Кто по национальности были члены восьмерки? — Спрашивает в ней некто Владимир Коваленко. — Семь русских и будущий самоубийца Пуго — родившийся в Калининe сын латышского эмигранта, с презрением отвергнутый собственным народом и даже ставший его палачом... Так что скорее это был заговор русских националистов..." Хотите верить, хотите — нет.

Жаль только, что расплачиваться за этот фашистский бред придется многим народам.

В заключение не могу отказать себе в печальном удовольствии процитировать здесь ответ Збигнева Бжезинского на вопрос одного российского журналиста: "Я не хочу, чтобы ваша страна вообще существовала." Ничего не скажешь, просто и ясно.

Хватит? Или еще?

Впрочем, кому мало, советую послушать радиостанцию "Свобода". К примеру, специальную программу, посвященную Сибири, передачи о Татарстане или серию "Русская идея". Весьма занимательно.

Я уже не говорю о большевистских клише, вдруг замелькавших в последнее время на страницах печати Востока и Запада о "России — тюрьме народов" и "русском империализме".

Если принять эти утверждения на веру, то в таком случае я вправе назвать Америку суперимпериалистическим государством, железом, кровью и подкупом утвердившим себя на никогда не принадлежавшей ей земле всего лишь чуть более двухсот лет назад.

Тогда, спрашивается, почему, с какой стати американцы считают себя коренными жителями своей страны, а русских, осевших на берегах Волги или Байкала почти полтысячелетия тому, империалистами?

К сожалению, теперь уже не Советский Союз, а собственно Россию начинают открыто рассматривать, как ничейную землю, предназначенную для глобального распределения. Дошло уже до того, что германское правительство всерьез обсуждает с нашими демократическими лидерами проблему государственности для немецко-колонистов, радушно принятых когда-то на российской земле.

Я всячески приветствовал бы возвращение этих трудолюбивых и достойных людей на берега Волги. Мало того, я считаю, что Россия,

как это сделала недавно Америка с этническими японцами, должна компенсировать им все потери, связанные у них с выселением. Но если они вправе сегодня требовать для себя суверенитета, то, следуя международному принципу взаимности, следует признать и право этнических русских в ФРГ на свое собственное государство. К примеру, со столицей во Франкфурте-на-Майне, где расположена штаб-квартира Национально-трудового союза России. Тем более, что современная Германия тоже называется Федеративной. Но если говорить всерьез, то было бы не только крайне наивным, но и опасным полагать, что какой-либо народ согласится принять по отношению к себе двойные стандарты. Согласитесь, если одна цивилизованная страна может позволить себе начать настоящую войну за острова, находящиеся за тысячи миль от нее (как это было с Фолклендами), во имя защиты интересов своих соотечественников, а другая по тем же мотивам высаживать десанты в суверенных государствах (как это было в Гранаде и Панаме), а третья — отстаивать Карабах с оружием в руках, то почему же мы не имеем права вслух беспокоиться о судьбе своих соотечественников, оказавшихся по милости сталинских картографов за пределами родной земли?

Неужели только из-за того, чтобы не прослыть империалистами и шовинистами?

Прошу понять меня правильно, я категорически против каких-либо преимуществ для русского народа на территории Российской Федерации. Россия традиционно сочетает в себе национальную, культурную и религиозную многоукладность. Мы можем и должны найти форму общественного и государственного устройства, где каждый народ и каждая отдельная личность будут пользоваться всеми правами и возможностями для своего гармонического развития, но я столь же категорически против любого национального эгоизма внутри федерации, ставящего собственные прагматические интересы выше интересов российского общества и государства вообще.

Вольным или невольным режиссерам разрушительного сепаратизма в современном мире следовало бы извлечь урок хотя бы из югославской трагедии, если они не хотят, чтобы уже в ближайшее время весь Евро-азиатский континент превратился в одни сплошные Балканы. Им также следовало бы не забывать, какую цену уплатил мир за унижение немецкого народа в эпоху Веймара: народ, загнанный в угол, становится смертельно опасным. В России плохо с продуктами питания, но в ней, уверяю вас, очень хорошо с ядерным оружием. Да и без этого оружия народ в сто пятьдесят миллионов человек не позволит поставить себя на колени.

И если человечество действительно озабочено завтрашним днем России, то ему следовало бы наконец ответственно осознать, что от этого завтрашнего дня зависит и его собственная судьба.

## НАША ПОЧТА

---

Уважаемый Владимир Емельянович!

На днях купил 66-й номер "Континента".

Пишу к Вам в связи с примечанием на 367 странице к словам Александра Кушнера "Русофобия – скверная выдумка негодяев". До этого я где-то читал Ваше интервью, где Вы, как и автор примечания, к моему удивлению, сочли необходимым доказывать, что русофобия существует.

(В дальнейшем я буду писать так, как будто автор примечания – это Вы: как редактор, Вы отвечаете за неподписанные примечания; кроме того, судя по интервью, Вы могли его сделать.)

Удивление мое вызвано тем, что Кушнер (как и все люди в этой стране в настоящее время) употребляет слово "русофобия" в одном смысле – а именно в том, в котором его употребил Шафаревич в статье "Русофобия", и после этого стали употреблять многие публицисты, называющие себя патриотами, – Вы же употребляете его совершенно в другом смысле – в том, который приведен в толковом словаре. В Вашем смысле Багрицкий и Ильф и Петров не являются русофобами, а в смысле Шафаревича – являются. Поэтому Ваше возражение Кушнеру лишено какого бы то ни было смысла – Вы возражаете на то, чего Кушнер не говорил. Доказывать, что существует русофобия в Вашем смысле, нет никакой необходимости – кто же будет спорить, что, скажем, некоторые поляки не очень любят русских (и не любили в прошлом).

У меня сейчас нет под рукой ни Вашего интервью, ни статьи Шафаревича.

Пишу по памяти.

Раз я выдвинул тезис, что русофобия в Вашем смысле и в смысле Шафаревича – разные вещи, я должен его доказывать. Но доказательство в основном состоит из пересказа статьи Шафаревича, которую Вы знаете не хуже меня и, следовательно, понимаете разницу между двумя "русофобиями". Но откуда тогда это примечание? Чувствуя некоторое сомнение, продолжаю.

Шафаревич создал некую теорию "малого народа", враждебно относящегося к "большому народу" – русским. "Малый народ" – это часть интеллигенции (в наше время – интеллигенция диссидентского толка). Ядро "малого народа" составляют интеллигенть-евреи. Этот малый народ и есть русофобы. Они ненавидят русское крестьянство, они осуществили коллективизацию, они составили большую часть руководства ЧК-НКВД (перечисляются еврейские фамилии руководителей среднего звена НКВД). О тех русофобах, о которых говорите Вы, у Шафаревича нет ни слова и они его не интересуют. Для него русофобы – это Александр Янов, Андрей Синяевский,

Василий Гроссман, Эдуард Багрицкий, Ильф и Петров, Исаак Бабель, Григорий Померанц, Андрей Амальрик, Хаим-Нахман Бялик, все (или большая часть) демократы (которые хотят навязать свои взгляды русскому народу), а также инициаторы коллективизации (которые ненавидели русское крестьянство и навязывали ему колхозы) и т.д.

У всех публицистов и писателей (русофобов), упомянутых выше, Шафаревич находит какое-нибудь нелестное высказывание о русском народе или о каком-нибудь представителе русского народа. Шафаревичу и его последователям говорили, что такие высказывания можно найти в огромном количестве у русских писателей ("История одного города" – явное издевательство над Россией) и писателей других народов. Ответы были не очень убедительны. На цитату из Лермонтова ("Прошай, немытая Россия, страна рабов, страна господ...") отвечали: "А докажите, что Лермонтов это писал. Предъявите автограф!" Или отвечали, что русские писатели писали такие вещи с болью, а русофобы – со злорадством. Но это уже чтение в сердцах. Какую боль они увидели в словах Гоголя (повесть "Нос"): "Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный"? Или, может быть, Гоголь не русский писатель, потому что малоросе?

Самую страшную русофобскую цитату, которую Шафаревич обнаружил и которую его последователи десятки раз цитировали, – это вырванные из контекста слова Андрея Синявского: "Россия-сука". Шум по этому поводу был поднят невероятный. В письмах-требованиях запретить печатание "Прогулок с Пушкиным" эта цитата неизменно приводилась, хотя она не оттуда, насколько я знаю. Ричард Олдингтон в "смерти героя", обращаясь к Англии, говорит: "Да поразит тебя сифилис, старая сука!" Блок писал К.Чуковскому: "Слопала-таки поганая, гугнивая матушка-Россия, как чушка своего поросенка..."

Значит, Ричард Олдингтон – англофоб, а Блок – русофоб? Англичане никакого шума не поднимали, а Шафаревич Блока тоже не трогает.

Шафаревич ухитряется находить русофобию там, где никто другой не мог бы ее увидеть – например, в образе Васисуалия Лоханкина (карикатура на русского интеллигента!). Кто до Шафаревича обращал внимание на его национальность?

Похоже, что узнать, кто входит в конгломерат, созданный Шафаревичем, можно только, каждый раз обращаясь к самому Шафаревичу.

Какой шизофреник мог включить в один класс Бялика, энкавдешников, демократов, Григория Померанца и Андрея Амальрика под общим именем "русофобы"? (См. ниже, где говорится, как Шафаревич устроил, что среди русофобов много евреев.) Каков общий признак всех этих людей? Казалось бы, Шафаревич отвечает на это заголовком своей статьи. Но если судить по тем цитатам, которые он считает русофобскими, то признак "русофобия" – вырожденный, то есть – все русофобы. Ведь в любом романе любого писателя, пишущего о России, русские герои не могут же быть все ангелы, а доста-



точно одному русскому герою иметь один недостаток – вот вам и улика. Если Васисуалий Лоханкин – это признак русофобии, то кто без греха?

Хитите доказательства, что Иосиф Бродский – русофоб? Пожалуйста. П. Горелов ("Мне нечего сказать...", "Комс. правда", 19 марта 1988 г.) пишет: "...в "отечестве белых головок", как выразился однажды Бродский о нашей родине...", и далее: "Знакомая интонация глумливого отчуждения зазвучит и в том стихотворении Бродского, где он будет описывать покинутый им самим "остров" – Россию: "Там хмурые леса стоят в своей рванине... / там лужа во дворе, как площадь двух Америк... / Там, наливая чай, ломают зуб о пряник. / Там мучает охранник во сне штыка трехгранник / ... Там говорят "свои" в дверях с усмешкой скверной. / ... Пивная цельный день лежит в глухой осаде/ ... Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот".

П. Горелов не употребляет слова "руссофобия" (вероятно, потому, что его статья появилась до статьи Шафаревича), но кто, знакомый со статьей Шафаревича, усомнится в том, что приведенных цитат более чем достаточно, чтобы признать Бродского руссофобом? Термин "руссофобия" – это вроде известного термина "клеветническое произведение" – все произведения (особенно сатирические) – клевета на нашу действительность (по той же причине достаточно одному советскому человеку иметь один недостаток – уже можно разоблачать это клеветническое произведение). (Ну, я несколько упростил – могут быть отрицательные герои, как среди русских, так и среди советских людей, – у теоретиков социалистического реализма это вызывало затруднения, которые теоретикам руссофобии еще предстоят.) Поскольку руссофобы – все, то решать, кто руссофоб, приходится по произволу – кто не нравится "патриотам", тот и руссофоб.

Большинство фамилий руссофобов, которые приведены у Шафаревича, – еврейские. Евреям посвящена большая часть статьи. Шафаревич всегда отрицает, что в его статье есть что-то антисемитское. Но многие читатели, по моим впечатлениям, другого мнения. В статье есть предсказание (какое отношение оно имеет к руссофобии, спросите автора), что Шенберга, Фрейда, Кафку, Пикассо, Бродского в будущем забудут. Я спрашивал у нескольких людей, обратили ли они внимание на эти слова. Реакция всегда была одна и та же: "А разве Пикассо еврей?" Для "патриотов" слово "руссофобы" стало синонимом слов "жиды", "космополиты", "сионисты", "жидомасоны", "масоны", "хазары" и т.д. Если Вы будете учитывать, как это Вы сделали со словом "руссофобия", только словарное значение слов "масоны" или "хазары", то Вы ничего не поймете в том, что у нас говорят и пишут, и Вам будет непонятен радостный рев толпы при словах оратора: "Власть в 17-м году захватил хазарский каганат!" Антисемиты понимают, что это значит. Евреи тоже. В антируссофобских письмах читателей встречаются такие восклицания: "Писал бы Бродский на своем языке! Тогда из него, может быть, получился бы поэт"; или: "Какое право имеет Высоцкий чернить Россию! Я русский, я имею право". Абраму Эфросу кричали из зала: "Ставь-

те пьесы на своем языке!" И зачем в статье о русофобии примечание, что фамилия Маршалл происходит от "маршалик" – шут в гетто?

При этом, хотя приводятся многочисленные примеры русофобии у евреев, существование антисемитизма у русских отрицается. У Шафаревича антисемитизм (юдофобия) считается чрезвычайно расплывчатым понятием, в то время как русофобия, как видно из статьи, считается точным научным термином (насколько он точен, мы видели выше). Шафаревич подчеркивает, что в статье он никого не осуждает, что пишет без гнева и пристрастия, что он только излагает факты, и, если евреев среди русофобов много, то что поделать, таковы факты (по-видимому, к фактам относится и утверждение, что Фрейда, Пикассо и Бродского в будущем забудут). Научный вид статье придает и большой список литературы. Если считать, что образ Васисуалия Лоханкина – русофобия, то, как я уже писал, русофобов оказывается много. Приходило ли Вам в голову, что "Конармия" Бабеля – это русофобия? В Вашем примечании подобных примеров нет. Число русофобов нужно как-то уменьшить. Если исключить русских писателей, у которых есть аналогичные высказывания, а также поляков, венгров, чехов, литовцев, латышей, эстонцев, украинцев, молдаван, грузин, армян, немцев, крымских татар, чеченцев, а также чукчей и гагаузов, то мы получим научный вывод, что среди русофобов много евреев. Если искусственно соединить тему русофобии с темой о роли евреев в мире, то можно будет включить и зарубежных евреев (отсюда и появился Маршалл), и "еврейский вопрос" займет чуть ли не половину статьи. Искусственность класса русофобов и означает, что русофобия – выдумка, как говорит Кушнер, и вызывает сомнения в научной добросовестности автора.

Могут сказать, что статья – о "малом народе", а заглавие означает только то, что все представители "малого народа" – русофобы, но не наоборот, и поляки тут ни при чем. Но так просто вопрос не решается.

Представители "малого народа" отличаются от прочих русофобов тем, что живут внутри нашей страны. Ну, поляки и венгры исчезли. Но все равно остается много наций. А главное – признак-то какой-то сомнительный. Сегодня ты живешь в независимом государстве и ты не член "малого народа", а завтра тебя присоединили к российской империи и ты сразу вливаешься в ряды "малого народа". И может ли целый народ быть частью малого народа, если большая его часть – русофобы? Учитывая традиционный антисемитизм поляков и литовцев, они легко могли бы найти общий язык с нашими "патриотами": каждый бы боролся со своим малым народом у себя (впрочем, в Польше уже не с кем бороться). Но этому объединению единомышленников мешает их столь же традиционная "руссофобия". Но в связи с последними событиями слово "руссофобия" по отношению к литовцам тоже стало использоваться. Бывают ситуации, когда путаница словарного (Вашего) и нового (Шафаревича) смыслов неизбежно возникает, сколько ни разъясняй его новый научный смысл. Может быть, отличительный признак "малого народа" в том, что его

представители рассеяны по России, а литовцы и грузины живут вне России и поэтому не входят в "малый народ"? Но это уже начинает напоминать признаки нации у Сталина, по которым получалось, что евреи не нация, а национальность. Можно было бы привести еще кое-какие возражения против этой теории, но, кажется, они уже приводились в других статьях других авторов. Может быть, можно еще как-то уточнить, что такое "малый народ", но определение его все равно останется произвольным, и каждый раз в частных случаях последней инстанцией окажется автор теории, а мы видели, как он суров.

Не выдал Шафаревич Василию Гроссману справку о патриотизме — значит, тот русофоб. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Когда "патриоты" придут к власти, таких частных случаев будет очень много — попробуйте по всей стране про всех решить, кто русофоб, а кто нет. Шафаревичу одному не справиться. Придется поручать эту работу кому-то другому. Но не все же так суровы: некоторые возьмут и оправдают Ильфа и Петрова. Пачками придется Шафаревичу расстреливать своих сторонников за либерализм. А впрочем, может быть, ученики превзойдут учителя и поставят к стенке Шафаревича за то, что его фамилия похожа на фамилию Каганович. "Да мы их всех по стенке размажем!" — отвечал каждый второй при опросе о событиях в Литве. "Патриоты" — ребята не менее решительные, чем большевики.

Я думаю, что наука не имеет к этой теории отношения. "Патриотам" нужен термин, позволяющий обвинять всех своих противников. Раньше такую роль играл термин "сионизм". Теории никакой не было, определения никакого не было, кроме разъяснений, что не все евреи — сионисты (это позволяло избегать обвинений в антисемитизме), и не все сионисты — евреи (это позволяло включать в их число кого угодно). Иногда, впрочем, "патриотами" давались наивные ответы, что сионисты — это те, кто против нас. Теперь часто используется термин "русофобия". О научности этого термина можно говорить в такой же степени, как и о научности терминов "клеветническое произведение" или "антисоветское произведение". Посадить можно кого угодно, вот только наукой считать нельзя. Недавно появилась и теория сионизма, о которой я дальше скажу несколько слов. Она вполне годится для целей, о которых говорится в начале абзаца.

Другой ведущий борец с русофобией — это Вадим Кожин. Он писал что-то вроде: "евреи уезжают якобы потому, что здесь существует дискриминация". То есть существование дискриминации евреев в Советском Союзе Кожин отрицает — как и Горбачев и вся официальная пресса. Кожин мог бы свалить все на коммунистов и сказать, что русский народ тут ни при чем, но ему этого мало. Шафаревич пишет нечто весьма похожее по поводу еврейской эмиграции: "...якобы потому, что их довели русские", что можно понять и как то, что евреев довели не русские, а большевики, и как отрицание дискриминации вообще — как у Кожина. Все нынешнее поколение евреев, не считая стариков, выросло при государственном антисеми-

тизме, во всем мире это давно известно, любой человек в СССР знает, что такое "пятый пункт", вся страна слушала песни Высоцкого, среди которых есть несколько про этот самый пункт, об этом (писать на эту тему было запрещено, когда, кажется, все остальное было уже разрешено) много напечатано и в нашей стране — один Кожинов ничего не знает.

Можно поверить людям, когда они говорят: "Мы не знали, что у нас сажали невинных". Но можно ли поверить, что Кожинов сейчас не знает о роли "пятого пункта" при поступлении в привилегированные вузы и учреждения, на секретную работу и т.д. Да ведь его соратник Куняев писал, что ограничения на прием в вузы евреев были и что это вполне естественно.

Кроме того, Кожинов постоянно пишет и говорит с экрана телевизора, что до революции в русских городах погромов не было (Кишинев — это Молдавия, а Киев — Украина) и русские в погромах не участвовали. (Возможно, Кожинов сказал "не были инициаторами погромов". Разница невелика.) Трудно поверить, что в многочисленных погромах в Одессе, Ростове-на-Дону (если я не ошибаюсь, об этом погроме упоминал Н.Лесков в своей статье о евреях), Екатеринославе русские не принимали участия; "Союз русского народа", который участвовал во многих погромах, не из одних же молдаван состоял. Кожинов спекулирует на том, что самые известные погромы были в украинских, белорусских и молдавских городах и слушателю трудно сразу вспомнить название русского города, где был погром. То, что в крупных русских городах долгое время не было погромов, может быть, можно объяснить просто: чтобы устроить еврейский погром, нужны евреи, а где их взять, если города находятся вне черты оседлости?

Вопрос о том, как евреи расселялись вне черты оседлости, требует особого рассмотрения, но вопрос о том, были ли погромы в русских городах, это не проблема. Кожинову стоило раскрыть любую еврейскую энциклопедию на любом языке на слове "Рогами" — он бы там прочитал, что "Погром" — русское слово, что первый погром (подвиги Богдана Хмельницкого и пр. не в счет) был в Одессе в 1821 г., что первый погром вне черты оседлости был в Нижнем Новгороде в июне 1884 г. Нижний Новгород тоже в Молдавии находится?

Последний перл, который я слышал из уст Кожинова (передача "Добрый вечер, Москва!", кажется, 6 февраля 1991 года, речь шла о событиях в Литве): "В ЧК была одна треть литовцев" (на этом, по-видимому, Кожинов обосновывал мысль, что русские вправе предъявлять литовцам претензии). Я почувствовал себя как читатель сельскохозяйственной газеты у Марка Твена, и решил проверить, не сошел ли я с ума, спросив кого-нибудь другого об этом предмете. Никто, как и я, не помнил ни одного литовца-чекиста, зато все хорошо знали о латышских стрелках и о латышах в ЧК. Мог ли Кожинов, интеллектualan, известный своей эрудицией, много пишущий по национальному вопросу, спутать литовцев с латышами, да еще зная, что его слышат миллионы телезрителей? Кожинов ведь не какой-нибудь невежественный член политбюро или солдат-призывник с не-

полным средним образованием.

Судите сами, невежество это или... вот то самое, о чем говорил Кушнер.

Кожинов разработал свою собственную теорию – но не русофобии, а сионизма. Понятие сионизма у Кожинова также сильно отличается от словарного и также позволяет включить в число сионистов кого кожиновой душе угодно. К сионистам относятся, например, люди: а) помогающие Израилю, то есть большое число американцев; б) пропагандирующие какую-нибудь теорию какого-нибудь еврея, например, еврея Альберта Эйнштейна; в) препятствующие печатанию какой-нибудь статьи против какой-нибудь теории какого-нибудь еврея, например, того же Эйнштейна. Качество статьи и теории при этом не обсуждается. Впрочем, познакомьтесь с этой теорией сами.

Кажется, я привел достаточно примеров научной недобросовестности создателей русофобии. Эта явная недобросовестность и дала основание Кушнеру назвать их негодьями, подобно тому, как это можно сделать по отношению к создателям терминов "клеветническая литература" или "антисоветская литература".

Если бы кто-нибудь в примечании к заявлению, что эти термины – выдумка негодяев, стал доказывать, что клевета не выдумка, а действительно существует, Вы бы сочли такое примечание несколько неуместным и решили бы, что автор примечания не иначе как иностранец.

Но я еще хотел бы сделать замечание о "чисто научном характере" теорий русофобии и сионизма. Никто из людей, любящих стихи, которых я знал, не стал бы защищать Пушкина от русофоба Синявского с помощью таких писем, которые писали Шафаревич и его последователи. Невозможно представить себе, чтобы Ахматова или Цветаева подписали такие письма. Большинство сторонников Шафаревича не читало Синявского и поддерживают Шафаревича, как раньше советские люди: "мы не читали, но осуждаем...". Я думаю, они и Пушкина не читали. И вообще ничего не читают. "Русофобы" для них просто замена слова "жиды" или "жиды и их прихвостни". Такие письма охотно подписал бы Жданов – их стиль напоминает стиль ждановских выступлений по аналогичному поводу, тоже против оскорбления великого поэта в пародии "Судьба Евгения хранила, ему лишь ногу отдало, и только раз, толкнув в живот, ему сказали "Идиот!" и т.д. и оскорбления Некрасова в пародии на роман о Некрасове: "Некрасов проснулся с отрыжкой и поздно. Мучила изжога и царская цензура".

Шафаревич и его сторонники используют свою теорию для того, чтобы осудить и призвать к запрещению произведений, которые у нас не опубликованы, для того, чтобы требовать закрытия журнала, если их все-таки опубликуют, для того, чтобы призвать своих сторонников выйти на улицу, подобно мусульманам, протестовавшим по призыву Хомейни против книги С.Рушди ("сотни людей погибли, но зато они добились запрещения книг!").

Читатели "Нашего современника" требуют привлечь русофобов к суду. Теории эти, как и марксизм, поистине руководство к действию.

Примечание кончается выражением надежды на то, что высказывание Кушнера – “досадная оговорка”. Не надейтесь. Скорее можно надеяться, что Ваше примечание – досадная невнимательность.

С уважением

*А. Серебряный*

13.2.91

Р.С. Коснусь одного вопроса, который не имеет отношения к Вашему примечанию, но имеет отношение к теории русофобии. Многих озадачивает, каким образом один из крупнейших современных математиков создал такую дикую теорию. Но случай этот не такой уж редкий. К. Чапек в “Войне с саламандрами” пишет: “Нет такой бредовой теории, которую какой-нибудь интеллигент не счел бы средством для спасения мира”. Вы можете навести справки в Сорбонне – там среди известных математиков найдутся маоисты (заметим, что некоторые из них окажутся еврейского происхождения). Таким образом, Шафаревича следует включить в класс “интеллигенты – сторонники бредовых теорий”, вместе со столь нелюбимыми им левыми интеллигентами Запада, вместе с Ж.-П. Сартром, вместе с Пикассо, который попал в упомянутый выше список тех, кого забудут, не как еврей, а как член ФКП. В этом классе окажется очень много евреев, поскольку эта нация склонна к теоретизированию. Следует включить туда Маркса и Фрейда (со ссылкой на Карла Поппера, согласно критерию которого эти теории ненаучны, поскольку никакие факты их не могут опровергнуть). Можно включить в этот класс и Теодора Герцля, создателя бредовой теории сионизма (со ссылкой на Достоевского, который иронизировал над верой евреев в то, что они соберутся на земле обетованной, на самого Герцля, который сам писал, что его слова вызовут смех, а также на каких-нибудь противников Герцля, в которых у него недостатка не было). Естественно туда включить Троцкого и Ленина (со ссылкой на Плеханова, сказавшего, что “Апрельские тезисы” – это бред). Несомненно, в список попадут и многие литературоведы. Можно включить, например, Виктора Шкловского (со ссылкой на образец его творчества в пародии Э. Паперного: “Сюжет “Мухи-Цокотухи” заимствован из “Руслана и Людмилы” Пушкина: Муха – Людмила, Комар – Руслан, Паук – Черномор”). Наконец, можно объявить склонность к созданию и поддержке бредовых теорий национальной особенностью еврейского ума. Последнее соображение, а также несомненные факты, что в этом классе много евреев и что в него входит основатель сионизма, дают нам основание назвать представителей этого класса сионистами. Таким образом, нетрудно создать теорию, согласно которой Шафаревич и Кожин – сионисты.

Список использованной литературы будет не меньше, чем у Шафаревича, что будет говорить о глубокой научности этой теории, теория будет свободна от обвинений в антисемитском характере (“не все евреи – сионисты”), а ссылка на полное собрание сочинений Достоевского даст гарантию, что автор – патриот.

Р.Р.С. В примечании есть опечатка – при переносе со страницы на страницу пропущено несколько слов.

Надеюсь получить от Вас какой-то ответ. Поскольку недоумение по поводу этого примечания испытают многие, стоило бы ответить в "Континенте". Мое письмо или фамилию можете не упоминать, можете изложить содержание письма в двух словах (все мое письмо сводится к вопросу, стоило ли опровергать Кушнера, если понимать русофобию в смысле Шафаревича), можете напечатать — как хотите.

ОТ РЕДАКЦИИ: Вместо комментария советуем автору и читателям познакомиться с "Колонкой редактора" в этом номере.

\* \* \*

**Уважаемый Владимир Емельянович, здравствуйте!**

Августовские события в нашей стране дают богатую пищу для размышления. Свои мысли я попытался выразить в своем материале, подготовленном для "Сибирской газеты", в которой я работаю. Материал не был опубликован. Но не хотелось бы, чтоб он пропал даром. Посылаю его Вам в надежде, что "Континент", свободный от идеологических шор, смотрит на вещи более широко. Буду рад, если Вы мне ответите, если мои мысли найдут понимание, и, возможно, вызовут возражения.

С искренним уважением

*Андрей Третьяков*

24.09.91

*Особое мнение*

### ПУТЧ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?

Говорят, в странах Запада существуют специальные службы по разрешению конфликтов в трудовых коллективах. Принцип действия прост: в коллектив, измученный склоками и интригами, вводится новый сотрудник, который активно включается во все дразги, доводя их до крайней степени. В конце концов раздражение людей выливается на этого сотрудника, и его при общем ликовании увольняют. Сотрудник уходит, унося солидный гононар, а коллектив остается дружным и сплоченным.

Не то ли происходит у нас? События последнего времени дают обильную почву для размышления. Что ж, попытаемся смоделировать ситуацию — естественно, очень упрощенно.

Раздражение, накопившееся в стране за годы советской власти, необходимо было снять. Каким образом? Очень просто. Надо поставить на руководящие посты будущих "козлов отпущения". Самые бездарных, самовлюбленных и безответственных. Чем еще объяснить странный выбор Горбачева? Ведь невооруженным глазом было

видно, что Павлов, Лукьянов, Пуго – самые неподходящие кандидатуры на соответствующие посты. Тем не менее их поставили, а дальше все пошло само собой. Идиотские постановления Кабинета Министров, обмен купюр и повышение цен, кровь мирных людей на гусеницах язовских танков – гнев народный обратился на нужных людей.

Теперь надо их убрать: появляется ГКЧП. Героическая оборона, всплеск национального самосознания, российский триколор – и Ельцин на коне. Заодно "засвечиваются" оппозиционеры. Операция по силам только очень мощной организации.

Блестяще!

Но радости почему-то мало. Очень хочется ошибиться, но, похоже, мы вновь оказались послушными марионетками в старом спектакле. Только персонажи теперь новые. Запрет инакомыслия, исходящий уже от горячо любимого Ельцина при всенародной поддержке, "охота на ведьм" и новый расцвет стукачества, захлестнувшего прессу и телевидение, – наглядное тому подтверждение. Все возвращается на круги своя. Возможно, недалеко уже показательные процессы и толпа под окнами с криками "Распни его!" и "Раздавить проклятую гадину!" Очень хочется ошибиться...

Очень жалко тех тебят, что погибли в Москве. Жалко всех, погибших в Звартноце, Тбилиси, Вильнюсе, Риге... Никакие победы не окупят горя их родных. Никакие реформы не смоют их крови со всех нас, потому что все мы в этом соучастники. Но эти люди умерли свободными, они никогда уже не будут рабами.

А мы?

*Андрей ТРЕТЬЯКОВ*

\* \* \*

**Глубокоуважаемый господин редактор,**

Может быть, Вы не откажетесь опубликовать эти замечания по поводу "Колонки редактора" в 66-м номере "Континента". Вызваны они тем, что, по-видимому, Вы слабо информированы об обстоятельствах, которым посвятили свою заметку. Во всяком случае именно так обстоит дело с Вашими утверждениями о настроениях грузинской интеллигенции.

Вам не известно, что основание общества "Сталин" вызвало в Грузии всеобщее возмущение. В частности, велась и увенчалась успехом кампания против регистрации этого общества в качестве партии, которая приняла бы участие в выборах депутатов Верховного Совета республики. Некоторые, вроде меня, предпочли бы, чтобы сталинисты проиграли выборы, но многие говорили: "А вдруг они соберут хотя бы несколько процентов голосов?! – Позор на весь мир!" Что касается возглавляющего общество "Сталин" действительного члена грузинской академии, то это не какой-нибудь властитель дум грузинской интеллигенции, какого может вообразить себе Ваш читатель, а генерал, книгу которого по истории военного искусства, кстати сказать, недавно сильно раскритиковали в одном из грузинских журналов.

Вот как обстоят дела с обществом "Сталин", отношение к кото-



рому в Грузии Вы описываете словами: "грузинской общественности хоть бы что, как будто так и надо".

Откуда эти упреки? От недобросовестного информатора или просто от пренебрежения республиканскими источниками информации? Ознакомившись с грузинскими газетами и журналами за последние годы, Вы бы обнаружили, что Сталина, которого у нас, по-Вашему, "не замай", очень даже замали и продолжают замаять, что о вине перед Грузией "не худших из грузинских большевиков" тоже подробно рассказывают (все цитаты здесь и ниже из Вашей "Колонки"). А если "тщательно стараются не замечать, что... "русской оккупацией" командовал Киквидзе", это потому, что погибший в 1919 году Киквидзе никак не мог в 1921 году командовать вторгшимися в Грузию армиями РСФСР (если мне не изменяет память, то командармом-11 был Геккерн – уроженец Тбилиси. Может быть, поэтому Вы спутали его с Киквидзе?). Вы сообщаете, что в Грузии сносят памятники Орджоникидзе, и одновременно утверждаете: якобы "не замечают" его роли в политическом руководстве "русской оккупацией". За что же, по-Вашему, сносят, если не замечают?!

Не помню, кто в Грузии подписывал гнусности против Сахарова и Солженицына, однако думаю, что это были люди, которым, хотя Вы их и именуете "опять же далеко не худшими", сейчас приходится открещиваться не только от этих подписей.

И наконец, "о малых народах республики – абхазах, осетинах, месхах и лаках", о которых, по Вашим словам, иные из грузинских мастеров культуры публикуют расистские в духе "Памяти" изыскания.

Даже не представляю, какое расистское изыскание в духе "Памяти" можно совершить относительно лаков. О всемирном лакском заговоре против человечества или, хотя бы, против грузинской нации никаких разговоров не слыхал. То, о чем мне известно, относится скорее к области уголовного права, чем национального (впрочем, и разговор о правах наций сам по себе расизмом не является). Речь идет о продажности недавних грузинских коммунистических хозяев села, благодаря которой лаки селились в Грузии за взятки там, где местным жителям отказывали в земельных участках. Отсюда и конфликты, отсюда и насилие.

Думаю, масштабы этих событий мельче, чем представляется Вам, но они трагичны и поэтому так режут слух шуточки о "местных кровопусканиях", которыми грузинские мастера культуры подкрепляют свои расистские изыскания.

Месхи – это грузины. В Грузии нет малого народа месхов, как в России – малого народа новгородцев. По-видимому, Вы имеете в виду турок-месхетинцев. Вторая половина этого наименования указывает на происхождение с территории Месхетии, а не на национальность. Отнюдь не являясь расистом, я счел бы очень важными сведения о национальном составе так называемых турок-месхетинцев и об их национальном самосознании. Изыскание такого рода сведений расизмом не является. С другой стороны, по-видимому, не только эти факторы являются определяющими в проблеме турков-месхетинцев. Зная о ферганских и последующих событиях, необходимо

усвоить, что нельзя бездумно селить сотни тысяч людей в среду, в которой им не ужиться. После трагедии, происшедшей с этим малым народом в единомысленном ему мусульманском окружении, как не опасаться худшего в Месхетии с ее христианским грузинско-армянским населением? Изыскания, стимулированные такими опасениями и стремлением разобраться в сути происшедшего, чтобы разумно прогнозировать будущее, естественны и необходимы.

Осетины и абхазы. Я согласен далеко не со всем, что пишут у нас о связанных с ними проблемах. Однако ничего расистского в духе "Памяти" опять-таки не припомню. Единственное известное мне исключение сотворено не мастером грузинской культуры. Это был призыв к сочувствию осетинам как к индоевропейскому народу, борющемуся с враждебным кавказским окружением – грузинами, ингушами и прочими. Нет проблемы вытеснения осетин или абхазов с их исконной территории, есть проблема вытеснения с его земли грузинского коренного населения. Однако эти конфликты по своей сути имеют не национальный, а политический характер. За СССР или против? – вот о чем противоборство.

Господин редактор! Приветствуя Вашу готовность принять на себя большую часть вины за преступления тоталитарной системы и сочувствуя Вашему желанию, чтобы собратья по несчастью с Вами эту вину разделили, я все-таки не могу отнестись полностью положительно к Вашим претензиям.

Во-первых, поскольку они основаны на плохом знании фактов, то заслуживают контрпретензию: хотите судить – сначала разберитесь.

Во-вторых, к кому они (Ваши претензии) обращены? Ведь мы уже не сплочены вокруг вождя и центральных комитетов. Если Вы не представляете всю русскую интеллигенцию, то почему же судите о всей грузинской интеллигенции (или о всей литовской) как об едином целом?

Наверное, все-таки, чтобы избежать крови, которой Вы не без основания опасаетесь, требуется не столько взаимопонимание людей, готовых разделить ответственность за прошлое, сколько взаимопонимание людей, чувствующих ответственность за будущее. Необходимым (хотя, к сожалению, отнюдь не достаточным) условием такого взаимопонимания является сознание необходимости основывать любые суждения на правильном представлении о настоящем.

*Ю.Мамаладзе*

12.7.91

МАМАЛАДЗЕ Юрий Георгиевич – родился в 1929 году, заведующий отделом Института физики Академии наук Грузии, профессор ТГУ.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

### *НЕ ПОМНЯЩАЯ ЗЛА: НОВАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОЗА.* М., Московский рабочий, 1990.

Десять писательниц предложили тексты, отлежавшие свое в столе, для сборника "Новая женская проза". Сделали они это не от хорошей жизни, не по убеждению, ибо есть что-то удручающее в объединении творческих людей по половому признаку – стихи Анны Ахматовой в собрании женской поэзии разве можно себе представить? – а просто из желания напечататься. Постеснялись прямо об этом сказать, придумали предисловие, в котором сказано: "Свое достоинство надо сохранять, хотя бы и через принадлежность к определенному полу (а может быть, прежде всего, именно через нее)". После таких слов воображение немедленно рисует возможных авторов сборника "Новая мужская проза", эдаких Ромео, пропахших потом и порохом, не позволяющих шутить ни себе, ни над собой, и жизнь представляет собой простой и ясной, как самовар...

Всякий сборник, составленный из произведений разных писателей, после прочтения мысленно для себя сокращаешь, двух-трех предпочитаешь остальным. Так и здесь: из "женской прозы" выбираешь, скажем, прозу, из обволакивающей тебя паутины чужих слов – своеобразие, вкус и мысль.

Пьесы Нины Садур уже несколько лет назад заинтересовали театральных актеров и режиссеров. Ее нездешние "чудные бабы" стали знаком сегодняшнего дня, которому абсурд привычен, в котором ложь с правдой, мираж с реальностью все тяжелей и тяжелей развести.

Помню, озадачила меня финальная ремарка "Панночки", оригинальной инсценировки гоголевского "Вия": "Один только Лик Младенца сияет почти нестерпимым радостным светом и возносится над обломками". Что это? Вера или отсутствие веры? Торжество победы над злом? Или, наоборот, насмешка, и свет этот холоден, раз Хому Брута не спас?

После появления сборника пьес Н.Садур, а теперь ее прозы, вопросы отпали сами собой. Прояснилась трезвость авторского взгляда: чем-то надо поступиться, нельзя надеяться, что мир спасется от дьявольщины, бесовщины без крови и потерь. "Хорошо доброге – она светлая, открытая, нечего ей бояться – в ней одна радость. А когда в страдании обращаются ко злу, кто знает, какие муки оно, пробужденное, выносит, бредя на поводу у воли и несправедливости" ("Ведьмины слезки").

Короткие рассказы Н.Садур – это сказки для взрослых. С точным метким словом и юмором. С ведьмами и колдовством. В них герои борются со злом, разоблачают всякого рода нечисть.

Рассказчица, придуманная автором, ведет за собой от одной истории к другой, увлечена всерьез подвернувшимися на пути чудесами. Она проста и естественна, не стесняется восторженно сообщать

о неожиданных догадках. Тут принципиальное отличие Н.Садур от авторов подростковой с ней вместе "чернухи", героиня которой, как правило, люди без энергии, с деформированным сознанием, воплощают собой обесмысленную застойную жизнь.

Забавно, но среди персонажей "чернухи" редко встречаются представители интеллигенции. Героиня повести Елены Тарасовой "Не помнящая зла" — исключение. Может быть, поэтому досталось ей от автора унижений за всех тех, мимо кого "чернуха" прошла. У "не помнящей зла" выпадают зубы, вылезают волосы, она абсолютно не способна кого бы то ни было любить. Она выписывает понравившиеся цитаты из десятков прочитанных книг просто так, не для чего, затем выбрасывает скомканные листы бумаги в урну и сама приговаривает себя к будущей бездеятельности: "Иначе уже не получится. Все останется на своих местах".

Писатель добавляет реальности — то, чего ей не достает, или разглядывает в ней нечто, незаслуженно забытое. И в том, и в другом случае он способен эту реальность охватить умом или попросту взглянуть на нее по-своему. Словосочетание "новая женская проза", хочешь — не хочешь, настраивает на несерьезное к себе отношение, оно обещает запах пустых прилавков и очередей. Кажется, что женщина притащит в литературу груз будничных проблем и занятий. Или, наоборот, из-за нежелания продлевать то, что в течение дня наскучило, предложит такое словесное плетение, в котором реальность будет присутствовать косвенно, обманчиво.

Большинство рассказов и повестей в сборнике напоминают дневники. Какая я? Что мне в жизни нужно? Какой хочу быть? — вот круг вопросов, кочующий от страницы к странице. Женское, или точнее, дамское свойство прозы — мы его находим и у мужчин — это попытка, стремление взглянуть со стороны на самое себя, как на нечто, с миром сравнимое по значению.

Повесть Натальи Корневской "С чужих слов" — вот авторский взгляд, направленный вовне. Повествование о привидении, появляющемся в небольшом городке, знакомит читателя прежде всего с людьми, способными вызывать к себе удивительные чувства.

Повесть хорошо и живо написана. "Склочная, веселая, перемазанная красками орда, вечно таскавшаяся за ним по кабакам, дружно именвала разьедавшую его душу страсть к разочарованию жаждой жизни", — интонация, ритм фразы уверенно ведут к точке, где только и открывается смысл, отчего эффект от продвижения по тексту усиливается.

Читая Н.Корневскую, приятно осознавать, что не все вышли из Гоголя и к началу двадцатого века окончательно превратились в федоров-сологубов, а что был еще в русской литературе писатель Антоний Погорельский, и у него племянник А.К.Толстой, были Пушкин, Чехов.

Почти исчезла, улетучилась из сегодняшней литературы реальная связь между людьми, как будто все разом перестали в нее верить. Как будто авторы перестали всерьез интересоваться человеческими отношениями, разучились воспринимать ближнего, общаться.

Рассказы Галины Володиной написаны, как сказано, "лет десять-

пятнадцать назад", то есть дольше прочих публикаций ждали своего часа. Стройностью, цельностью они завидно отличаются от многого в сборнике. В отличие же от авторов "чернухи" Г.Володина любит и чувствует своих героев, соперничает им.

"Ариша" — о старухе семидесяти лет, "которая командовать любит", о ее воле, которая непонятным образом подавляет большую семью.

"Всю жизнь испортил" — про скудный быт, про жизнь по внешним признакам убогую, а все же про любовь, необъяснимую сопротивляемость, неуязвимость чувства.

"Выборы" — о несостоявшемся бунте. Жильцы дома, еще до войны предназначенного к сносу, в знак протеста решают не идти на избирательный участок. Затем по самым разным причинам идут. Лень, привычная уверенность в бессмысленности любых усилий, страх и, наконец, память, внутренняя связь с местом, где прошла жизнь, где стоит дом.

А.П.Чехов поддерживал начинающую писательницу М.В.Киселеву в 1887 году: "краткость и мужская манера рассказа все окупает". Три новеллы Г.Володиной кратки, отчетливы. Персонажи ее надолго запоминаются.

Давно замечено, что в театре хорошо сыгранный персонаж не забывается тотчас после ухода актера за кулисы. Так и в прозе и в любом искусстве. Совсем не так в повести Валерии Нарбиковой "Ад как Да / аД как да", завершающей сборник. Персонажи двоятся, троятся, интрига движется, но мир не меняется, стоит на месте. От однообразных словесных игр, сознательно предложенных автором, читатель скоро начинает скучать.

Новая женская, как впрочем и старая мужская, проза оригинальностью привлекательна, особенностью взгляда, увидевшего, отразившего и преобразившего мир. Кто-то выберет иных авторов. Я предпочла троих: Н.Садур, Н.Корневскую и Г.Володину — тех, что учат уважению к непонятному, необъяснимому, восхищению непохожим.

*М.А.Бельская*

## **ИСТОРИЯ ЗА ОБЕДЕННЫМ СТОЛОМ**

На обложке книги\* — три милых женских лица, три поколения семьи Боннэр: бабушка, мать, дочь. Последняя фотография — женщины, лицо которой, многократно воспроизведенное на газетно-журнальных полосах, бесчисленно показанное по телевидению, станет известно всему миру; с ней будут позировать государственные деятели разных стран; лучшие журналисты будут считать за честь взять у нее интервью; фотокопии всех агентств будут фиксировать каждое ее движение. Но все это — и всемирная слава, и безмерные испытания — пока еще впереди. Перед нами — юное лицо, две косы, прямой испытующий взгляд: фото 37-го года, девушке на карточке — она выглядит взрослее и серьезнее своих лет — всего четырнадцать, все, как

\* Елена Б о н н э р. Дочки-матери, Нью-Йорк, Изд-во им.Чехова, 1991.

Начинается? Но многое в этой юной жизни уже кончилось – оборвалось детство, внезапно и страшно, обвалом, катастрофой – арестом отца, горем и неизвестностью. На последних страницах книги воспоминаний о детстве запечатлен ужас разрушения семьи, падения дома. Брат и сестра, ей – четырнадцать, ему нет десяти, с любимыми книжками в руках уходят из квартиры, в которой вчера был обыск, в которую больше никогда не вернуться. Последняя строчка: "Так мы и уйдем из отчего дома, потому что отчий дом кончился – он с "Квентином Дорвардом", а я с Маяковским".

Вряд ли нужно объяснять, почему в наше время так популярны стали мемуары, которые читаются сейчас едва ли не больше беллетристики. Нигде столько не делалось для того, чтобы выкорчевать память, как в нашей стране. Выдирали, выжигали, ничего не жалея, по черному, наглухо, с концами, казалось, навсегда...

В американских школах ученики второго-третьего классов получают задание – выспросить у родителей, из каких стран приехали их (пра-) дедушки-бабушки, на каком языке говорили в семье пятьдесят лет назад, проиллюстрировать сочинения семейными фотографиями – называется это "проследить свои корни". Рассказать сыну о нашей семье я кое-как сумела. Но до чего постыдно мало знала я сама о ней в свои семь-восемь лет! И не потому, что не хотела знать. Помню бесконечные свои вопросы над фотографиями в семейных альбомах: "А это кто?" – и в ответ – испуганное молчание или невнятно-поспешное: "Дядя Федя. Он умер". Тень таинственного "дяди Федя" витала над всем детством – чтобы потом оказаться известным эсером Федором Гернштейном, расстрелянным на Соловках (а ведь могли и фотографии даже не сохранить, отрезать отовсюду дядифедино лицо – и так бывало). Или – еще более загадочная история, бесплодно дразнящая детское воображение: неведомо откуда взявшаяся "тетя Дора", о которой никому нельзя говорить, которая появляется на два дня, проводит две ночи в недрах бездонной коммунальной квартиры, чтобы тут же исчезнуть навсегда – словно никогда и не бывала, и все хитро, исподволь затеваемые разговоры о ней моментально прерываются шиканьем. Только через годы становится известно, что то была какая-то "десятая вода на киселе", пробиравшаяся из дальней ссылки в близкую, на сто первый километр – в Москве ей даже переночевать было подсудно. И как же тут заниматься корнями? Далеко ли заведут нас поиски? Увы – и недалеко, и неглубоко.

А коли так – "надо ли вспоминать?" Этими словами, как ни странно, начинается "Время и место", посмертно изданный роман Юрия Трифонова, писателя, больше многих сделавшего для восстановления связи времен. "Надо ли вспоминать?" – этим вопросом задается герой романа, писатель Антипов, для которого – как и для автора – поворотным моментом в жизни стал арест отца. Впрочем, ответом на вопрос становится сам роман – результат запущенной на полный ход работы памяти.

Для Елены Боннэр вопроса – надо ли вспоминать? – не возникает: она изначально уверена в ответе. Истоком книги, стимулом для разматывания клубка воспоминаний становится смерть матери. Воз-

никает желание объясниться, разобраться – “вдруг оказалось, что не хватило прошедшей жизни”; начинаются поиски корней, построение родословной. “Кривое родословное дерево”, – шутит автор по поводу того, что получилось: ибо родственники, да и то не все, найдены с одной лишь, материнской, стороны. Но картина все равно, по нашим временам всеобщего беспамятства, внушительная. В этой семье хранили фотографии в альбомах, сберегали – и сберегли – память. Свидетельством тому – воспроизведенные в книге, на удивление четкие фотокарточки конца прошлого – начала нашего века: прадедушка, прабабушка, послесвадебная фотография деда и бабушки, дядя, тетки – музыканты, ученые, врачи, литераторы, инженеры, braveй николаевский солдат перед отправкой на фронт (1915 год), политкаторжане, меньшевики, эсеры, большевики... Обычная (чуть не написала “типичная”) большая трудовая еврейская интеллигентная семья. И – обычное же завершение судеб в тридцатые-сороковые-пятидесятые: погиб в лагере... умер в ссылке... расстрелян... уничтожена немцами... умерла в блокаду... погибла на фронте... Как тут не вспомнить пастернаковское: “История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом”.

Нельзя не подивиться цепкой памяти рассказчицы, которая пронесла через десятилетия – и какие десятилетия! – не просто события, но краски, запахи, словечки, все то, из чего складывается “шум времени”. Даже в описаниях блужданий маленькой “бродяжки” Люси по московским и ленинградским улицам ощущается атмосфера той поры. Чуткое ухо шестилетней девочки фиксирует появление новых слов: “ордер, который где-то давали”, “жилплощадь”, “прописка”... Автору удалось самое трудное: не заслонить тогдашний взгляд ребенка сегодняшним, взрослым, более трезвым, более знающим, но наверняка в чем-то и более тривиальным. А сколько в книге поразительных первооткрытий – “чистого поля” и городских улиц, себя самой и окружающих, – которые почти неизбежно сопутствуют всякому пробуждению души, но со временем забываются, затираются наслаивающимися впечатлениями. Здесь же явственно ошутимо – и передано читателю – счастье прогулок в глубоком снегу, таинственного чтения в сумерках на подоконнике в лесной школе, радость поездки через всю Москву на трамвае, идущем так неспешно, что можно рукой касаться плывущих мимо деревьев. Счастье первой дружбы – и горе первой утраты, гордость от первого преодоления собственного страха; и надо всем, и за всем – энергия удивительно подвижного, открытого и светлого восприятия жизни.

И полет первой любви: классическая история школьной дружбы, переросшей в детско-юношескую любовь. Первые цветы, первый поцелуй, стихи на московских бульварах, танцы под патефон, знакомый всякому москвичу каток “Динамо” (не случайно ведь Елене Боннэр посвящена одна из самых пронзительно-ностальгических песен Галича “Два двенадцать, сорок три. Это ты? Ровно в восемь приходи на каток...”). Юность, оборванная войной, гибелью любимого под селом со странным названием Мясной Бор, – сколько уже читали мы про этих “лобастых мальчиков невиданной революции”, которые “ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы”, – матери-

ал, казалось бы, отработан, знаком, зачитан до дыр, но рассказчица вносит в него собственные нотки. Взросление мальчика и девочки происходит посреди стремительно дичающего мира, который скрипит и рушится у них на глазах. Прежде чем стать солдатами самой страшной войны в истории человечества, Люся Боннэр и Сева Багрицкий становятся соседями по очередям тридцать седьмого года, в которых стояло полстраны. "Странными сиротами" назвал Илья Эренбург тех детей, кто в свои десять, или четырнадцать, или сколько там лет стали действующими лицами и жертвами народной трагедии. И "странными" они были потому, что теряли родителей в мирное время, не от болезней и не от старости и вовсе не потому, что судьба их была исключением из правил. "Мы всегда были "как все", – утверждает Елена Боннэр. – И если уж были "исключительными", то как раз до ареста и гибели наших, таких "идейных", таких "партийных", родителей".

Но все-таки главное в книге – это рассказ о семье, об отчем доме. Странный это был дом: шикарная, начальническая квартира в гостинице "Люкс", заселенной в начале тридцатых работниками Коминтерна, с казенными занавесками и мебелью, на которой поблескивали медные ромбики номеров, с "бюро пропусков" у входа – попробуй войди! Дом, бытие в котором определялось сознательным отказом – подкрепленным и собственным расположением, и государственной политикой – от всего "мещанского", от собственности, от быта. Дом, в котором неуклонно соблюдалась "генеральная линия партии" и даже дети чуть не с младенчества становились "партийными", вылавливая из разговоров взрослых отзвуки партийных ссор и дрызг. А взрослые, жившие в этом доме, правоверные коммунисты, истовые строители социализма, до предела захваченные своей работой, оставляли детей на попечение нянек, школ и пионерлагерей, успевая разве что заметить их – но редко когда разглядеть пристальней "в сплошной лихорадке буден": "У мамы всегда весной была посевная, а осенью – уборочная", – это не упрек и не ирония, просто констатация факта. Прелестен рассказ о том, как во время тяжелой болезни десятилетняя Люся приходит в себя в больнице и видит возле кровати осунувшуюся и побледневшую мать. "Ты не уйдешь?" – спрашивает девочка, и мать обещает не уходить. Но дочери этого мало, она просит у матери партбилет и, получив его, прячет, успокоенная, под подушку. Надуманный жест из соцреалистического романа? Парафраза "Смерти пионерки" Багрицкого? Нет, голая и практическая правда жизни: Руть Боннэр, работник МК, должна была регистрировать делегатов начинавшегося в те дни XVII съезда – вошедшего в историю страны под горделивым названием съезда победителей и прославившегося тем, что едва ли не 90 процентов его делегатов не дожили до следующего съезда. Без партийного билета она на съезд – к месту своей работы – пройти не могла, и дочь об этом знала.

Вообще история и будничная жизнь не просто соседствуют в книге Елены Боннэр, но сопрягаются с удивительной непринужденностью, границы между ними размыты, и история легко вписывается в будни, а будни становятся историей. Да и как может быть иначе, если в дом секретаря исполкома Коминтерна Алиханова то и дело забегали по-соседски вожди будущей мировой революции Тито и



Тольятти, а девочка тайком ревновала отца к самой Пассионарии, если люксовские мальчишки выклянчивали марки у соседней-индонезийцев, китайцев, японцев, а спустившись этажом ниже, в "красный уголок", можно было подглядеть и подслушать, как проходит партийная чистка – как взрослые дяди и тети, подобно нерадивым школьникам, оправдываются на сцене перед полным залом слушателей и судей. Жена крупнейшего физика-атомщика Энрико Ферми назвала свою книгу воспоминаний о нем "Атомы у нас дома". Елена Боннэр могла бы назвать свою – "История за обеденным столом".

За этим обеденным столом сидели в первые ночи декабря 34-го ее родители и их друзья, оглушенные известием об убийстве Кирова. Страницы об этом – из самых ярких в книге: здесь все увидено как бы в двойном ракурсе – из прошлого в будущее и из сегодня, когда все известно, в прошлое, и наложением этих двух перспектив создается на редкость выразительная картина: "Стоп-кадрами: бледные лица, запавшие глаза, чья-то рука, стряхивающая пепел с папиросы. И лампа над столом то ли в дыму, то ли в тумане. Что провиделось им? верным ленинцам, сталинцам, кировцам?.. Неужели они ничего не понимали, не предчувствовали? Из тех, кто в кировские страдные ночи был у нас дома, погибли все мужчины!"

"Люкс", призванный быть полигоном мировой революции, превращается в опытное поле большого террора, где "каждую ночь шуровали группы военных, проходящих арестовывать, и были слышны их громкие хозяйские шаги. На лицах всех живущих в доме был отсвет обреченности". Девочка подслушивает разговор родителей, только что узнавших об очередном аресте – близкого друга: "Нас же с тобой не арестовывают", – уверяет отец, а в ответ – сквозь рыдание – доносится: "Ну, мы еще дождемся! Уже скоро!"

Тринадцатилетние Люся Боннэр и Сева Багрицкий придумывают себе странную игру: когда-то Лидия Густавовна Суок-Багрицкая сообщила сыну об аресте близкого друга словами "между прочим, арестован такой-то". Дети взяли эту формулу на вооружение, чуть изменив ее: "Севка чуть ли не каждый день сообщал мне новости про соседей и знакомых. Между прочими папа Юрки Селивановского. Между прочими папа Софы Беспаловой. Между прочими отчим Лены Берзинь... Я ему в тон отвечала. Между прочими мама Елки. Между прочими папа Нади Суворовой. Между прочими папа Маргит Краевской... Было похоже на игру. И было так страшно".

Проходя по коридору, девочка каждый день видит новые сургучные печати на дверях квартир – отметины дьявола – и только однажды посреди ночи раздаются выстрелы: это немецкий коммунист, которого пришли арестовывать, стрелял в энкаведешников и застрелился сам. "Для меня он стал героем, – замечает автор. – И был какой-то разрыв, какая-то пропасть в моем сознании. Я никак не могла соединить мысль о том, что он герой, что хорошо бы все начали стрелять, когда приходят арестовывать, с уверенностью в том, что наша страна самая лучшая в мире и что всему миру необходима м и р о в а я революция. С уверенностью, что "мы наш, мы лучший мир построим".

Впрочем, мировоззренческий разрыв тоже в немалой степени определял жизнь этой семьи – демаркационная линия проходила все

по тому же обеденному столу, и девочка с самого детства оказалась как бы на скрещении двух полярно противоположных подходов: "партийное влияние" матери, "женработника, партработника, анти-мешанки и максималистки", уравновешивалось влиянием бабушки, Батани, которая становится в книге не просто олицетворением традиций, прошлого устойчивого уклада жизни, в котором, как сказано у Пастернака, "принято было доверяться голосу разума... то, что подсказывала совесть, считали естественным и нужным", но еще и живым воплощением долга, ответственности, активно действующей, не сюсюкающей, не сусальной, доброты. Цитируя строчки Владимира Корнилова: "И казалось, что в наши годы вовсе не было матерей. Были бабушки", Елена Боннэр подтверждает: "Были бабушки!". От бабушки – первые книги, Жуковский и Гоголь, первые уроки эстетики – в опере и домах бабушкиных подруг, ставших "бывшими" людьми, первые уроки этики и нравственности – когда в сытом, привилегированном доме партработников, снабжаемом пайками, в голодные годы постоянно подкармливаются "лишенки", "бывшие", да и просто немущие родственники и знакомые. От бабушки, от ее постоянного противостояния одичанию жизни – первое смутное ощущение того, что мир, может быть, устроен вовсе не так правильно и четко, как кажется из газет, лозунгов и школьных собраний и, быть может, первый опыт инакомыслия. Вот подслушанный в конце двадцатых разговор: Батаня просит дочь помочь дальней родственнице Нюточке, которая хочет эмигрировать. Руфь Боннэр сопротивляется: по ее мнению, Нюточке совершенно нечего делать в эмиграции. Батаня парирует: "А что она будет делать здесь? Ждать, когда вы ее прикончите?" – "Ну, за что ее, что ты, мама", – отбивалась моя мама, а Батаня ей с необычной суровостью ответила: "Уж вы найдете, за что, обязательно найдете, не сейчас, так потом, но найдете обязательно".

"Все мы родом из детства", – это уже изрядно затертое клише то и дело всплывает в памяти, когда читаешь "Дочки-матери". Противостояние – вот, пожалуй, ключевое слово для развития характера автора книги. Сначала просто детское сопротивление тому, что противоречит собственным представлениям о справедливости: "коллегией адвокатов" прозвала Люсю Боннэр учительница, к которой девочка без конца прибегала защищать обиженных. Потом – серьезный разлад с матерью, застигнутой девочку за чтением крамольной книги – "Марии Магдалины" Данилевского – и потребовавшей выдать имя подружки, у которой взята книга. И, наконец, первое – лицом к лицу – столкновение с государством, когда в конце 37-го, после ареста родителей, четырнадцатилетнюю Люсю трижды по ночам возят на допросы в "Большой дом" – и она упорно молчит, не отвечая на вопросы следователя. Сколько потом будет еще таких противостояний – не счесть. Но начало осталось там, в тридцатых.

Марсель Пруст сравнивал книгу с кладбищем, на многих плитах которого уже нельзя прочесть полустершиеся имена. Елена Боннэр своей горькой, грустной, трогательной и вместе с тем удивительно светлой книгой помогает прочитать – или по-новому осознать – многие и многие полустершиеся имена, спасая их от забвения.

*Елена Гессен*

### ОГЛЯНИСЬ НА СВОЮ СУДЬБУ

В наше время стало модным писать мемуары. Их пишут все: политические деятели и артисты, телекомментаторы и спортсмены, предприниматели и налетчики, модельеры и, мягко говоря, публичные дамы. Все они наперебой спешат вывернуться перед читающей публикой наизнанку, поделиться с нею не только фактами собственной биографии, но и откровенно сообщить ей о своих общественных и половых наклонностях. Им, видимо, кажется, что без сеанса этого их нравственного стриптиза человечество просто осиротеет.

Но вот передо мной небольшая по объему книжица, даже скорее брошюра, состоящая всего лишь из четырех газетных интервью, сопровождаемых вместо комментария документальными текстами.

Книжка выпущена Тверским Научно-промышленным обществом в этом году, тиражом всего в 5000 экземпляров, то есть даже в западном понятии в количестве микроскопическом.

В ней, этой книжице, вы не найдете никаких претензий на кокетливую исповедь. Это обычный спонтанный разговор двух друзей детства, жизненные пути которых с наступлением зрелости биографически разошлись. Один (принадлежащий, кстати сказать, к самому привилегированному слою советского общества: отец – первый секретарь обкома, дядя – секретарь ЦК КПСС) – уехал в столицу, сделав там почти головокружительную научную и политическую карьеру, другой – выходец, так сказать, из среднестатистического ряда, остался дома, здесь же получил образование и осел в областной газете.

Разговаривают двое: теперь бывший член Президентского совета, бывший член ЦК КПСС, бывший член партии, академик Станислав Шаталин и тверской журналист – Евгений Борисов.

Разговоры эти разделены во времени последних пяти-шести лет советской истории. Беседуют друзья обо всем понемногу, в основном на злобу дня без какой-либо заранее обдуманной системы или поставленной цели. Но из самой внутренней логики собеседников, из приведенных ими фактов и свидетельств, из проговорок и оговорок той и другой стороны поневоле складывается поразительно объемная мозаика нашей, не столь, к сожалению, прекрасной, сколь по-настоящему яростной эпохи, пронизанной лейтмотивом одной, мучительно переосознающей себя судьбы, тем более мучительно, что это просвет-

ляющее преобразование происходит с нею на ее жизненном закате. Для человека моего поколения это духовный и душевный подвиг.

При всей полярной противоположности наших со Станиславом Шаталиным биографий, я, слушая его, словно смотрюсь в зеркало: так много между нами выявляется общего не только в мироощущении, но даже во вкусах и пристрастиях. К примеру, в молодости мне тоже довелось почти профессионально играть в футбол, быть заядлым болельщиком и я до сих пор остаюсь поклонником "Спартака".

Ощущение это по мере чтения в людях моего возраста возникает наверное оттого, что история Человека и Гражданина, Ученого и Гуманиста Станислава Шаталина является, в чем я убежден, историей целого поколения, к которому принадлежу и я. Поколения последних иллюзий и первого прозрения.

Это поколение искренне заблуждалось, но так же искренне теперь расстается с этими заблуждениями. Оттого так категорична, так безоглядна переоценка его лучших представителей истории своей страны последних семидесяти с лишним лет и своего собственного прошлого.

Они не прощают этого прошлого не столько стране, сколько прежде всего самим себе.

В заключение книжки приведены две газетные информации:

"Комментируя политическое заявление ЦК КПСС на пресс-конференции Высшего консультативного координационного совета при Председателе Верховного Совета СССР, состоявшейся 6 февраля 1991 года, известный публицист, народный депутат СССР Юрий Карякин, в частности, сказал: "...Если пленум отрывается от одного из умнейших, честнейших, совестливейших людей, таких, как Шаталин, этот пленум сам подписывает себе интеллектуальный, нравственный смертный приговор. Таким человеком гордиться бы должны. В его письмах Президенту звучали ноты подлинно толстовского правдолюбия и беспощадности к себе. Он просит у народа прощения за то, что не до конца был последователен в защите той правды, которая представляется ему истинной. Но его исключают."

"Как нам стало известно, по возвращении из зарубежной поездки член ЦК КПСС, академик Станислав Шаталин направил в первичную парторганизацию заявление о своем выходе из КПСС. Таким образом, решение январского объединенного Пленума ЦК и ЦКК КПСС рассмотреть вопрос о действиях т.Шаталина С.С. стало беспредметным."

К этому мне добавить нечего.

*Владимир Максимов*

### ”ВЕСТНИК” НА РОДИНЕ

Вот уже около двух лет ”Вестник” русского христианского движения — старейшего ”толстого” журнала отечественной эмиграции свободно распространяется на родине. И, судя по читательским откликам, находит там самый сочувственный прием. Но что важнее — прежде всего среди молодежи, что свидетельствует о ее все растущем интересе к вопросам истории и религии.

Уверены, очередной сто шестьдесят первый номер журнала не обманет ожиданий своего читателя.

В нем он найдет и очерк по проблемам христианской социологии одного из самых выдающихся религиозных русских мыслителей протоиерея Сергия Булгакова, и материалы к 100-летию незабываемой мученицы страдного служения христианской Церкви матери Марии, и Пятое дополнение к знаменитому роману ”Бодался теленок с дубом” живого классика нашей литературы Александра Солженицына, и многое, многое другое, не менее значительное и интересное.

Мы хотели бы обратить особое внимание читателя на ”Памятную записку митрополита Сергия о нуждах Православной Патриаршей Церкви”, в которой будущий Патриарх говорит о трагической необходимости вынужденного компромисса с атеистическим государством. В заключение номера опубликовано Обращение Патриарха Московского и Всея Руси Алексия в связи с открытием в Санкт-Петербурге второй выставки-продажи издательства ИМКА-ПРЕСС в особняке на Мойке, в котором умер Пушкин.

Позволим себе привести цитату, свидетельствующую об уровне и качестве этой акции:

”Председатель оргкомитета по ее устройству патриарх Алексей прислал из Москвы делегацию во главе с митрополитом Ростовским Владимиром. Открытие прошло с особой торжественностью: после краткого молебна, на котором было прочитано приветствие Патриарха, с речами выступали Д.С.Лихачев, мэр Санкт-Петербурга А.Собчак, директор Пушкинского музея С.М.Некрасов, заместительница директора Библиотеки иностранной литературы Ек.Гениева, представители французского посольства Клод Круай и Даниель Бон...

Одновременно с выставкой открылись постоянные читальные залы, украшенные большими портретами деятелей русского религиозного возрождения. Как и в Москву, в Ленинград грузовик из Парижа привез для распродажи в рублях 40000 книг, которые в первую очередь предназначались библиотекам, в частности, приходским.”

Что ж, можем только поздравить ”Вестник” и его редакцию со столь триумфальным возвращением на родную землю!

М.М.

## НАША 'АНКЕТА'

---

### 'ПОЭТ ЕСТЬ ПЕРЕГНОЙ'

Беседу с поэтом Львом Посевым  
ведет журналист Виталий Амурский

– Лев, в предисловии к своему первому поэтическому сборнику "Чудесный десант", вышедшему в издательстве "Эрмитаж" (США) в 1985 году, вы отмечаете, что начали писать стихи довольно поздно, в возрасте 37 лет. Цифра "37" роковая в жизни многих русских поэтов – чаще всего, как известно, она знаменовала конец пути мастера. В вашем случае все произошло наоборот...

– Я бы не придавал слишком большого значения мистике чисел, в частности, мистике возраста. В моем случае здесь все логично. Действительно, в этом возрасте я достиг того состояния, которое на языке популярной психологии сейчас называется "кризисом середины жизни", как говорят психоаналитики, *mid life crisis* – не знаю, как точно сказать по-русски. В общем, это состояние, через которое проходит каждый человек в тридцать два, тридцать семь, тридцать восемь лет... когда пройдена уже какая-то дистанция, ты оказываешься у какого-то финиша, нужно что-то переоценить и начинать сначала. Вот весь этот путь я прошел нормальным образом, не будучи стихотворцем... А что действительно совпало (хотя кто знает, кто управляет нашей судьбой?) – тут было что-то большее, чем простое совпадение: я основательно болел, в возрасте 33-х лет у меня был инфаркт, потом несколько лет выкарабкивался из этого. Это способствовало началу нового пути. Также в этот период жизни я по разным причинам потерял целый ряд близких друзей, присутствие которых для меня было необыкновенно важно. Например, уехал Бродский, вынужден был уехать. С кем-то я раздружился и так далее. И вот в этом неожиданно разряженном воздухе возникли стихи. Воспринимал я их серьезнее, чем сейчас, – как какое-то посланное мне спасительное средство.

– Тем не менее, кажется, вы все же находились в окружении интересных людей, людей высокой культуры...

– Было бы точнее считать культурную среду не определенным кругом знакомств, а именно кругом культурной информации, в которую человек погружен. В этом смысле в культурной среде человек может жить где-нибудь посреди тайги или джунглей, независимо от его личных знакомств, связей, семейного происхождения и т.д., потому что средства коммуникации в таком случае – это книги, музыка

и т.д. – отнюдь не обязательно люди. Хотя и люди тоже могут быть. Почему я сейчас ударился в это теоретизирование? Потому что одно не заменяет другого. Круг человеческих отношений – это нечто отдельное. Совершенно верно, среди моих друзей были люди высокой культуры в самом прямом смысле слова, люди высокообразованные и творчески активные в разных областях – таким кругом я был щедро наделен по обстоятельствам биографии с детства. Но в первую очередь, что важно было для меня, – поэзия, стихотворчество. Не побоюсь сказать, что именно это всегда составляло главное содержание моей жизни. Для меня было важно жить не просто в культурной среде, а в среде, где рождаются новые русские стихи, новая русская поэзия. В кризисный период, о котором я говорю, именно это мое ближайшее окружение постепенно рассеялось. Я назвал Бродского, но было еще несколько человек, которых я считаю уникально одаренными, уникальными поэтами моего поколения. Не хочу составлять никаких иерархий – в них я не верю, – назову, например, Михаила Еремина, Евгения Рейна, Владимира Уфлянда, моего ближайшего друга юности Сергея Кулле, ныне покойного. Это была плеяда людей необыкновенного творческого потенциала, и так получилось, что, за исключением только Уфлянда, никого из них поблизости не оказалось. То есть я продолжал знакомиться с их вещами, но это было уже совсем не то, что дает ежедневное общение с поэтами, бесконечные разговоры, когда ты как бы изнутри понимаешь, из какого варева рождаются поэтические тексты. Все вдруг испарилось, пропало и привело к ощущению страшного вакуума, который мне нужно было чем-то заполнить. То, что он начал заполняться моими собственными стихами, не было сознательным решением.

*– Лев Лосев – псевдоним, выбранный вами как бы по необходимости. Урожденный Лифшиц, вы услышали однажды от отца-писателя: "Двум Лифшицам нет места в одной детской литературе – бери псевдоним". Видимо, сейчас сохранять его нет большой необходимости. Однако, несмотря на то, что вы давно оставили детскую литературу, давно простились с отцом, – вы все-таки не вернулись к своей настоящей фамилии. Это объясняется памятью о нем или, может быть, привычкой? Внутренне вас не заботит наличие в себе двойного "я"?"*

– Совсем нет. Не знаю, почему – это имя приросло ко мне. Если на улице кто-нибудь крикнет: "Лифшиц!" – я вряд ли обернусь. Но если крикнут: "Лосев!" – конечно... Если даже будут иметь в виду покойного Алексея Федоровича Лосева, хотя, кроме этого знаменитого философа, были еще два больших негодника по фамилии Лосев. Один сидел на московском телевидении, а другой на архивах Булгакова.

Хотя у меня в Советском Союзе в паспорте оставалось Лифшиц, я привык к тому, что я – Лосев. Для себя я объясняю это тем, что не

выдумывал этот псевдоним, его мне дал отец. Мы получаем от отца имя, не спрашивая... вот в чем дело, Нет, двойственности "я" у меня нет. Правда, для всякого человека еврейского происхождения, пишущего под русским псевдонимом, всегда есть щекотливый вопрос: почему ты прячешь свое еврейское происхождение? Но в самих моих текстах широко обсуждается эта сторона моей личности. Так что, видимо, гипотетическое обвинение отпадает.

– *Читая ваши стихи, нельзя не заметить, что большую роль в них играют – как бы сказать точнее? – предметы, приметы очень конкретного мира. С особым любованием вы нередко описываете, допустим, луковицу, кусок хлеба, свечу и т.п. Материален, как краска на холсте, свет, который падает на объекты вашего внимания. Откуда такое влечение к формам осязаемым? Используя старый добрый термин, – живописности?*

– Может быть, оттого, что из всех искусств я больше всего люблю живопись. Я не могу себя назвать большим знатоком живописи, но ничто меня так не завораживает, как работа живописцев – старых и новых. Из всех моих жизненных дружб одна из самых драгоценных для меня – дружба с Олегом Целковым. Это, видимо, часть ответа. Другая... это трудно сказать, потому что говорить о собственных сочинениях в смысле их истоков всегда опасно... Но так или иначе, наверное, я воспитан в основном петербургской литературной школой, акмеистической школой. Само по себе это слово не очень удачно, потому что акмеизм – понятие крайне временное. Название "акмеисты" закрепилось за Ахматовой, Мандельштамом, Георгием Ивановым, которые как поэты могут быть с таким же успехом зачислены в одну школу с Пушкиным, Фетом, Анненским, Кузминым. То есть петербургская литературная традиция не оставалась одной и той же, развивалась, но эта традиция, которая по возможности чурается прямого философствования как такового в стихах, которая несколько ограничивает прямые выражения эмоциональности. Для меня это почти вопрос хорошего тона.

– *А если говорить о влиянии на ваше творчество обэриутов, Заболоцкого периода "Столбцов"?*

– Насчет влияния я не знаю. Конечно, мне больше всего хотелось бы сказать, что никаких влияний на мою поэзию не существует. Но это трудно оценить, потому что, если говорить о писании стихов как о работе, то именно в ее разгар ты сам придирчиво следишь за тем, чтобы не оказалось вдруг в твоих строках чужого слова, чужой образности, чужой интонации. Все же, вероятно, влияние Заболоцкого и обэриутов было огромным. Не знаю – на стихи ли мои непосредственно или просто на мое формирование. Был период, когда я просто неустанно ими занимался, раскапывал тексты, переписывал, распространял, и они как-то вошли в мою кровь. Это был довольно ранний период, где-то в середине 50-х годов. Думаю, я был одним из пер-



вых в нашем поколении, кто заново открыл Заболоцкого и обэриутов. Через десять лет то ли я от них ушел, то ли они меня покинули. Я не могу сказать, что они мне стали неинтересны – и сейчас есть стихи Заболоцкого, которые меня бесконечно трогают, которые неисчерпаемы по смыслу, с моей точки зрения, и – если не целые вещи, то какие-то куски у Введенского, и совсем отдельные строки у Хармса тоже... Но все-таки их поэтический мир не может сравниться с поэтическим миром Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой, Бродского, потому даже Хармс и Введенский были люди гениально ограниченные. Так что сейчас говорить о каком-то ученичестве у них мне не хотелось бы.

*– Вы сказали о том, что занимались их текстами. Действительно, Лев Лосев – это еще и филолог. Эту сторону вашего творчества нельзя обойти. Интересно, не мешает ли вам научный подход к литературе, к поэзии в частности, быть раскрепощенным в собственном стихосложении?*

– Как принято у нас, американских преподавателей, говорить в таких случаях: "Это очень интересный вопрос". Действительно, он меня интересует больше всех остальных. Начать надо с того, что не существует разграничения между филологией и поэзией. По сути дела – это одно и то же. С моей точки зрения, все наши подлинные поэты были в той или иной степени филологами, если угодно – литературоведами, лингвистами, критиками. Пушкин с его замечательными статьями о литературе, не только о текущей, но и об истории литературы, проникновенно высказывался о языке. Профессиональными филологами были Блок, Белый, Вячеслав Иванов – по сути дела все крупнейшие символисты. Серьезное филологическое образование, пополнявшееся, продолжавшееся всю жизнь, имели Мандельштам и Ахматова; мы можем говорить как о серьезных филологах даже о таких автодидактах, как Цветаева или Бродский. В чем же все-таки разница: почему в одних случаях пишут "литературоведческое исследование" (то есть работа с архивными материалами, как в случае Ахматовой, или анализ текста Данте, как у Мандельштама), а в других случаях указывают – "стихотворение"? Я утверждаю, что и в первом и во втором варианте первоначальный импульс один и тот же – выразить при помощи слов нечто новое, какое-то чувство, сантимаент, знание, информацию – то, что прежде словами этого языка не выражалось. А дальше интуиция подсказывала наиболее эффективный способ этого выражения. В одних случаях это новое можно сказать на языке рациональном, тогда пишется "филологическая статья" или "эссе". В других случаях само это новое не находит рационального выражения, и тогда нужно использовать слова, как писал в "Разговоре о Данте" Мандельштам, не в их непосредственно словарных значениях, а опосредствованно. Если пользоваться терминологией Выготского, с л о в о б р а з – это и есть поэзия.

– В одном из ваших стихотворений есть фраза: "Поэт есть перегнутой..." Не могли бы вы сказать о том, как возникла такая формулировка, такой образ, что за этим стоит?

С тех пор, как мы поселились в Новой Англии и моя жена стала страстно заниматься огородничеством, я, так сказать, влюбился в компост, в перегной. Руки у меня как-то не лежат заниматься этими делами, но очень люблю наблюдать вегетацию у нас во дворе. Особенно мистическое впечатление на меня производит то, что происходит с перегноем – как из дряни, мусора, отбросов на глазах возникает абсолютно чистая, как пыльца цветов, черная субстанция, дающая новую жизнь. Это, пожалуй, один из самых метафизических процессов, которые нам дано наблюдать воочию. Поэтому метафора "поэт – перегной" (где-то у меня есть: "перегной душ и книг", т.е. культура) – для меня самая высокая метафора любого существования, любовью, в том числе творческой, жизни.

– Если позволите, я вернусь сейчас к теме "двойственности", которую затронул в вопросе о соотношении вашей фамилии и псевдонима. Правда, в другом аспекте. Цитирую ваши стихи: "Я лягу, глаз расфокусирую. Звезду в окошке раздвою, и вдруг увижу местность сырую, сырую родину свою..." Проблема, так сказать, двойного видения мира кажется мне весьма важной для понимания вашего творчества.

– Ну, если упрощать, то это стихотворение как раз о том, что видение должно быть двойным. Кстати, по-моему, никто из читателей и критиков не обращал внимания на то, что это стихотворение рождественское. А может быть, обращали, но не говорили. В момент Рождества Христова, как известно, произошло редкое совмещение двух планет – Сатурна и Юпитера, которые могли выглядеть с Земли как одна новая звезда. Это в общем-то одно из атеистических объяснений евангельских явлений. Но в своем стихотворении, где речь идет, как я отметил, о двойном видении, я хотел в стиле журнала "Наука и жизнь" дать евангельское восприятие бесконечно повторяющегося Рождества. Драматическое и лирическое (важнее лирическое) в поэзии создается в присутствии двух полюсов. Подчас стихи, написанные очень культурными людьми, нестерпимо монотонны. Взять к примеру замечательного филолога Аверинцева. Он недавно стал публиковать свои стихи. Стихи недурные, очень точно стилизующие какие-то жанры, с выбранными правильно словами. В стихах масса вкуса, культуры и даже искренности, но у них один недостаток – они скучные. Почему? Там нет второго стилистического полюса. Я не собираюсь давать Аверинцеву каких-либо советов, это было бы совершенно неуместно, – но если бы он, как мне представляется, в какой-то изящный плач (не помню, о чем у него там рыдание: о рабе Божьем Алексее?..) вдруг вставил реалию из пошлой советской обыденщины, то тогда, возможно, могло бы что-то возникнуть... Тогда бы появ-

вился лиризм. А вот другая крайность. Была такая "барачная поэзия", один из лучших наших поэтов Сапгир имел к ней какое-то отношение, Холин... Вот у Холина, человека талантливого, имеющего прекрасные вещи, – более или менее зарифмованная регистрация пошлости, скуки, грязи, обыденной жизни. Это опять лишено энергии лирической. Своего рода астigmatизм необходим поэту.

– *Сейчас, в так называемые перестроечные времена, многие из тех питерских поэтов, которые стремились сохранить и продолжить традиции русского "Серебряного века", традиции другие – я имею в виду в первую очередь тех, с которыми вы ощущали глубокую духовную связь, – из полулегального положения перешли в положение вполне комфортабельное. То есть в данном случае речь идет о возможности публиковаться, выступать на родине, за границей. Произошел своего рода процесс слияния питерской литературы с литературой русской и мировой в широком смысле. Не думаете ли вы, что таким образом круг питерской литературы 60-х – начала 70-х годов как бы замкнулся, завершился?*

– Я не думаю, что это вчерашний день, закрытая страница. Если говорить о публикации стихов, написанных двадцать – двадцать пять лет назад, то это вполне полезное культурное дело. Но, знаете, это ведь ничего не меняет. Не спасает. Не отменяет трагедии всего поколения, потому что жизнь, молодость этих людей уничтожена, унижена и никакими поздними признаниями, публикациями ее не восстановить.

– *Ваше отношение к переменам в Советском Союзе, в современной Европе?*

– Как и все, я с большим интересом слежу за событиями и, как все, не представляю, к чему все это приведет. Бродский, допустим, считает, что единственная историческая проблема человечества – это перенаселенность. В широком смысле он, видимо, абсолютно прав. При таком подходе к вещам все прогнозы могут быть только самые пессимистические – отдельные политические перемены в разных частях земного шара по существу ничего не меняют. Но я бы хотел несколько более оптимистически на это ответить. Мне кажется, здесь есть движение в сторону необыкновенно милой и дорогой мне политической утопии. Еще в студенческие годы с моим другом Сергеем Кулле, о котором я уже говорил, мы мечтали (опять-таки в чисто утопических терминах) о том, что вся Европа распадется на части: Германия опять будет состоять из множества княжеств, Франция – из Прованса, Бургундии, Лотарингии... Россия – из княжеств Московского, Смоленского, ханства Казанского и т.д. И, как ни странно, появился исторический шанс для осуществления этого утопического мечтания.

*Сентябрь 1990 г. – июль 1991 г.*

***СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ***



ПРАВО БЫТЬ УСЛЫШАНЫМ...\*

Совершенно не доказано, что справедливое возмездие существует. Если относительно добродетели Б.Спиноза, кажется, замечательно вышел из положения, провозгласив, что она содержит свою награду в себе самой, то относительно порока подобное же предположение могло бы многих смутить. Т.е. с одной стороны, как-то неубедительно выглядит мысль, что порочных людей мучит, или хотя бы смущает, сознание собственных грехов, а с другой стороны, мы живем в такое время, когда деление людей на праведников и грешников кажется уж очень неадекватным. Речь, по-видимому, может идти только о мерах и степенях порочности.

А где же тогда искать свидетельство мук совести, самонаказания греха?

В литературе, где же еще. Каждый день включаются все новые и новые участники в бесконечную коллективную исповедь, которой в сущности и является русскоязычная пресса на Западе, и скоро, кажется, некому уже будет ее читать... Мы, однако, видим свою задачу именно в том, чтобы она существовала. Чтобы историческое свидетельство существования нашего поколения дошло во всей его полноте, без изъятий.

В № 46 нами были опубликованы воспоминания друзей о драматических событиях, сопровождавших знаменитый процесс Синявского и Даниэля, на котором двадцать лет назад судили двух писателей за их книги, опубликованные за границей под псевдонимами. Однако, правильно было бы назвать нас и весь круг людей, о которых шла речь, друзьями Синявского, Даниэля и Хмельницкого. Ибо поэт С.Хмельницкий вместе с А.Синявским и Ю.Даниэлем был участником того узкого кружка, из которого изошла эта подпольная литература, а повесть Даниэля (Н.Аржака) "Искушение" целиком посвя-

---

\* Перепечатывается из журнала "'22" (Израиль) с любезного разрешения автора.

щена ему. На процессе Синявского-Даниэля Сергей Хмельницкий проходил свидетелем, но протокольный язык "Белой Книги" совершенно не отражает того действительного значения, которое придавалось его свидетельству обществом и, возможно, КГБ.

Дело в том, что широко известному, благодаря западной прессе, процессу Синявского и Даниэля, организованному властями, предшествовал общественный, так сказать, – домашний процесс Хмельницкого, организованный его собственным дружеским кругом и известный далеко не так широко. Этот круг подверг С.Хмельницкого остракизму, оказавшемуся, однако, не менее эффективным, чем возможное осуждение властей, и соперничавшему в сознании современников с репрессиями КГБ. Срок приговора, к тому же, оказался более длительным, чем сроки, которыми располагала Советская власть. Это произошло в мае 1964 г. И сегодня еще нельзя сказать, что эта история кончилась.

Прежде, чем я попробую сказать что-либо о существовании дела, я изложу события в той их последовательности, как они представлялись в Москве 60-х годов.

...Гости съезжались на дачу. Поздоровавшись с Еленой Михайловной и скинув шубы, проходили к столу, где янтарного цвета чай, заваренный в лучшей манере, разлитый в тонкие стаканы с подстаканниками, напоминал о старинном московском гостеприимстве, дореволюционной интеллигентности и сегодняшнем неустройстве. Впрочем, к чаю были и коржики, скромные, но изысканные.

Гость, ворвавшийся позже других, с мороза раскрасневшись, не мог сдерживать возбуждения. Горопливо выкрикнув: "Что я сейчас слышал! Что слышал..." – и обеспечив себе таким образом всеобщее внимание, он жадно уткнулся в горячий чай. Переведя дыхание, сообщил: "Только что... По автомобильному приемнику... Радио "Свобода"... Потрясающая повесть... "День открытых убийств"... Какой-то Николай Аржак... Невероятно... Невобразимо талантливо... Вся наша жизнь..."

Увлечены были все. Но с одним гостем определенно творилось что-то неладное. Сергей Хмельницкий краснел, бледнел, задыхался и, наконец, вскочил и заорал: "Да ведь это Юлька! Я – я сам – подарил ему этот сюжет. Больше никто и не знал. Больше никто и не мог. Больше некому. Конечно, это Юлька..."

Я не знаю на самом деле, как подробно он это обосновал. Я также не знаю, сколько стукачей присутствовало среди гостей, спустя сколько времени они доложили об этом случае и как подробно... Но я знаю, что чай у Елены Михайловны не простыл, когда Юлию Даниэлю уже доложили, что он выдан с головой... За полвека, что власти в СССР ведут войну против своего народа, народ также кое-чему научился. Приемы партизанской войны известны, и жестокость партизан может соизмеряться только с тотальным устрашением, практикуемым властями.

Юлий отказался встречаться с Сережей. Мы обсуждали две возможности: или Сережа искренне и невольно выдал Юлия в этом смертельно опасном деле, или... он сознательно воспользовался ситуацией, изобразив эмоциональный взрыв, чтобы распределить между случайными гостями ответственность за неминуемый арест Юлия, который тогда вскоре должен последовать. Это второе предположение включало, что Сережа давно и обдуманно следит за Юлием и Андреем. К такому выводу неумолимо толкала логика партизанской войны. Могло ли так быть на самом деле? Тут и всплыли слухи о том, что произошло пятнадцать лет назад с Ю.Брегелем и В.Кабо. Ведь они тоже были близкими друзьями Сережи... Мы уже не могли чувствовать себя друзьями (не только с Сережей, но и между собой), пока не узнаем всю истину об этом мрачном деле. Анатолий Якобсон в своей брутальной манере объявил, что убьет всякого, кто допустит, что Сережа "заложил" Брегеля и Кабо. "А что ты сделаешь, если окажется, что он все же заложил их?" — "Тогда я убью его самого!" Как по-юношески славно это звучало! Каким оплеванным и убитым он выглядел, узнав эту истину, услышав ее из уст самого Сергея! Он был самым молодым среди нас. И дальше всех от сталинских времен. От тотального ужаса и от эпидемии предательства... И от оправдания его.

Мы разыскали Брегеля и Кабо. Мы узнали эту печальную истину прежде, чем она превратилась во всеобщее достояние. Мы опередили события ненамного. Брегель и Кабо сами пошли навстречу обществу. Они задумали небывалый в советском обществе поступок и мужественно осуществили его. Воспользовавшись буквой закона, позволяющей любому человеку свободно высказаться о личности диссертанта во время его защиты, Ю.Брегель в апреле 1964 г. на защите Хмельницкого публично зачитал заявление от своего и В.Кабо



имени, вскрывающее роковые подробности дела. Он объяснил при этом, что не хочет никоим образом повлиять на голосование о присуждении ученой степени С.Хмельницкому, а только вынужден воспользоваться этой трибуной, за отсутствием в советском обществе всякой другой...

Я помню, что мы еще много лет после этого спорили с М.Гитерманом и М.Азбелем, как должны были бы реагировать члены Ученого совета и как голосовали бы мы сами, если диссертация была бы посвящена физике... Сережа диссертацию защитил... Но он столкнулся с молчаливым бойкотом на всех уровнях.

Может быть, этот бойкот не был бы таким тотальным, если бы у Сергея хватило мужества не дожидаться, пока его публично разоблачат, а раскрыться друзьям раньше. Может быть, почувствовав, что он попал в скверную ситуацию у Елены Михайловны, он должен был бы примчаться к Даниэлю и сам рассказать и о своей неловкости, и о своем прошлом. Может быть, это и не повлияло бы на его дальнейшую карьеру, но, безусловно, облегчило бы душевные трудности. Якобсон не убил бы его, и ненависть и презрение к нему в московском обществе не были бы столь тотальными. Никто не связал бы потом его дела с последующим делом Синявского и Даниэля... Но ведь для этого нужно было бы ему быть другим человеком... Ведь и оказавшись, в конце концов, на месте Брегеля и Кабо, он тоже, возможно, не умер бы, а спустя пять лет, реабилитированный, стал бы украшением столичного круга искусствоведов и археологов... Кто мог бы тогда это предвидеть?

Факт состоял в том, что, уже будучи опозорен и заклеяв, он собрал нас всех не для того, чтобы покаяться, а для того, чтобы оправдаться... Нам было мучительно стыдно слушать его (тоже вымученный) лепет, но он ни разу не обратился к нам как к друзьям. Он воспринимал нас как преследователей...

Юлий совершенно извелся. Он сам не мог понять, приближает ли собственную (и Андрея Синявского) гибель или защищается. Напрасно ли мучит Сергея (потому что я чувствовал, что он что-то знал о Сереже и раньше) или восстанавливает поправленную справедливость. Что мне кажется ясным, мы все убедились после этого судилища, что за Юлием и Андреем он не следил, и к их делу был действительно непричастен.

Сергей остался без работы, без друзей в Москве, которая превратилась для него в пустыню. В результате его оправданий все друзья получили дополнительную уверенность не только в правоте заявления Брежнева, но и в том, что сам Сергей этой правоты не сознает, не раскаивается и, следовательно, заслуживает своей участи. В кругах непосредственно с Сергеем не знакомых он превратился чуть ли не в пугало. Людям вообще легче объединяться на основе чувств отрицательных.

С.Хмельницкий уехал в Душанбе, оставив у московской интеллигенции приятное чувство, что порок наказывается при жизни, а добродетель торжествует...

Впоследствии, на допросе в КГБ по делу Синявского и Даниэля, я очень внимательно вслушивался в характер и формулировки вопросов, пытаясь уловить в них что-нибудь характерное для Сережи... Этого не было. Они явно пользовались магнитофонными записями, но даже в расшифровке их (когда, кто говорит) делали такие ошибки, которых не могло бы быть, если бы в этом участвовал кто-нибудь из близких друзей. Даниэль, выйдя из тюрьмы, подтвердил это впечатление. По-видимому, это так и есть.

Мы вычеркнули Сергея из нашей жизни. Множество других людей позаботилось, чтобы это не прошло для Сергея безболезненно. В КГБ уважительно и опасно упоминали об этой общественной расправе. Когда в связи с процессом Синявского-Даниэля то тут, то там снова всплывало имя Хмельницкого, находилось множество добрыхотов звонить за свой счет в Душанбе и сообщать тамошним интеллигентам, что Сергей ужасный человек и с ним не следует иметь дела. Я помню, что та эпидемия общественной активности даже заставила меня, находящегося посреди служебных неприятностей, происходивших от противоположной причины, удивиться, почему не находится ни одного желающего позвонить по месту моей службы, чтобы засвидетельствовать, что я как раз хороший человек и меня следует поддерживать...

Итак, мы вычеркнули Сергея из нашей жизни... Но он неожиданно возник на страницах романа А.Синявского "Спокойной ночи!" Конечно, мы узнали его... И вот он сам прислал нам рукопись "Из чрева китова", которая хотя и носит литературный характер, является человеческим документом. Мы не чувствуем себя вправе его

игнорировать. Собственно наше отношение к А.Синявскому и его творчеству выражено в нашем обширном интервью, посвященном 20-летию процесса. Никакого нового элемента в эту оценку письмо С.Хмельницкого не вносит. Вся фактическая сторона дела, которая была нам известна и которая может быть угадана из романа "Спокойной ночи!" тоже не представляет, на мой взгляд, глубокого интереса. Но в письме скрыто потрясающее свидетельство о человеческих взаимоотношениях, которое гораздо важнее и шире по смыслу, чем вопрос о том, кто из них про кого хуже сказал.

Пятьдесят лет назад начали эти люди свой жизненный путь вместе. С коротких штанов началась их дружба-соперничество. Их интимная дружба сопровождалась смертельным страхом и ледяным недоверием. И ложью. Возможны ли такие отношения? Может быть, только такие и возможны?.. Синявский, во всяком случае, свидетельствует, что они не просто дружили. Они делились мельчайшими движениями души. Они упивались взаимопониманием. При этом он пишет, что в любой момент ждал ножа в спину... Каин и Авель? я думаю, что подобное свидетельство сталинской эпохи еще никогда не было опубликовано. И я думаю, оно представляет собой психологическую правду. Прежде всего правду о том времени. Но также и общечеловеческую правду в том смысле, что Синявский так думал и чувствовал.

Имеет ли эта правда отношение к Хмельницкому? Оказывается, он, бывший для Синявского и эстетическим героем, и смертельной угрозой, не ощущал этого. Потерявши всех друзей и поруганный всеми, он потянулся за утешением... к Андрею.

Андрей всегда знал, что Сережа хуже его, но эстетически как-то цельнее, и он десятилетиями строил внутри себя такую эстетику, в которой Сережу превосходил. Судьей в этом он признал бы только Сережу и мечтал прочитать ему свои вещи. Сергей знал, что он хуже Андрея. Но он ценил свою дружбу с ним и черпал утешение в его признании. Десятилетиями, сравнивая свои поступки с Сережиными и с возрастом все более убеждаясь в своем моральном превосходстве, Андрей перешел, наконец, тот предел, за которым реальный мир (и человек) отличается от манихейского идеала. Его образ Сережи собрал не только все Зло как таковое, но и эстетизацию зла. Именно здесь приходит отрицание отрицания, превращающее злого человека Сережу в хорошего. Ибо вдруг выясняется, что он не злоумышлял

против Андрея. И даже не догадывался, что его в этом подозревают. Возможно ли это?

Вся эта история говорит, что возможно. И сколько бы мы не осуждали его за Брегея и Кабо, несомненно остается, что никаких других его грехов мы не знаем. За это преступление он был наказан. Сам факт наказания выделяет Хмельницкого. Ибо все же следует признать, что большинство преступлений в этом мире остаются неотмщенными. И поскольку он свое наказание претерпел, он имеет право высказаться и быть услышанным. Никакая добродетель не может получить такого окончательного патента на правоту, при которой не оставалось бы "другой стороны". И никакой злодей при жизни не сумел еще окончательно решить вопроса о добре и зле, присвоив себе всю полноту одной стороны.

Сергей Хмельницкий

#### ИЗ ЧРЕВА КИТОВА

Последнюю часть своего выдающегося произведения "Спокойной ночи!" Андрей Донатович Синявский почти всю – больше ста страниц – посвятил мне. Правда, он не назвал мою фамилию, а только имя – Сергей, Сережа, временами почему-то стыдливо заменяя его инициалом С. Речь, однако, идет именно обо мне. Это доказывают и обильные биографические реалии, и цитаты из моих стихов, правда – перевранные, но вполне узнаваемые.

Я мог бы сознаться, что нахожу книгу "Спокойной ночи!" плохой – безвкусной, вычурной и претенциозной. Но мне справедливо возражат, что я являюсь основным отрицательным героем этой книги и потому не могу судить о ней объективно. Поэтому Бог с ней, с книгой. Поговорим о моем портрете, нарисованном в ней.

Этот портрет ужасен. Я представлен негодяем, подлецом, подонком, органическим предателем. И даже просто не человеком – исключением из биологии (прямым текстом), "скорлупой", из которой вырезана душа. И так далее. Все гнусное, что может сказать чело-

век о другом человеке, тем более — о долголетнем друге и соучастнике, сказал А. Д. обо мне. Сказал, справедливо полагая, что в контраст с моей черной личностью его собственная безупречная личность чудесно высветится. Кроме того, тут веет и совсем высокими материями, не названными, но подразумеваемыми: философский дуализм, извечная борьба тьмы со светом. Потому что если я есть воплощенное зло (а в этом А. Д. не оставляет сомнений), то сам А. Д. получается воплощенным добром или стоит где-то рядом. А о том, чтобы его личность выглядела как можно привлекательней, даже и в исторической перспективе (и особенно в ней), — об этом А. Д. сейчас очень и очень хлопочет.

С чувством законной гордости должен признать, что я не ангел. У меня скверный характер, и к окружающим меня людям, среди них и очень близким, я часто отношусь несправедливо и плохо. На моей совести много грехов, среди них по крайней мере один — неискупимый. В разные годы жизни я совершил немало нелепостей и глупостей — вспоминая о некоторых сейчас, испытываю стыд, доводящий до судорог. Должен с прискорбием сознаться, что именно я познакомил когда-то А. Д. с Ю. Даниэлем (что вышло последнему боком), и с его нынешней супругой Майкой (ныне Марьей) Розановой-Кругликовой. Словом, я признаю, что число моих недостатков и слабостей, возможно, превышает среднестатистическое количество этого добра на одну человеческую душу.

Тем не менее я убежден, что А. Д. сочинил обо мне вопиющую клевету. Это убеждение разделяют со мной разные люди, — и те, кто знает меня долгие годы, и те, кто сблизился с нашей семьей сравнительно недавно. Те и другие, однако, хотели бы понять, почему известный литератор, близко знавший меня с детских лет и никогда — это надо подчеркнуть — явно не состоявший в моих врагах, написал обо мне кошмароподобную ложь. Ложь, которая, подобно социалистической культуре, едина по содержанию и разнообразна по форме: тут и целиком выдуманные положения, и выдуманные наполовину и более, и — все без исключения — заведомо ложно истолкованные. Бестрепетной рукой вложил А. Д. в мои, так сказать, уста слова и целые монологи, которые я никогда не произносил, а в мой грешный мозг — мысли и рассуждения, от которых в ужасе отшатнулся бы сам товарищ Сталин.

Во все это нужно внести ясность. Наверное, А.Д. был вменяем и понимал, что делает, когда превращал мелкие и мельчайшие события нашей юности в материал всем доступной публицистики. Может, он и в самом деле считал меня умершим (есть на это в тексте прямые намеки)? Или хотел таким способом застраховать себя от обвинений в клевете, — дескать, написано о покойнике, чего ж протестует живой? Не знаю. Но помнить, что сам он сидит в стеклянном, очень ненадежном доме, — это А. Д. должен был. А он забыл. Или так был чем-то напуган, что решил спасти остатки своей репутации таким вот неожиданным ударом в непредусмотренном и, как ему показалось, безопасном направлении. Если это так, то боюсь, что А. Д. ошибся.

Я защищаю себя от неспровоцированной клеветы, которая стала общественно-литературным явлением и, значит, вышла за рамки личных отношений. Делая это, я не только следую защитному рефлексу. Публично очернив мою скромную личность, А. Д. нарушил неписанный закон, соблюдавшийся нами (за себя я ручаюсь) долгие годы, — закон молчания о вещах, которые нас обоих совсем не красили. Тем самым он оказался вне этого закона и подпал под действие другого, который гласит: народ должен знать своих стукачей.

Забавно: А. Д. пишет неправду даже тогда, когда сообщает обо мне вещи, казалось бы, сугубо для меня лестные. Он, например, изображает меня, школьника, носителем высочайшей элитарной культуры, эдаким прирожденным аристократом. "Сердоликом, не нуждающимся в шлифовке и ждавшим лишь с годами подобающей оправы". Законным, понимаете ли, наследником нового западного искусства, представленного джентльменским набором: импрессионисты, Сезанн, Гоген, Ван-Гог. Правда, я был начисто лишен вульгарного чувства товарищества (вот ведь гад), но новое европейское искусство унаследовал — нет, вы не поверите! — как родовое поместье. Словом, для Андрюши Синявского, будущего А. Д., я был носителем самой-самой высокой изысканной, современной, аристократической и проч. культуры, — и все это по природному праву, от рождения. Мои детские стихи он и сейчас, представьте себе, осмеливается ставить рядом со стихами Гумилева (которого, как и многое другое, по его словам,

узнал от меня) и даже согласен издать их в наши дни, — в "Гумилевском", как он его понимает, оформлении, то есть, конечно, в тисненном переплете. И эти превосходные и изысканные стихи я писал, как точно помнит А. Д., с одиннадцатилетнего возраста. Вот ведь память! Впрочем, А. Д. еще не раз удивит нас умением запоминать мелкие, но очень важные вещи. И даже дословно целые разговоры, состоявшиеся полвека назад. Смею заверить, что все это лажа. Или, как выражается один мой знакомый, милейший человек, — фуфло. Я был нормальным советским ребенком тридцатых годов, отпрыском интеллигентной семьи, к эстетам и аристократам ни малейшего отношения не имевшей. Мои родители принадлежали, говоря и ныне здравствующим жаргоном, к технической интеллигенции. Они любили литературу и искусство, читали мне стихи и водили в музеи, привили мне свой — по-моему, хороший — вкус. Не думаю, чтобы они особенно глубоко разбирались во всем этом, но уровень советской технической интеллигенции был тогда, не в пример нынешним временам, довольно высок и в области культуры. Таковы же были многочисленные друзья и знакомые моих родителей, и тысячи им подобных интеллигентных семей. Таковы были и их дети, достаточно большая прослойка (наверно, особенно многочисленная в Москве, Ленинграде и Харькове), к которой принадлежал и я. Эти дети довольно рано узнавали дома Блока и Гумилева (но не Цветаеву, не Мандельштама), и в московском музее нового западного искусства — это самое искусство, тогда не запрещенное, но отнюдь и не пропагандируемое.

Так что не был я тогда отшлифованным сердоликом, эстетом-одиночкой. А то, что А. Д. меня таким видел и, вроде бы, продолжает видеть до сих пор, — всего лишь следствие того, что юный А. Д. тогда никакого отношения ни к какой культуре, даже усредненной, не имел. Моя скромная интеллигентность виделась ему поэтому сверкающими вершинами культуры, мои умеренные познания в поэзии и живописи были, в его глазах, признаками художника "с колыбели, с начала, с яйца". Обмолвился А. Д., что тогда, в школьные годы, я был его наставником, к тому же и смелым. Это, пожалуй, преувеличение. В те времена А. Д. находился на таком уровне культуры, что поднять его на чуть более высокий уровень не составляло труда. Начинал он, правда, с одичалого нуля: с Писарева и официально-со-

ветского Маяковского. Мы все тогда были ортодоксами, советичами, но юный А. Д. был среди нас самый оголтелый. Во всяком случае, именно ему я посвятил такой стишок:

Я кристально чист,  
Социально бел.  
Если б я пораньше родился,  
Я бы был чекист,  
Я бы был комбед.  
Я б с врагами как дьявол бился.  
К сожаленью, я  
Родился, вопя,  
На восьмом году социализма,  
Но душа моя  
Социальная  
Идеально чиста, как призма.

Этот правоверный экстремизм ему привили, конечно, в семье. Какую общественную группу представляли его родители — я никогда не мог понять. Вроде должны были быть приличные люди: отец литератор, даже писатель, мать школьная преподавательница. Откуда же тогда изначальная культурная дремучесть А. Д., от которой я, по собственным его словам, помог ему избавиться? Впрочем, по его же гордым словам, он меня быстро переплюнул. Наверстывая упущенное, перешагивал буквально моря (цитата). Я застрял на уровне Гумилева, а уж у него в кармане — представьте себе — Маяковский с начатками футуризма и Хлебников. Я все с Гогеном, а он уже с Пикассо... Ну, не угнаться было!

Однако это странно. Прошло столько лет. Примитивный подросток вырос, даже состарился и овладел, по Ильичу, всеми богатствами культуры, которые выработало человечество. Пишет толстые книги. Перестал сочинять стихи. Небось, даже по-французски научился. А и сейчас уверен, что мой отец, горный инженер, и мама, плановик-экономист, были промышленно-интеллектуальной элитой, к коей я, сноб, принадлежал силой рождения. Столько лет я дружил с этим человеком (а что ж за дружба без равенства?), и вот под конец жизни узнал, что все эти годы в его перекошенном зрении я был не тем, кем



был, и он завидовал мне, и оттого ненавидел меня потаенной непримиримой ненавистью. Фиксировал в глубине злой своей памяти мои мелкие и мельчайшие проступки, – всякое лыко, которое когда-нибудь где-нибудь можно будет поставить в строку. А может, и записывал все в особом секретном дневничке. И при этом добросовестно играл роль друга, доброжелателя и даже наперсника.

Теперь он уверяет, что лицемерил сознательно в порядке, так сказать, самозащиты. Что сознательно – сомнений нет. Что до самозащиты, то тут А. Д. лжет, но об этом позже.

Все-таки комплекс неполноценности – не лучший стимул для самообразования, и в этой области у А. Д. встречаются прискорбные пробелы. Даже и сейчас. Я сужу по таким редким для русской речи выражениям, как "ложечка, адекватная по форме", или "акмеистического типа мальчик" (это я), или "ренуары вкусовых извращений", или "носил в груди эти редкие изделия" (снова я).

Кстати уж об акмеистической внешности. В плохом человеке все должно быть нехорошо, и облик тоже. А что я плох – это А. Д., якобы дружа со мной и набираясь от меня культурного разбега, чуял с самого начала. Инстинктивно не доверял. Да и как такому доверять: смазливый, чопорный, конечно, из достаточной еврейской семьи (ах, это емкое "конечно"! ). Подбородок. Волевое, копьем, лицо, от Гумилева (дался ему Гумилев, да еще от которого лицо копьем). Бронзовый, немного от коршуна, нос (вон что. Проясняется кое-что. С таким носом – как не потешаться над русским вихром юного А. Д. и над его залатанными, тоже истинно русскими штанами). Круглые бедра. Объемистый таз. Коротенькие ножки. Миниатюрные ступни (детский размер ботинка). Совмещал, стало быть, в себе мужчину и женщину, – да уж не гермафродит ли?

Эх, А. Д. Нехорошо. Не тот уровень критики. Опять же, ведь и ты не Аполлон. И о тебе, опустившись до твоего уровня, мало ли что можно сказать. Что у тебя, например, неприятная жестикуляция и косые глаза. И нос, выражаясь твоим языком, от покойного фюрера. Ну и что? Вовсе не поэтому считаю я тебя, по справедливости, предателем и лицемером.

Что может быть безнадежней и тягостней опровержения лжи – ежестраничной, ежестрочной, явной и слегка замаскированной, отбегающей и снова кидающейся в лицо? Ложь, что я не участвовал в

школьных играх и драках. Ложь, что носил подогнанный у портного костюмчик или, тем более, загадочно-анахронистский "сюртучок" – верно, дальний родственник лапсердака. Ложь (а жаль), что "презирал толпу". Ложь, что не был пионером, – и как еще радовался, когда был принят.

Но есть у А. Д. ложь потоньше и похуже, гнездящаяся не в фактах (назовем их условно так), а в их осмыслении и объяснении. Вот я впервые пришел к нему в гости. Ясно, что не просто так пришел (это разрушило бы образ), а юному А. Д. "посчастливилось меня залучить". Вот как. Мама А. Д. собирается кормить нас – чем? – конечно же, подогретым вчерашним супом. Обстановка в доме, как в спектакле "На дне" и даже шибче. Я, конечно, беседую с А. Д. "за искусство". И вдруг – прицеливаюсь указательным пальцем в портрет Сталина на стене и делаю губами "пу". То есть как бы стреляю. А потом, скошенным глазом проверив произведенный эффект, тем же пальцем расстреливаю скромную обстановку комнаты. При этом, раскрасневшись, даже скидываю "сюртучок", что предполагает возбуждение вроде сексуального.

Честно говоря, я этого эпизода не помню. Сталина я тогда очень уважал, не отличаясь в этом от прочих сверстников. Но – почему бы нет? Спонтанное озорство, глупые выходки, когда сперва действуешь, а потом начинаешь соображать, – у кого из вас, граждане, этого не было в двенадцать лет? Конечно, неумно, и пожалуй что кощунство, в тот момент по крайней мере. Тут А. Д. прав. Но только смотрит он куда глубже, в самый корень, – как привыкли смотреть на невиннейшие явления в известном учреждении, знаменитом уже тогда на весь мир. И, по рецептам этого учреждения, усматривает в моем бестактном озорстве – эстетику провокации, предательский шаг и, страшно сказать, убийство. Буквально так: "Убийца, трусливый убийца" – пронеслось в голове А. Д. Особенно возмутило его то, что инкриминируемое деяние я совершил без риска, стало быть – провокационно. Вот на Красной площади – другое бы дело.

Очень сомневаюсь я в факте расстрела из пальца аскетического оборудования квартиры. Сталин – куда ни шло, детское кощунство: делаю, потому что нельзя. Но расстреливать шкафчик и пальму? – Едва ли. Неинтересно и бессмысленно. Однако раз А. Д. настаивает, я не спорю.

Опять же и тут видит А. Д. не невинное дурачество мальчишки, а глубоко символическую сцену, в которой обнажилось мое гнусное, звериное нутро. Позвольте цитату, потому что лучше, чем А. Д., тут не скажешь.

"Им (мною. — С. Х.) владело, я полагаю, сознание безнаказанности в пальбе по открывшемуся вдруг незащищенному пространству, по мерзости запустения в доме... Он бил в чужую, широковегетельную приниженность и бесталанность. Он метил в меня (так! — С. Х.). Просто учуял, по-видимому, болевую точку и не мог остановиться..."

Тут призадумаетесь, как реагировать. Опровергать? — да как опровергнуть вопль застаревшего, закаменевшего, издавна лелеемого и сквозь десятилетия бережно пронесенного комплекса. Опять же ладно, если сам А. Д. верит в эту муру. А если он ее сочиняет с другой, потаенной целью? То есть если это ложь не невольная (память подвела, фантазия подкузьмила), а сознательная и расчетливая? Сложно.

Вот так, по-чекистски вскрывая замаскированную вражескую суть моих действий, препарирует А. Д. эпизоды далекого прошлого. Например, историю с мальчиком-зайкой, которого я в школе беспощадно и жестоко передразнивал. Прямо-таки по-садистски. Исподтишка.

Знаете, ведь это почти правда. Числится за мной эта дурацкая недобрая выходка: дразнил мальчика, учившегося классом ниже. Бывает так в детстве, и думаю, что не только со мной: сотворишь сгоряча какую-нибудь злую глупость, сам понимаешь, что — нехорошо, неприлично, а остановиться сразу трудно, — особенно, если пристыдит кто-нибудь со стороны. Вот так было и со мной. Долго это не продолжалось, но с одноклассником, которому обиженный мальчик пожаловался, я успел-таки рассориться. Хотя и тогда уже понимал, чувствовал, что кругом неправ. Счастливы умники, понимающие уже в юном возрасте, что сознаться в глупости, в неправоте — не позор, а заслуга.

Я таким, к сожалению, не был.

По этой канве шьет А. Д. свой хитроумный узор. Шьет мне, так сказать, дело. И сразу все преображается, чудесно и целенаправленно. Зайка оказывается малышом, в два раза — да! — моложе и мельче

“великодержавного тирана”, то есть меня (выходит, что великодержавным бывает не только шовинизм). А я не просто дразнил “мальша”, а излавливал его на перемене (интересно, как), собирал “народ из дураков” (интересно, кто такие и как собирал) и измывался над жертвой, доводя ее до припадка. При этом, если верить А. Д., все – и отлов жертвы на перемене, и организация зрелища с публикой “из дураков” в битком набитом школьном коридоре – происходило как бы потайно: будучи подлецом, я, конечно, “избегал открытых схваток и, оттолкнув мальша, с озабоченным лицом шествовал себе дальше”. Ибо был, по А. Д., феноменально труслив. А как же! – подлость и трусость неразлучны. Само собой, на упреки одноклассников я “слабо сопротивлялся” и произносил слова, не делающие чести убогой фантазии создателя “фантастической прозы”. “...Что вы – дружеских шуток не понимаете? Элементарное чувство юмора? Ну ладно, больше не буду. Если вас так волнует. Клянусь...” Однако со змеиной подлостью продолжал свое, пока боксер Валя Качанов из параллельного класса не пригрозил разбить мне морду.

Вот какую поэму подлости и негодяйства создал А. Д. на базе некрасивой, чести мне отнюдь не делающей, но вполне ординарной мальчишеской выходки. Поднял ее до символических высот, до борьбы чистого добра с таким же чистым, во мне воплощенным злом. А детали – да ведь они и есть детали. Кому теперь покажется важным, что ложь – гнусные, приписанные мне слова? Что Валя Качанов учился не в параллельном, а нашем классе, и был не боксером, а наоборот, мальчиком мелким и хрупким? Что комсомольцы не носят пионерских галстуков (“... нет, это не по-комсомольски. Где твой, вообще, пионерский галстук?”) Мелочи, тьфу. Суть важна. А суть вылавливать – наша старая традиция.

И последний, разоблачающий меня случай из “раннего времени”. Как на вечеринке бывших одноклассников, сразу после войны, я на пари поцеловал девушку по имени Ира. Поцеловал не как все люди, а с присущей мне подлостью и садизмом: подкрался сзади, как зверь, опрокинул и прокусил губу. “И победно, таким шагом, осмотрел сцену: эффект!” – Ясно, что никто из присутствующих этого безобразия не одобрил, хотя я, дегенерат, ждал, видать, аплодисментов. Вечер был испорчен. Все раньше времени разошлись. И хотя А. Д.

на вечеринке не присутствовал, он точно знает, что я, – то проситель-но, то в ярости и со слезами, – цитировал сам себя (из эпизода с зайкой): "Что вы, ребята, шуток не понимаете? – Кретины! У вас отсутствует элементарное чувство юмора!.."

Что касается факта, то он, как говорится, имел место. После войны встретились в нашей школе мы, бывшие одноклассники, кое-кто из учителей и директор. Никакой дурацкой выходкой этот вечер нарушен не был, чему свидетельство – общая фотография, сделанная под самый конец. И раньше времени никто не ушел. И я ни на кого не нападал, и себя потом никоим образом не цитировал.

Уж больно густым оказался узор, вышитый А. Д. на этот раз по скромной канве. Наводит на раздумья. Повсюду – надо, не надо – называет А. Д. персонажей своего повествования по фамилиям (вон даже Валю Качанова вспомнил), а тут вдруг – Ира или даже просто И. С чего бы? Одно из двух: либо кто-то из присутствующих А. Д-ча нехорошо разыграл, либо он эту историю лично придумал и расписал в лучших традициях бульварной прозы: "Поверженная девушка тихо стонала от боли... нечеловеческое унижение... недоуменное обалдение... теплая струйка крови..."

Я склоняюсь ко второму варианту. Слишком уж точно накладывается этот выдуманный спектакль на тот образ, который А. Д. внушает доверчивому читателю. Слишком явно поднимается дурацкий эпизод до высокой символики: я – злодей, бездушный выродок (склонный однако к театральным эффектам), и вся моя жизнь – цепь укусов, "более или менее страшных, редких сравнительно, однако производимых с точностью и необходимостью периодической таблицы". Нелюдь. Исключение из нравственности, из психики, из биологии (цитата). Вурдалак. Подкрадывается сзади и что-нибудь прокусывает. Или, как тарантул, выпускает жало.

И тут же рядом – с ума сойти! – дискуссия о том, гений я или не гений. Бормотня о высокой, самоценной поэзии, кристаллами коей усеян мой жизненный путь. Для А. Д., похоже, сомнений нет: гений. А как таковой – бесхитростен. Как ребенок. Незлобив. Необидчив (цитата). Разыграть, обмануть меня – ничего не стоит, что хитрый А. Д. неоднократно и проделывал – о, конечно, только ради самосохранения, в порядке, так сказать, борьбы со злом.

Ох, тяжело следить за причудливой извилистостью мысли А. Д.,

обрывать с нее капустные листья модного красноречия и доискиваться смысла, подчиненного хоть какой-то логике. А ведь хочется понять, кто я есть.

А вот он кто я.

Заправский подлец. Храбрый наставник. Дрожащий нищиянец. Самурай. Стерва. Подлюга. Блистательная одаренность. Покойник. Трусливый убийца. Великодержавный тиран. Безгрешный гений. Нормальный, как автомат. Позер, работающий на публику. Патологический трус. Бездушная "скорлупа", ничего злого, темного, коварного и демонического, но и никакого добра, совести и чести. Убийца. Здоровее всех других. Без комплексов. Подлый лицемер. Никаких отклонений. Увлекательный и благосклонный собеседник. Тарантул, всегда готовый вонзить. Создатель прекрасных стихов. Провокатор. Предатель. Никогда не был злодеем. Гость с того света. Орфей.

Это, так сказать, самое главное. Краеугольное.

\* \* \*

Теперь я попробую сам рассказать о событиях, касающихся А. Д. и меня, досказать то, о чем он умолчал, и восстановить правду там, где он солгал. Речь здесь пойдет уже не столько обо мне (меня от этой темы уже мутит), сколько о самом А. Д., о его характере, слабостях и столь нормальном для человека с его прошлым желании защититься. Даже, если нет другого выхода, за счет другого.

Мы учились в одном классе и дружили – так я считал. Чтобы не повторяться, скажу только, что в дружбе я чувствовал нас равноправными, а его изначальной культурной девственности никакого значения не придавал, – просто потому, что собственный культурный багаж не считал таким уж увесистым. Мне было с ним интересно. Мы даже издавали вдвоем рукописный, но вполне лояльный журнал "Звонок", который печатал на папиной машинке Конрад Вольф, впоследствии знаменитый кинорежиссер.

Потом нас разлучила война. И когда в конце войны он появился у нас, еще в солдатских сапогах и гимнастерке с погонами, – я был очень рад, да и он, кажется, тоже. Мы сошлись так, словно и не было нескольких лет разлуки. Даже, может быть, ближе, чем раньше.

Ущербы своей, о которой я теперь знаю, он никоим образом не показывал. Только раз, когда я потрогал его погон (никогда не

держал в руках), он вдруг звенящим голосом спросил: а если бы я пришел к тебе в рубище бродяги – ты бы тоже вот так его шупал? Меня тогда эти странные слова удивили, но не встревожили. И очень зря.

Потом он демобилизовался, сразу же поступил в университет на литфак и быстро там преуспел. Демобилизованный воин, комсомолец, истинно русский (это было очень важно тогда), любимец профессора Дувакина. Писал стихи, а потом начал и прозу. И читал мне.

Тут я должен признаться, что в его литературных опытах меня с самого начала смущала какая-то сознательно культивируемая тошнотворность. Словно он нарочно старался писать попротивнее и мазохистски (или садистски?) наслаждался результатом. Антиэстетизмом это не назовешь; не было тут, думаю, и эпатажа, потому что писалось это, в общем-то, для себя, для внутреннего пользования. Значит, это у самого себя да у нескольких, может быть, близких друзей стремился он вызвать рвотную спазму. Помню с тех времен такие поразившие меня стихи.

Еолосы смаслены маслом лампады,  
Сопли сусальные тянутся вниз.  
Сладко струятся слюней мармелады,  
Блином расплылся осклизливый глист.

Если вы считаете эти впечатляющие строчки порождением здоровой психики – считайте меня мещанином! Оно, конечно, наивно и любово, – да ведь ранняя вещь, проба пера. Позже А. Д. овладел приемами маскировки. Через годы, уже сотрудником Института мировой литературы, он поведал мне рассказ какого-то бывшего человека, знатока лагерей. От этого рассказа мне и сейчас нехорошо. В нем шла речь о том, что мужчины-блатари живут в лагерях парами, так сказать, по-супружески. И ценят изящный образ жизни, который понимают по-своему. Соответственно этому образу жизни особо изысканный подарок, какой джентльмен делает даме, – это мороженое с вином. Достать его в лагере сложно, и вот в качестве замены блатарь-муж наполняет кружку собственной спермой, потом режет руку и доликает в сосуд крови. И преподносит это угощение блатарю-«жене».

Гнусность эту А. Д. рассказал с большим подъемом. А не так давно, то есть через очень много лет, я нашел этот же самый рассказ в одном из свежизданных сочинений А. Д. Только теперь автор ссылался уже на собственный лагерный опыт и намекал, что видел все чуть ли не своими глазами.

Оно, конечно, очевидцу больше веры. А все же я сомневаюсь: не сочинил ли А. Д. эту бывальщину сам? Уж очень она, пользуясь лексиконом самого А. Д., адекватна.

Вот это меня всегда — не смущало, а удивляло. Так же как интерес ко всяческой литературной и изобразительной клубничке, накапливаемой им дома. Мне это было неинтересно (сказано ведь: ни отклонений, ни комплексов), а ему — очень. При всем при том вещи, которые он мне тогда читал, захватывали меня своим рассудочным каким-то безумием, абсолютной чужеродностью тому, что я в ту пору знал — и в жизни, и в искусстве. Ах, как он препарировал ущербную человеческую психику, как обрамлял свою причудливую фантазию венком арбатских переулков, любимых нами! Я не знаю, может ли хоть кто-нибудь чувствовать себя в прозе А. Д., как дома, — как, например, в прозе Булгакова или Трифонова. Я же себя чувствовал там, как в доме с привидениями: интересно, дух захватывает, но вот выходишь оттуда, — и как хорошо!

Этому впечатлению способствовал и антураж, в котором проходили чтения. После войны А. Д. получил в собственное пользование подвальную комнатку, расположенную под их коммунальной квартирой, но с отдельным входом. Комнатка была превращена в сочетание кабинета, кельи и будуара, а проникновение в это захламленное убежище было сопряжено с выполнением особого секретного ритуала. Предварительно договаривались о времени встречи. В условленное время посетитель подходил к маленькому, низко расположенному подвальному окну, опускался на корточки и стучал несколько раз условным стуком в стекло. Тогда с внутренней стороны возникало лицо хозяина, который всматривался в лицо гостя и, опознав его, делал приглашающий жест. Далее посетитель спускался по подвальной лестнице, недолго ждал у двери и был осторожно впускаем внутрь. Сам хозяин при этом жестами и интонациями подчеркивал конспиративность, рискованность совершаемого.

Думаю, что это не было игрой. Он, верно, и взаправду чувство-



вал себя заговорщиком и подпольщиком, – от двуличия внутренней и внешней жизни, от вопиющей несовместимости того, что он говорил и писал в университете (потом – на службе в институте и в официальных публикациях), и что – дома, за занавешенным окошком кельи, для себя и ближайших избранных. Чувствовал себя как бы преступником, и смаковал это чувство, и боялся всерьез.

Я считаю А. Д. талантливым (часто) писателем, но обычной личностью. Имею основание думать, что это представление о себе он разделяет, – может быть, не без моей невольной помощи. Отсюда отчасти (но только отчасти!) и его отношение ко мне. Когда-то как писатель он казался мне иногда гениальным, – возможно, из-за ограниченности материала для сравнений. Но литературный характер его литературы (то есть ее литературно-вторичная природа) мне был, кажется, всегда ясен. Запасных выходов из обычнойности много, и все они никуда не ведут: натуру не перехитришь. Простейший выход – притвориться другим. Подняться над обычными человеческими (обычными!) чувствами. Показать непричастность к естественным (обычным!) переживаниям обычных людей.

Кажется, в первую послевоенную осень мы хоронили одноклассника. Эдика Винегра. Какая-то далеко живущая тетка просила не хоронить племянника без нее, и тело лежало без погребения целую неделю. На кладбище мы не могли смотреть на открытый гроб, ибо то, что там лежало, не было не только Эдиком, – не было человеком. Желто-черное, в пятнах, с проступающими из-под кожи зубами. У меня до сих пор перед глазами этот ужас. Мы возвращались с кладбища вдвоем и молча. Было заметно, что мой спутник готов что-то произнести, но колеблется. Потом решился и сказал так: "Знаешь, там, на кладбище... жуть какая. Все рыдают, горюют... а мне все время хотелось хохотать. Еле сдерживался. И представь себе, – чем громче плач и рев, тем больше мне хотелось смеяться. Представляешь?"

Психология – не моя специальность. И не могу я судить о личности А. Д. с той же беспощадной смелостью, с какой он судит о моей. Но, господа, нет ли связи между едва подавленным хохотом над гробом – и лагерным мороженым? Патология в искусстве любезна многим как приправа к основной духовной пище, – почему бы нет? Но кто согласится подменить эту самую духовную пищу просто-напросто плевком в чужой кофе?

Но талантлив же! Мы часто встречались тогда друг у друга, читали друг другу сочиненное, придирчиво обсуждали и радовались друг другу. Теперь, правда, выяснилось, что радовался я, а он делал вид. Что он, видите ли, с самого начала (со школы, что ли?) мне не доверял, не полагался на меня, был насторожен, и отвращаем, и чувствовал, как во сне, потребность выпрыгнуть из окна. И при этом долгое время служил мне как бы экраном. Но если экранизируемый был, по словам экрана, незлобив и бесхитроsten, то сам экран этими качествами не отличался. Не приобрел он их и на старости лет.

А. Д. хорошо описал появление в его, а потом и в моей жизни Элен Пельтье-Замойской. Я испытывал то же, что и он, общаясь с этим прелестным существом, попавшим в наш железный, навечно ориентированный мир как бы с другой планеты. Она показала нам, что наш мир не абсолютен, и тем перевела наши убеждения, нашу инерциальную веру в какой-то другой, более скромный масштаб. Она была личностью, очень для нас интересной, и вместе с тем – символом иного, нам недоступного существования.

А. Д., добрый друг, познакомил меня с ней. И мы начали общаться, встречаться – чаще втроем (к А. Д. она привязалась по-женски, к тому же и университет), иногда вдвоем. А потом – через месяц с небольшим – в институте, где я учился, меня пригласили в особую комнату. И там, после получасовой беседы – с выяснением обстоятельств знакомства, встреч и предмета разговора, – я стал секретным сотрудником, "сексотом" или, если хотите, стукачом. С подпиской о неразглашении и договоренностью о будущих контактах.

Новая доверенная мне работа меня не слишком беспокоила. Элен вполне лояльно относилась к советской власти. Ей нравилась Москва и нравилось учиться в университете. Держась естественно и свободно, она, умница, в разговорах контролировала себя и была по-европейски сдержанна. О политике мы вообще не говорили, и все больше о высоких материях: история, искусство, философия и историчность Иисуса Христа. Так что я имел все основания думать, что даже подробный отчет о высказываниях Элен Пельтье никак не может ей повредить. А большего, кроме отчетов, от меня и не требовали.

Но тут меня осенило. А.Д.-то общается с Элен куда чаще меня. Учатся вместе. Явно симпатичны друг другу. Почему же, если я –

да, то он — нет? Не может этого быть. Не могли они обойти А. своим вниманием.

И задумал я узнать у друга правду. И гуляя с ним по Гоголевскому бульвару, сказал ему: "Слушай-ка, часто ты докладываешь о встречах с Элен?" И друг честно ответил: "Когда как. Обычно раз в неделю". — Потом дико взглянул на меня и спросил: "Откуда знаешь?"

Так мы вступили в неположенный, по правилам Органов, контакт. Быстро установили, что "курирует" нас один и тот же деятель и что даже встречаемся мы с ним в одной и той же конспиративной квартире. Договорились о координации, в случае мало ли чего, наших докладов.

Конечно, он жалел, что так неприлично легко попался на мою нехитрую удочку: такое для скрытной натуры — обида и позор. Но мы продолжали дружить, и встречаться, и слушать друг друга, и Элен странным образом придала нашим отношениям некий новый, интересный характер. Ни малейших угрызений совести он, как и я, не испытывал. О своих секретных обязанностях говорил толково и деловито, но и не очень распространялся. Поначалу не скрывал, что по заданию Органов должен влюбить в себя Элен и, по возможности, довести отношения до интима. Но чем дальше их отношения развивались, тем меньше он о них мне сообщал, и я так никогда и не узнал, чего он, в конечном счете, достиг. Однако знал тогда, как и сейчас знаю, что обмануть и обидеть Элен было бы чудовищной подлостью.

Странно читать страницы, которые А.Д. посвятил своему моральному падению и тому, как он из него благородно выбрался. Пишет обо мне — всю подноготную выпрастывает: и что гнусно сказал ("Простите, мадам, нельзя ли еще?.. Нет, спасибо, водки я не пью. Подвиньтесь"), и что еще гнуснее подумал, и что мог подумать. А тут — на тебе: словно засмутился чего-то. Сплошные недомолвки, экивоки какие-то. Уклончивые красоты стиля вместо недвусмысленной информации, для которой здесь-то самое время и место. Испуганный пунктир с длинными-длинными промежутками между точками. Чего-то боится А. Д. и с перепугу хитрит. Долгое и систематичное свое сотрудничество с компетентными органами спрессовал в три диалога, — "для ясности".

Может ли опытный литератор вдруг позабыть разницу между диалогом и монологом? Если нужно, то может! Скромный голос автора в "диалогах" отсутствует, — вещает только гебист. Что отвечает гебисту А. Д. — не слышно, но можно предполагать, что отвечает благородно, с достоинством, и ни на какие сделки с совестью не идет. Слегка смущает начало первого диалога-монолога: оказывается, А. Д. после первого же вопроса пожелал прекратить знакомство с Элен, да гебист ему не позволил.

А дальше — чудеса в решетке! — без труда вычисляется, что где-то между вторым и третьим диалого-монологами А. Д. согласился сделать Элен предложение руки и сердца. В третьем монологе гебист лишь уточняет детали ("...завтра ...в парке "Сокольники"...") и припугивает вдруг заколебавшегося А. Д. Попутно тонким намеком дается понять, что и я пытался охмурить Элен, да у меня ничего не вышло: "Почему-то с С. у нее не..." Мысленно заполняя лакуны между репликами гебиста, можно понять, что А. Д. неохотно идет на брак с француженкой: он ссылается на наличие у него невесты и зачем-то на католическую принадлежность Элен. Он также, видимо, обеспокоен ее будущим. На что дурак-гебист заявляет, что после брака с А. Д. Элен Пельтье перестанет существовать.

Далее идет душераздирающий, обильно орнаментированный рассказ о том, как назавтра, в грязных Сокольниках, в опасной близости от шпиков А. Д. во всем сознался Элен. Как она поняла его и простила. И как они оба приняли предложенный А. Д. хитрый план обмана Органов. Суть плана была в том, что предложение А. Д. пожениться якобы почему-то ужасно возмутило и оскорбило Элен, и она с ним поссорилась. Навсегда. Тем самым расстраивался спровоцированный органами брачный союз и спасалась жизнь Элен. Потому что, видите ли, дьявольская идея Органов заключалась в том, чтобы путем женитьбы сделать Элен советской гражданкой и, уж как советскую гражданку, легко и просто уничтожить.

Почему Органам понадобилось уничтожить Элен и почему они затруднялись ликвидировать ее как французскую гражданку, — этого А. Д., к сожалению, не разъясняет. Что до плана, то он был хорош. Ведь естественно, что девушка должна смертельно оскорбиться, если парень, которому она нравится и который нравится ей, вдруг делает ей предложение. И навсегда с ним, бесстыдником, порвать.

А моя спасительная в этой истории роль заключалась вот в чем. Якобы порвав с А. Д., Элен должна была прибежать ко мне и с плачем и возмущением рассказать о разрыве. Предполагалось, что я сразу же побегу в Органы и доложу. И уж там поверят, что Элен была инициатором, а А. Д. не виноват и, значит, не заслуживает ареста и расстрела.

Кроме того, Элен следовало приглядеться к моей реакции на новость. Если скажу: "Правильно, рви с ним, негодяем, — ишь чего, жениться захотел!" — значит, я порядочный человек. Если же посоветую не волноваться и помириться, не торопиться с разрывом, если буду защищать А. Д., — значит, ясное дело, провокатор.

И я, конечно, оправдал худшие подозрения, хотя, правда, А. Д. и Элен и так знали все наперед. (Выходит, что разоблачая себя перед Элен, А. Д. мимоходом разоблачил и меня. Или, нетерпеливый, сделал это как-нибудь раньше.) Конечно же, я без аргументов и вопреки очевидности — да, вопреки очевидности! — уговаривал Элен простить А. Д. и не порывать с ним дружбу: "Клюнул, Андрюшка! Клюнул! — вскричала вдруг француженка с яростью русской бабы. — И я сама убедилась — провокатор!..".

Почему А. Д. не мог сам доложить Органам, что вариант с женьтибой расстроился, и выбрал окольный путь через меня — непостижимо. Там уже давно знали о нашем контакте, и, значит, веры мне было столько же, сколько ему. И уж совершенным бредом звучит утверждение (да и неоднократно), что именно это его и спасло, — то есть смелое использование меня как передатчика информации. Или, как сурово, но честно формулирует А. Д., — как доносчика. Потому что должен сознаться: опечаленный разрывом Элен с А. Д., я Органам об этом не сообщил.

Далее, господа, следует феерия. Глупые Органы поверили! Или, если хотите, клюнули. Они уже не настаивают на браке, им бы только — восстановление дружеских чувств. Примирение во что бы то ни стало! Значит, уничтожение бедной Элен хоть и не отменяется, но — отодвигается на неопределенное время.

И вот А. Д. сидит на проводе, возле черного телефона. Некий отрывистый голос в телефоне сообщает ему, как и куда движется по Москве Элен. Задача: в рассчитанном месте появиться перед ней, разыграть случайную встречу и помириться. Далее А. Д. отрывается

от черного телефона (где он, этот телефон, находился? Неужто прямо-таки на Лубянке?), засекает в предусмотренной точке Элен и разыгрывает примирение. Порядок. Дальнейший детективный сюжет растворяется в тумане умолчаний. А. Д., молодчина, использовал меня — воплощенное зло — как орудие добра. Обманутые Органы потеряли надежду уничтожить Элен при помощи ее брака с А. Д., и в положенное время она, живая и незамужняя, покинула СССР. А А. Д. после смерти вождя сумел-таки выскочить из заколдованного круга, то есть, видимо, перестал сотрудничать с Органами. Ушел из стукачей. Но о подробностях этой важной перемены в его жизни А. Д. почему-то стеснительно умалчивает.

Приятная неожиданность, что ни говори. Мастер изысканной орнаментально-психологической прозы вдруг проявил себя в криминальном жанре, и как! Острый сюжет, благородные юные герои, смертельная опасность и ее преодоление, низкий негодяй и его разоблачение, хэппи-энд. Кое-где не сходятся концы с концами, кое-что читатель должен домысливать сам? — Это пустяки, это даже законами жанра допускается. Зато какой накал страстей.

А теперь, если позволите, я возьму слово.

А. Д., ясное дело, утверждает, что Элен меня не любила. Не знаю. И не слишком терзаюсь этой проблемой. Но у меня она бывала охотно, перед отъездом трогательно со мной попрощалась и подарила очень хорошее издание Матисса. Из Франции присылала открытки. Приезжая позже в Москву, всегда звонила и приходила в гости. Иногда у нас появлялись французы с рекомендательными письмами от нее. Если вы можете увязать все это с "provokatorom", якобы выкрикнутым в мой адрес, — я вам завидую. Я не могу.

Жаловаться на А. Д. она, действительно, приходила. Кажется, даже не один раз. Конечно, не по причине сделанного ей предложения, а из-за разных мелких особенностей его характера. И я, сознаюсь, защищал А. Д. и провокационно старался их помирить. Но так как не усматривал в жалобах Элен никакой связи с интересами государственной безопасности, то и не докладывал о них, куда надо. Невольно, как теперь выяснилось, срывая этим замысел А. Д.

Во всей этой увлекательнейшей криминальной истории есть одна очень-очень слабая точка. Дело в том, что сразу после войны мудрый товарищ Сталин придумал закон, строго запрещающий браки

между советскими и нес советскими людьми. И время действия рассказанной А. Д. детективки было аккурат временем действия этого закона. Можно ли поверить, что Органы забыли о нем, разрабатывая свой подлый план покушения на Элен? Конечно, Органам закон не писан, но не до такой же степени. А если А. Д. и жертва покушения не могли, не имели права пожениться, — теряет смысл вся хитрая затея Органов, из сюжета вываливается его главное звено, и остатки сюжета рассыпаются жалостной грудой обломков. И никакие лирические отступления, никакие потоки и ручьи сознания не могут изменить этого сурового факта.

И мне, главному злодею повествования, не остается никакой роли в руинах развалившегося сюжета.

Рядом с этим как-то теряет значение все остальное: и патологическая доверчивость Органов, которые легко отказываются от тщательно разработанного плана, и их беспомощность в деле контроля, — не принимать же всерьез клоуна-шпики, который в Сокольниках подползает к нашим героям, лежа на спине и с газетой в руках!

\* \* \*

В конце 1948 или начале 1949 года в моей жизни произошло страшное и необратимое изменение. Однажды на встречу со мной "мой" гебист явился с неким коллегой и, недолго побеседовав, оставил меня с ним наедине. Этого Элен ничуть не интересовала. Зато очень интересовали два моих довольно близких знакомых, Брегель и Кабо, тогда — студенты исторического факультета университета. Нет, он не отрицает их ума и способностей, но — чем объяснить их принципиальное неучастие в общественной работе? Товарищей по курсу уже давно возмущают их антисоветские взгляды. Их циничное отношение к нашим великим свершениям. Вражеские высказывания. Анекдоты. Заметьте: цитируют литературу, которую не найти ни в какой библиотеке. Ложно трактуют факты нашей истории. У них, в Органах, уже накопился огромный материал против обоих и он продолжает расти. Такие настроения влекут за собой действия, не могут не влечь. А наша задача — эти действия пресечь.

Собственно говоря, имеющегося уже материала достаточно, чтобы взять обоих в оборот. Но кое-что нужно доработать, — в основ-

ном, то, что лежит вне их враждебной деятельности в университете. Вы ведь их давний приятель? Вот вы и поможете. Не может быть, чтобы вы ничего не замечали. Помните, что говорилось на вечеринке такого-то числа? И такого-то? И такого-то? А вот я вам сейчас напомним.

Видите, вот и вспомнили. Не нужно с нами хитрить, мы все знаем. Ваша задача: дружить с ними по-прежнему, почаще встречаться, слушать и запоминать. И не вздумайте морочить нам голову: сами понимаете, вы у нас не один. Утаите — пеняйте на себя. Вы на особом положении. Нет, с Кабо и Брегелем вы себя не равняйте. С ними мы, может быть, поговорим и отпустим. А вы — наш сотрудник, с вас другой спрос. С предателями мы расправляемся беспощадно. Много ли смысла погибнуть в 23 года? Да и жертва бессмысленная — ничего особенного с вашими друзьями, скорее всего, и не будет. Прочистим мозги, вытряхнем дурь — и все.

Вот так совершился мой неискупимый грех, которому нет и не может быть оправдания. За этот грех я расплачивался, расплачиваюсь и буду, конечно, расплачиваться до конца моих дней. Будь я в том году постарше, поопытней да поумнее, — меня, возможно, не так парализовала бы угроза неминуемой гибели: к несчастью, тогда я еще не знал, что смерть — не самое страшное в жизни. Теперь вот знаю, — давно уже, — да изменить ничего не могу.

Так я купил свободу и, может быть, жизнь ценой свободы двух моих товарищей, ни в чем, конечно, неповинных. Очень, слишком, недопустимо сильно мне хотелось тогда жить.

А Кабо и Брегель были арестованы, один за другим, в 1949 году и приговорены к десяти годам каждый. На свободу они вышли только через пять лет, в счастливое раннехрущевское время. Но гораздо раньше их освобождения меня настигла репутация предателя-стукача: следователи, видать, не утаивали от подследственных моего имени. И заслуженная расплата начала настигать меня быстро и неминуемо. Она окончательно настигла меня, когда Кабо и Брегель вернулись в Москву. Вот тогда-то я в полную меру пожал плоды моего подлого малодушия и трусости. И хватит об этом.

Теперь прошу внимания!

С самого начала моего падения единственным в мире человеком, который знал о нем все подробно, — кроме, конечно, лубянских ре-



бят, — был мой друг А. Д. От него я ничего не скрывал. У него в подвале, крутясь на проваленной тахте, исповедовался в преступлении. Клял себя.

Граждане, читавшие и не читавшие "Спокойной ночи!"! Представьте себе это: именно ему, только ему, никому, кроме него, я плакался в русско-интеллигентскую жилетку и причитал от невыносимой тоски. Только ему доверил свою страшную тайну.

Да и как же иначе? С кем еще я разделяю тайный позор сотрудничества с Органами? Кто другой знает меня лучше, чем он? Кто другой понимает, что предательство мое — не проявление моей личности, а отклонение от нее? Что этой ужасной случайности могло бы и не произойти, если бы судьба не пихнула меня на нее силой, вопреки моей природе, наперекор ей. И так далее в таком вот самобичевательном духе.

Мой добрый друг все понимал. Утешал. Успокаивал. Так уж получилось. Ничего не поделаешь. Плюнь. Не мучай себя. Такова селяви. Вот послушай лучше новую повестушку под названием "Тхенц".

С 1949 года, пятнадцать долгих лет, он притворялся моим другом. То есть был врагом, надевшим личину, — самым гадким видом врага. По-прежнему приходил ко мне, ел и пил за моим столом, обсуждал новости литературы (к которой стал причастен) и искусства. Произносил спичи на моей свадьбе. Ненавидел меня (но это издавна), не доверял, — и не мог со мной расстаться. А когда мне высвечивалась перспектива увязнуть еще глубже, — тут же с радостной готовностью кидался помогать.

В 1950 году я закончил институт и "распределился" на работу в глухую среднеазиатскую даль, — лишь бы подальше. Однако в Москву, домой, временами наезжал. Наслаждался цивилизацией, встречался с друзьями, в том числе, конечно, и с А. Д., который успешно доучивался в университете. И радовался, что Органы вроде бы обо мне забыли.

Напрасно я радовался. В 1951 году настиг-таки меня в Москве телефонный звонок. И было мне настойчиво предложено познакомиться со студенткой филфака по имени Виля (фамилию не помню), войти к ней в доверие и выяснить ее политическое, так сказать, лицо, в выражении которого что-то показалось Органам подозрительным. А на вопрос, как это я, чужой на филфаке, вдруг полезу знакомить-

ся, — было мне напомянуто, что ведь есть у меня там близкий и верный друг, который, конечно же, не откажется помочь.

И друг помог с охотой и удовольствием. Узнал время общей лекции, на которую должна была прийти Виля. Сам привел меня на нее, сам познакомил с Вилей. Сел поблизости и с живейшим интересом наблюдал за развитием знакомства. Позже, когда мы распрощались с Вилей, рассказал о ней пару пикантных историй, — может, пригодится. Словом, старался изо всех сил. А я вдруг понял то, что должен был сообразить с самого начала: что повторяется ужас 48-49 годов. И что, если я чего-то срочно не придумаю, то потеряю право на себя и на жизнь среди людей. Теперь уже окончательно.

И я пошел к Ю. Даниэлю и, говоря высоким слогом, открылся ему, — конечно, не в прошлом своем грехе (о нем он узнал позже и сам), а в имеющем быть. Даниэль — человек исключительной порядочности, такой большой, что порядочность стала как бы его второй профессией. Он пришел в ужас. И дал мне совет, в этой ситуации единственно правильный: с Вилей немедленно поссориться, порвать знакомство (по любому поводу и желательнее публично) и об этом доложить. Что я вскоре и сделал, правда — без желательной в этом случае публичности. И отбыл раньше срока в родимую Среднюю Азию, уверенный, что спас по крайней мере две жизни: Вилину и мою. С Вилей, насколько я знаю, никакой беды в дальнейшем не случилось.

“Что теперь скажете, эрудиты?” (цитата). Именно. Тот самый сюжет. Значит, не был А. Д. оригинален, когда тем же способом спасал Элен от рокового замужества, запрещенного, впрочем, законом. Идея, правда, носилась в воздухе, и ни А. Д., ни Даниэль не могут здесь претендовать на приоритет. Небольшую, но существенную разницу я вижу только вот в чем. В драматическом рассказе А. Д. я выполняю роль доносчика вслепую, в моем же случае А. Д. участвовал в покушении на бедную Вилю вполне сознательно, охотно и активно.

Прошли годы. Вернулись к жизни Брегель и Кабо. Вокруг меня затягивалось кольцо блокады. Друзья все решительней требовали от меня разъяснений и опровержений. Я малодушно отмалчивался. Среди знакомых, разоблачавших меня при любой okazji, особо свирепой активностью отличалась Майка Розанова-Кругликова, новая жена А. Д. Сам он, однако, держался по-прежнему, успокаивал меня и уте-

шал, а Майкино скверное поведение объяснял обычной женской вздорностью. Я же, поделом затравленный, был ему так благодарен за верность, что не замечал его постепенного, но неуклонного отдаления.

На меня двигалась беда. Она пришла в 1964 году на защиту моей диссертации в образе Брегея, который поведал Ученому совету и присутствующим то, о чем уже давно ходили слухи. Все худшее подтвердилось. И хотя диссертацию я все-таки защитил, встретившийся мне на другой день в городе Даниэль демонстративно повернулся ко мне спиной.

Он, правда, позвонил позже и от имени моих ближайших друзей предложил встретиться. Для выяснения отношений. Я должен честно все рассказать. И тогда они решат, что со мной делать.

Мне спастись было уже нечего и поздно. Рассказать правду – ни лучше, ни хуже не будет. Уж куда хуже: почти всех друзей потерял. Но посоветоваться надо – с единственным, кто все знает, кто поддерживал и утешал, кто понимает, что я не природный доносчик. Кто знает, как я страдаю от содеянного и как глубоко раскаиваюсь. И пошел я – куда же еще? – в подвальную келью к А. Д.

Конечно, он проявил полное понимание и сочувствие. Эти чисто-плюи! Да мало ли что тогда было. В конечном счете оба живы и даже кандидаты наук. Однако, всю правду рассказывать не стоит. Лучше поведать дело так, будто тебя Органы использовали вслепую. Как? Ну, просто: вроде бы с тобой познакомился некий парень, интеллигентный, свободомыслящий, и заинтересовался этими двумя. Зачем заинтересовался? Ну, чтобы потом вовлечь в организацию. Какую-нибудь, знаешь ли, такую. Прогрессивную, марксистскую, неортодоксальную. И с этой целью выведывал у тебя про них. А ты, лопух, ему по наивности все и рассказывал. Это, знаешь, как-то все-таки лучше. И не придется сознаваться, что струсил, что жизнь спасал. Дураком-то лучше быть, чем трусом-шкурником.

Почему в экстремальных ситуациях человек легче верит другому, чем самому себе? Ведь чувствовал я уже тогда отчетливо, что А. Д. не откровенен со мной, что прячет от меня какие-то очень важные стороны своей жизни. Даже замечал, что отводит глаза во время разговоров. Знал, что разрешает М. разносить обо мне по Москве и слухи, и сплетни. И сам меня несколько не прикрывает, хотя мог бы.

Словом, логически рассуждая, не должен был я бежать к А. Д. за советом, а ведь побежал, и поверил, и выполнил. И тем самым дал повод А. Д. написать позже гордые слова: "...Он мне по сердечной простоте доверял, а я, как дьявол, начал его обманывать..."

Это была последняя услуга, которую он мне оказал. На судилище он, конечно, не пришел, — хитер был! Своим представителем выставил М. Так и осталось мне неизвестно, знала она автора рассказанной мной истории или восприняла ее как оригинальную. Пожалуй, что знала.

...Когда закрылась дверь за последним экс-другом, единственный подлинный друг, оставшийся с нами, Толя Коврижкин, сказал: "Ну и друзья у тебя, Сережка. Топоры..."

\* \* \*

В одном мне исключительно, сказочно повезло: я до самого судебного финала не знал, что А. Д. и Даниэль секретно публикуется за рубежом. Не знал, не понимал, хотя поводов понять — это уж я потом, задним умом, — было немало. Но видите ли, какая история: я-то не знал, но А. Д. не знал, что я не знал, и наоборот, сильно подозревал, что я знал. Что утечка информации была, и немалая — показал процесс: слишком много нужных людей было посвящено в дело. И вполне логично было ему предположить, что и мне известно что-то из этого, смертельно страшного для него. Может быть, и то его еще пугало, что я ни о чем таком не спрашивал и сам не заговаривал. Не спрашивает — значит, знает. Значит, в любой момент может стукнуть, вонзить. Убийца!

После возвращения из Средней Азии в Москву моя особая слава со временем достигла такого уровня, что Органы потеряли ко мне интерес. Разоблаченный, заклеянный и публично пригвожденный, я им был не нужен. Тоже ведь удача и едва ли не чудо, потому что, по общепринятому мнению, Органы редко когда демобилизовывают своих сотрудников (любопытно было бы узнать, как в этом смысле обстоят дела у А. Д.). Неоценимую услугу оказали мне здесь невольно все те доброхоты, которые разносили слухи обо мне по всей Москве и даже гораздо дальше. Среди них едва ли не самой активной, а значит — особенно заслужившей мою благодарность,

была М.В.Розанова-Кругликова-Синявская. Если бы не ее кипучая деятельность – еще неизвестно, как все сложилось бы дальше. Спасибо, тебе, Маша!

А. Д. этого не знал. И, как я теперь понимаю, смертельно меня, бедняга, боялся. Я думаю, что этот давний страх выплеснулся теперь, очень задним числом, на страницы его книги, приняв форму фантастических, нелепых пассажей. Назвать ли это просто ложью? Или он впрямь поверил в тот адский образ, для которого узки и малы были рамки реальных событий и фактов? Ему мало того, что я наделал. Я должен быть перманентным предателем, природным, так сказать. Моя природа – подкрадываться сзади и кусать. Доказательства? Да кому они нужны? Пифии нельзя не верить. В крайнем случае изменим одно только слово в строчке – вместо: "Ты дошел до конца" – сделаем: "Ты дошел до черты" – и всласть порассуждаем об этой черте, которую я преступно перешел. И выдал себя этой "чертой". А А. Д. подметил и разоблачил.

Однако, кроме тех двоих, он вроде бы никого не предал? А ведь мог. Что ему стоило! Ему и при нем – ох, сколько всего говорилось...

Вот такие рассуждения А. Д. очень не любит. Он за бдительность и против благодушия, то есть ротозейства. Уж он-то знает, кто я таков: да мало ли, что не предал. Вот именно, что мог. Небось, слушал вас, баранов, и ухмылялся: живите пока, размножайтесь. Я вас пока только созерцаю. А скомандуют – так и сотру любого с лица земли. Держал вас, дураков, про запас. А что так и не стер, – стало быть, не получил команды. Какие тебе еще доказательства?

А тем, кого это ежовско-следовательская логика все-таки не совсем убедила, предлагается кошмарный рассказ. О том, как я, возвращаясь с А. Д. ночью от одноклассника Юрки Красного, предложил его, Красного, заложить: донести на него за анекдоты. И как он, А. Д., отвел от Красного неминуемую беду, апеллируя не к моей совести (какая у меня совесть!), а к сугубо прагматическим доводам, "изображая (собой. – С.Х.) сексота, такого же, как он" (как я. – Но почему "изображая"? Кем же ты был, А. Д., в 49-50 годах? Или забыл?).

Представьте себе, я даже, оказывается, точно знаю, сколько нужно доносов, чтобы посадить человека: "В этих вещах два свидете-

ля — все решают!” Вот почему мне дозарезу нужен А. Д. Но тут, думается мне сейчас, А. Д. допустил промашку. Это в древнем Риме непременно требовалось два, так сказать, заявителя. В описываемое же советское время римское право было не слишком популярно, компетентные органы не были заражены бюрократизмом, и одного “свидетеля” им обычно хватало. Так что в данном случае А. Д. обогал не только меня, но и родные Органы.

Затем я испепеленными устами объясняю ему, почему мне вздумалось заложить Красного: оказывается, из страха перед американцами, которые повесят меня, когда придут в Москву. Как убийцу. На мне два трупа...

В ответ на эту ахиню А. Д., по-прежнему изображая сексота, отвечает, что и на нем один труп, еще и иностранный. И загадочно добавляет: “Сам помогал... Элен...” Это он подлаживается, вжимается в меня, в мою низость. “Главное — внушить, что я подобен ему, что он — доложил! Чтобы не заподозрил...”

Момент. Чтобы — что доложил? Что А. Д. — бессовестный и подлый стукач. Чтобы чего не заподозрил? Что А. Д. — никакой не стукач, а только хитро им притворяется. А на самом деле он порядочный и добрый и никакого иностранного трупа на нем нет. Он только внушает, что подобен мне, доносчику по призванию. Мол — охотно бы донес, но опасно, может боком выйти. Вот так — и из образа не вышел, и Красного спас из моих когтей.

Официально заявляю, что всю эту кафкианскую сцену А. Д. выдумал с нехорошей целью. Я ни разу в жизни не был в гостях у Ю.Красного (смутно кажется: как-то заходил на минуту, но не далее прихожей). Я не предлагал А. Д. так просто, из любви к искусству, донести на невинного человека, — такая патология, наверно, поразила бы и Азефа. Ведь и А. Д. справедливо отмечает, что чего-чего, а патологии во мне не было. Я не боялся прихода в Москву американцев и казни через повешение, потому что был психически нормален. Каковым, надеюсь, и остался.

Я не произносил гнусных и пошлых слов о том, что А. Д., как советский гражданин, был просто обязан уделать иностранку. И не имею отношения к тем бессмысленным, лишенным логической связи выкрикам и подлым мыслям, которые инкриминирует мне в этом эпизоде А. Д.

А злонамеренная цель этого, пардон, сочинения – представить, что я бы еще и на многих других донес, да он, А. Д., помешал. И показать возвышенность мыслей и поступков А. Д., который хоть и доносил на Элен Пельтье, но сексота только изображал.

Вам мало? Вы не убеждены? Тогда, будьте любезны, еще один эпизодик. Некий профессор, владелец однозной литературы. Я – его родной ученик. Профессор бежит ставить чайник, я же кидаюсь к полкам выписывать названия нехороших книг. Зачем – А. Д. не объясняет, но ведь каждому ясно: родной ученик намерен на профессора донести. Профессор, однако, вдруг возвращается вместе с чайником, глупых оправданий не слушает, крамольный список рвет, меня, негодя, выставляет за дверь, – "...и впредь, сволочь, на заискивающие звонки с треском вешает трубку... Ну, дождется обыска!..."

Ей-Богу, даже обидно, что не было в моей жизни такого клишированного профессора с чайником и интересной библиотекой. В лучших шаблонах совлитературы: трубку вешал не как-нибудь, а с треском. А ведь только ради одного вопроса был бы я счастлив его воплотить: дождался ли профессор угроженного обыска? И, если не дождался, то почему? Что-то тогда трещит в остроумной и с таким вкусом выполненной выдумке.

Ему мало, мало. Я должен быть супермерзавцем, суперлицемером, суперпошляком. Только так можно оправдать его ядовитую ненависть.

И он сочиняет монолог – мой монолог, обращенный к родственнице Брегея, живущей в Средней Азии. Как я жил у нее, конечно же, – опивал и объедал, и произносил речи, которые... помните слюней мармелады? Трудно поверить, но это еще гаже. Так как с чесночно-антисемитским привкусом. Извините, – я понимаю, что неубедительно, но и этот отрывок комментировать не могу. Брезгую. Одно лишь могу заметить: пошлость, условно мою, А. Д. воплотил с большим мастерством и знанием дела. И, довольный, даже не похвалился сам себя похвалить: 'И все – искренне. С перехлестом. Пышно. В нюансировке. Веселье в соединении с грустью. С прозрачными воспоминаниями...'

Без фактов, конечно, воспаряется как-то легче. Но ведь опытному беллетристу и факты не помеха. Главное – уметь их правильно интерпретировать. И вот пример.

В 1964 году, после последней встречи с друзьями, когда они повалили со мной (молодцы. Уважаю. Вот бы и А. Д. тогда не трусить и так же поступить!), я встретился с Брегелем и Кабо. По своему почину. Я им сказал, что раскаиваюсь в том, что случилось. Что не жду от них прощения и сам себя никогда не прошу. Что блокада, лишившая меня друзей и успеха в науке, — это справедливое возмездие за беду, которую я им принес. Что я готов платить по этому счету до конца. На это мне было отвечено, что все мои нынешние и будущие неприятности не идут в сравнение с бедой их пятилетнего заключения. Что, конечно же, совершенно верно.

В это время А. Д., ясное дело, тайно от нас сидел под столом и все слышал. И вот как, с присущим ему вкусом и талантом, воспроизвел мои слова и мысли:

“Напрасно, говорит он, ребята, вы мне биографию запакостили, репутацию испортили. А еще друзья называются! Ну, подумаешь, отсидели пять лет всего из своих десяти. Тоже мне потеря — пять лет! А у меня из-за вас вся жизнь пошла насмарку. Карьера не склеилась. На люди, в приличное общество показаться нельзя. Шепчутся. Жмутся. Избегают откровенных разговоров, признаний. Сравните: кому хуже — вам или мне? Где справедливость в мире?..”

Вот так перевел А. Д. мою скучную прозу своими веселыми терцинами. Из низкой материи сотворил легенду. Но только под столом он не сидел. А все мои, пардон, аргументы придумал сам немного раньше и излагал их мне ничуть не шутя, в своей подвальной келье, — тогда еще, когда бегал я к нему туда исповедоваться и каяться. Придумал, вполне искренне убеждая меня, что ничего страшного не случилось. Теперь вот вспомнил их и для потехи инкриминировал мне, и сам над ними, шутник, издевается.

Не верьте, господа, когда прочтете у А. Д., что от меня зависела его жизнь, да и многое другое.

Это, думается мне, преувеличение.

Это — продолжение Юрки Красного и неопознанного профессора с чайником.

Это он сейчас замечает следы, одышечно восклицая “Держи вора!”

Но и этого мало. Еще и трусом я должен быть.

“Я ему прямо сказал, когда запахло скипидаром: — “Если меня



посадишь – мы сядем вместе. Учти!” – ”Ну что ты, – поспешил он заверить, – какой разговор?! И потом, ты же знаешь, мы на одной веревочке...” И ведь не обиделся, не возмутился, бестия... Знал бы, что нету веревочки, – не преминул бы сквитаться...”

Нет, зря хвалится А. Д. своей змеиной шантажной хитростью. Не спасла бы она его в случае настоящей опасности. И сейчас – много ли нужно, чтобы поймать его за лапу? Ну-ка, разберемся.

Когда это запахло скипидаром? По следующему тексту судя, около пятидесятого года. Какой же тогда, А. Д., был скипидар? И сажать тебя тогда было не за что, и меня ты именно тогда утешал горячими словами, изображая пламенную дружбу. Никак не мог ты тогда сказать мне, хотя бы и прямо, такую бессмысленную грубость. И не отвечал я тебе заверительно-глупо, ссылаясь на общую веревочку. Впрочем, позволь, – как это не было веревочки? Это уже вовсе заумь какая-то. Не ты ли бежал как раз тогда, известно куда, докладывая о новостях из жизни Элен Пельтье? Или – страшно подумать – была и другая веревочка, лично твоя, не связанная со мной?

Странно все это. И дальше не яснее.

Вот спустя пятнадцать лет Майка-Марья пригрозила: если с Синявским что случится – я тебя, Сереженька, убью. Это, верно, не выдумка, я это нервное заявление помню. К тому времени А. Д. уже заметно насытил западный рынок своими терцинами, и скипидаром на этот раз запахло всерьез. И А. Д. немножко запаниковал. С одной стороны – серьезных секретов мне не открывали. Но с другой – уверен А. Д.: ”... кое-какие улики вертелись и зудели у него на языке”. Это уж точно. Вот только не знает А. Д., успел ли я напоследок ужалить. Ему, понимаете, не выдали в руки досье. Однако, по всему видеть, ужалил, – иначе с какой бы стати ”...за две недели до нашего с Даниэлем ареста он скрылся из Москвы? Отвалил, как говорится, в глубинку”.

Я, правда, ”отвалил” не за две недели до печального события, а много раньше. Скрылся, как делал это много лет подряд, в археологическую экспедицию. Как всегда, с женой – видать, для конспирации.

Знает коварный А. Д., что никуда я тогда не скрылся или, если хотите, не отвалил. И обманывает он вас, господа читатели, вполне сознательно, с целью дезинформации. И наверняка давно знает (ес-

ли тогда сомневался), что не вертелись, зудя, на моем языке никакие улики. Потому что, как говорилось, я о секретных публикациях на Западе ничегошеньки не знал. (Сказать по правде, гордиться тут нечем. "Кое-какие улики" плавали в воздухе, а на меня так буквально прыгали. Я же, болван, так до конца ничего и не понял. С одной стороны, до сих пор обидно, с другой – счастье-то какое!)

Поэтому прошу не верить, что я, услышав угрозу М., сильно перепугался. Что меня затрясло! Что я побелел! И что дал страшную клятву – в чем? Что с А. Д. ничего не случится?.. Ах, А. Д., это уже даже и не смешно.

\* \* \*

*У всякого своя специальность.  
"Спокойной ночи!", стр. 367*

Поездка "на задание" в Вену в 1952 году – самый мутный эпизод в книге А. Д., и без того предостаточно мутной. Зачем он вообще взялся это рассказывать? Боюсь, не от хорошей жизни. Чтение этой странной, мягко выражаясь, истории наводит на мысль, что А. Д. перед кем-то оправдывается, кого-то очень старается в чем-то убедить, а вернее – переубедить. Извольте ли видеть, дело было так.

Лето 1952 года. Элен закончила университетское образование и, улизнув с помощью А. Д. из капканов и сетей Органов, вернулась в родной Париж. Однако Органы не сдаются. Элен им очень нужна. Упустив ее из-под носа в Москве, они норовят добыть ее за рубежом. Затраты их, естественно, не смущают. И вот А. Д. – сам-три, в пустом бомбардировщике, в сопровождении двух гебистов – мчится в Вену, куда должна приехать Элен.

Грандиозная операция! Бомбардировщик с тремя личностями на борту – в Вену и назад – не копейное удовольствие. Младший из гебистов – майор, значит, старший – как минимум подполковник. По всему видно – задумано что-то нешуточное, государственно важное. Что-то они с бедной жертвой сделают – застрелят? выкрадут? завербуют? Ах, Боже мой!

С А. Д. тоже все тщательно продумано. Это ведь так нормально и никого не должно удивить, что советский диссертант по своим

научным делам в 1952 году летит в Прагу. И почему бы ему по дороге не завернуть в Вену — попутно, так сказать, по удобному поводу? Что может быть естественней?

Кое-какие мелочи, правда, забыли, — видать, из-за спешки, — ведь в 24 часа сгрякали ответственную операцию. А именно, забыли снабдить аспиранта проездным билетом, паспортом и визой. Разведчик за рубежом без единого документа, хотя бы и фальшивого — это надо же! А если его, скажем, остановит венская полиция или, не дай Бог, союзники?

Маму-то А. Д. известил, будто едет на конференцию в Харьков. Не хотелось обременять сердце. А то бы, конечно же, сказал правду. А как выкрутился в университете — не рассказывает. Возможно, что там он не остерегался обременять сердца, и кому нужно было — тот знал. Трудно сказать.

С Элен тоже все в ажуре. В письме, написанном под диктовку, А. Д. известил ее о своем визите в Вену. Уж Элен-то знает советские порядки. Уж она-то не удивится, что советский диссертант свободно разъезжает туда-сюда по Западной Европе. Правда, в последний момент А. Д. снова обманул наивные Органы: вставил в телеграмму слово "обязательно", что по договоренности означает "не приезжай". Но легкомысленная Элен (француженка, что взять!) то ли не заметила, то ли пренебрегла.

И вот — они в Вене. Чудеса в решете. С одной стороны — советская служба информации в Вене поставлена отлично. Известно, по фамильно и круглосуточно, обо всех прибывающих и отбывающих иностранцах. Элен, почему-то названная беглянкой, в этих списках не значится.

С другой стороны, ответственные спутники А. Д., плюя на огромную и дивно организованную службу информации, с идиотской настойчивостью ищут Элен на улицах Вены. Что вы, что вы, есть и объяснение: по расчету "старшего", "...парижанка каким-нибудь окольным путем, возможно, перемахнула кардоны... Тут, на панели, мы ее и накроем..."

А. Д., ну зачем же так? К чему девушке из хорошей семьи и с двумя дипломами по-пластунски переползать две границы, да еще в неудобной горной местности? Ради чего? И знаешь ли ты, какова протяженность венских панелей? Твои-то читатели, небось, знают.

И понимают, какова вероятность накрыть искомую личность, прочесывая три дня подряд венские штрассе и гассе. Тем более что гебисты поражены, конечно, западным изобилием и тратят драгоценное время на созерцание витрин. А также соглашаются сопроводить интеллигентного А. Д. в музей, — конечно же, в надежде накрыть там Элен.

(Однако читатель этой детективки не должен забывать, что А. Д. — не поставщик сомнительного чтива, а тонкий стилист и мыслитель. Для этого остросюжетный текст перемежается деколирическими вставками и мыслями незаурядной глубины. Например: "Искусства нет без любви. Любовь — в основах искусства. Потому оно и тянется ввысь".)

Но вот Элен найдена. Где и как — хитрый А. Д. не рассказывает. Ясно только, что он и тут обманул без труда дураков-гебистов: все рассказал Элен. И даже, опасаясь похищения, настоял, чтобы она зарегистрировалась во французской комендатуре. И этим спутал их подлые планы. "То-то они чертыхались!" Вообще — с начала до конца не помогал им, а мешал, молодчина.

Такие затраты.

Такая подготовка.

Такие силы задействованы.

Диссертанта оторвали от научной работы. Небось, вынудили его врать друзьям и знакомым. Командировочные. Казенного бензина сколько пожгли. А толку — чуть. Не считая того, что в ресторане Элен и Главный обменялись мыслями насчет действенности абстрактных идей. И А. Д., хитрец эдакий, успел договориться с Элен о переправке своих сочинений за границу. Так что можно даже так понимать, что это Органы виноваты в будущей публикации на Западе прославленных терцин. Смешно, ей-Богу... Они обсуждают, как переправлять на Запад антисоветчину, а сзади следит за ними гебист и ничего, младенец, не подозревает.

И А. Д. удивляется: Боже, как странно! Охотились-охотились, а жертва без труда и ущерба ушла из смертной петли. Живая. С нарушенной репутацией и совестью. Да не авантюра ли это была, никчемная и вздорная? Ведь даже и ресторанные фотографии — Элен с советским агентом за бутылкой вина — никогда не были использованы для шантажа.

Ох, сомнительно. Насколько мы знаем Органы, эта организация подготавливает свои акции солидно и профессионально. Четко ставит задачи и неплохо их решает. И в деньгах хоть и не нуждается, но без толку их тоже не швыряет. Так что есть кое-какие основания думать, что и в этом случае все было не так смехотворно-нелепо, как описывает А. Д. Что-то он, может быть, от общественности скрыл.

Рассудим, опять же, так: ладно, ничего не получилось. Жертву накрыли, но вместо ликвидации, умыкания или, на худой конец, шантажа — взяли да и отпустили. И она спокойно уехала, успев сговориться о чем надо с А. Д. Не удалось. Но ведь, с другой стороны, и не наследили. Не привлекли ничье внимание. Так зачем же на обратном пути суетиться, менять самолет на поезд, "путать карты" ничего не подозревающей американской разведке? Да захоти американцы проследить "баснословный маршрут" А. Д., им бы замена самолета поездом стала нечаянной радостью: самолет взлетел — и нет его, а в поезд можно подсесть и последить. И как это, извините, можно ехать поездом якобы в одном направлении, а в действительности в другом? Разве на нем не написано? Темно все это, господа, неубедительно и до крайности странно.

Возникает ряд тяжелых вопросов. Среди них, к примеру, такой: многие ли из миллионной армии советских стукачей удостоились доверия участвовать в таких вот загадочных заграничных операциях? И если нет, то не слишком ли легкое это слово — стукач — для А. Д. образца 50-х годов? И прекратил ли он свою секретную патриотическую деятельность сразу, по возвращении в Москву, к любимому Маяковскому? Позвольте цитату: "...Не знаю. Я досе в руках не держал'...

Все это, в самом деле, очень тяжело. Ведь речь идет о человеке, которого я долгие годы считал своим другом. Более того, опорой в моей злосчастной судьбе. Наперсником. Считал я его также и хорошим, интересным писателем, хотя вкусы наши и не совпадали. Очень многое ему по любви прощал.

И был, в конечном счете, хладнокровно и бессовестно обманут.

Да я ли один? И во мне ли дело? Вспомним: процесс, всколыхнувший совесть всего мира. Двуетный писатель Синявский-Даниэль. Писатель-символ, писатель-мученик, познавший тюрьму и лагерь. Общее сочувствие. Симпатия. И радость, что хоть одна половинка

бывшего двуединства выбралась на счастливый, свободный Запад. И тут, конечно, заслуженный триумф. Ведь как же: настоящий русский интеллеktуал. Узник Сиона... то есть, пардон, Сены. "Синтаксис". Культура. Солженицына едва не разоблачил. Независимо мыслящий, либеральный и пишет так современно, что порой и не поймешь. Пламенный, наконец, борец с тоталитаризмом. И так далее.

А что — далее?

#### ОТ РЕДАКЦИИ:

*Теперь, когда в еженедельнике "Московские новости" и в телепрограмме "Пятое колесо" М.Синявская сама признала (и за себя и за мужа) факт своего далеко не кратковременного сотрудничества с КГБ, мы сочли своевременным вернуться к публикации израильского журнала "22", которую мы помещаем выше.*

*В свое время она вызвала бурную реакцию друзей и знакомых Синявских. Все они единодушно осуждали греховное прошлое автора статьи и отдавали дань героизму обвиняемого, но никто из них так и не ответил на самый простенький вопрос: сотрудничал их герой с КГБ или нет?*

*Теперь, когда, повторяем, на него ответили сами обвиняемые, мы считаем себя вправе вернуться к этой проблеме.*

*В новом свете предстают отныне и льготные, в отличие от его подельника Юлия Даниэля, условия пребывания Синявского в лагере, и его досрочное освобождение по помилованию\*, и комфортный отъезд четы Синявских на Запад с уникальной библиотекой (в ту пору запрещались к вывозу даже книги до 45-го года издания) и музейными ценностями, включая баснословно дорогую икону св.Георгия XIV в., и, наконец, их целеустремленную деятельность в Зарубежье по компрометации А.Солженицына, А.Сахарова, а также всех тех, кто отказывался участвовать в этой деятельности.*

---

\* Заявление осужденного о помиловании предполагает, как минимум, два условия: чистосердечное признание им своей вины и обещание исправиться. В противном случае такое заявление даже не принимается к рассмотрению.

*По-иному выглядит теперь также самый суд над Синявским. В свое время последний с подачи Е.Евтушенко (кстати сказать, тоже недавно уличенного в связи с КГБ) на страницах французского журнала "Обсерватер" заявил, что процесс был спровоцирован ЦРУ. В американском журнале "Нью репаблик" бывший ответственный сотрудник этой организации Дж. Джеймсон категорически отверг эти обвинения. Сам КГБ по этому поводу упрямо отмалчивается.*

*Остается подождать развития событий.*

## ПОМОГИТЕ "ВЕСТНИКУ РХД"!

Старейший зарубежный русский журнал (основан в 1925 г.) в опасности! Распространение "Вестника Русского Христианского Движения" в России (1000 регулярных подписчиков в рублях, к которым прибавляются еще номеров 100-200, раздаваемых даром) поставило журнал в чрезвычайно трудное материальное положение. Касса почти пуста, а тем временем журнал продолжает пользоваться высокой оценкой как за рубежом, так и в России. Несмотря на свободу печати, "Вестник" все еще единственный журнал, который предлагает цельное, но вместе с тем и открытое православно-христианское мировоззрение, столь нужное в наши дни.

Как помочь журналу? Верные его читатели — распространяйте его вокруг себя, находите новых подписчиков! Кто может — пусть жертвует на покрытие расходов по подписке в России. Не забывайте "Вестник РХД" и в своих завещаниях...

**"Вестник РХД" —**

**издание Русского Студенческого  
Христианского Движения.**

**Члены редакционной коллегии:**

*Архиеп. Сильвестр, прот. И. Мейендорф,  
Д. Поспеловский, О. Раевская (США—Канада);  
прот. Н. Озолин, Н. Струве — главный редактор  
(Франция); А. Богословский,  
Ю. Кублановский (Россия).*

Адресуйте чеки (в любой валюте) на имя:  
LE MESSENGER. LE MESSENGER—ACER, rue  
Olivier de Serres, 75015 Paris, France.



Художник *Н. С. Михайлов*  
Технический редактор *В. П. Суднов*  
Корректор *А. В. Пятковская*  
Оператор набора *О. А. Шеховцова*



Сдано в набор 10.02.92. Подписано в печать 18.03.92.  
Формат 84x108/32. Гарнитура „Пресс-Роман”. Печать офсетная.  
Печ. л. 11. Усл. печ. л. 16,48.  
Тираж 20000 экз. (1-й з-д 1—5000 экз.).  
Цена договорная.



Репродуцируемый оригинал-макет подготовлен в МП „Зодиак”  
Издательство „ГИС” 129010, Москва, а/я № 31



Отпечатано в Московской типографии № 6  
Российской Федерации  
109088, Москва, Южнопортовая ул., 24  
Заказ № 476

# «СИБИРСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ АГЕНТСТВО»

*предлагает сотрудничество:*

**ИЗДАНИЕ И ПРОДАЖА КНИГ, ЖУРНАЛОВ И ДРУГОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ.**

**ПРИБРЕТЕНИЕ И ПРОДАЖА АВТОРСКИХ ПРАВ НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.**

**ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК:**

- безвалютный обмен туристическими группами;
- поездки в любой город России (прежде всего в города Сибири) для углубленного знакомства с языком и культурой, для чтения лекций и установления деловых связей;
- помощь православным паломникам.

**ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА:** *ГЫДОВ Василий Николаевич*

**Адрес:** РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 644066,  
г.ОМСК, А/Я 2838.  
**Телефон:** 24-41-94



ISSN 0934-6317